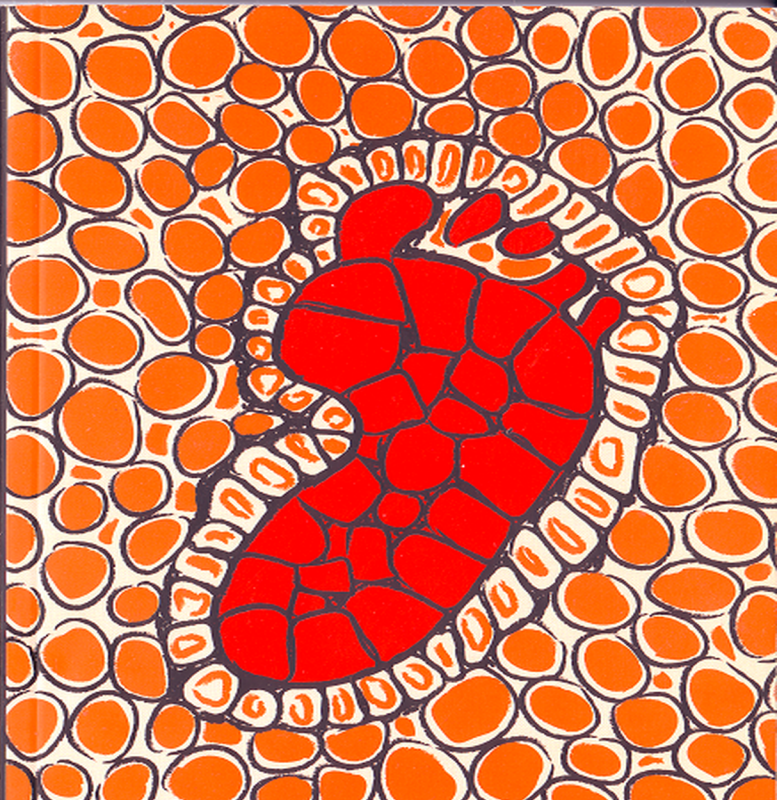

TRAVEL SERIES

Тропы песен

Брюс Чатвин

Брюс Чатвин - Тропы Песен (1987) Chatwin Bruce

Аннотация
Брюс Чатвин. Тропы Песен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Из записных книжек
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА

Аннотация

Ранее прославившийся своим эссеистическим трэвелогом-исследованием «В Патагонии», в «Тропах песен» Брюс Чатвин предпринимает путешествие внутрь еще одной мистерии, но уже на другом конце земли — во внутренней Австралии аборигенов.

Брюс Чатвин
Тропы Песен

Посвящается Элизабет

1

В Алис-Спрингс — сплошной сетке из выжженных солнцем улиц, где мужчины в длинных белых носках безостановочно вылезали из «ленд-крузеров» и залезали обратно, — я повстречался с русским, который наносил на карту священные места аборигенов.

Звали его Аркадий Волчок. Он оказался гражданином Австралии. Ему было тридцать три года.

Его отец, Иван Волчок, казак из станицы под Ростовом-на-Дону, в 1942 году был схвачен и погружен в вагон поезда вместе с другими *остарбайтерами*, которых должны были угнать в Германию для работы на немецких заводах. Однажды ночью, проезжая по Украине, он выпрыгнул из скотного вагона и упал в подсолнуховое поле. Солдаты в серой униформе охотились за ним, прочесывая вдоль и поперек длинные ряды подсолнухов, но ему удалось улизнуть. В каких-то других краях, затерявшись меж крушащими друг друга армиями, он повстречал девушку из Киева и женился на ней. Вдвоем они сумели добраться до глухих пригородов Аделаиды, где Иван завел

водочный ларек и зачал трех крепких сыновей.

Младшим из этих сыновей был Аркадий.

Темперамент Аркадия нисколько не располагал его к жизни в неразберихе англосаксонского пригорода или же к какой-нибудь скучной работе. У него было плосковатое лицо и нежная улыбка, и по слепящим австралийским просторам он передвигался с легкостью своих вольнолюбивых предков.

У него были соломенные волосы, густые и прямые. Губы растрескались от зноя. В отличие от многих белых австралийцев на Равнине, губы у него не были втянуты внутрь и он не глотал слова. Он очень по-русски раскатывал звук «р». Лишь подойдя к нему совсем близко, ты замечал, какая у него крупная кость.

Он рассказал мне, что был женат, что у него шестилетняя дочь. Но, предпочтя одиночество хаосу домашнего быта, он уже давно не жил с женой. У него не было почти никакого имущества, кроме клавесина и полки с книгами.

Он неутомимо странствовал по бушу. Ему ничего не стоило отправиться на прогулку длиной в полторы сотни километров, прихватив с собой лишь флягу с водой. Потом он возвращался домой, прятался от жары и света, задергивал

шторы и играл на своем клавесине что-нибудь из Букстехуде и Баха. Их упорядоченные секвенции, говорил он, очень согласуются с устройством центрально-австралийского ландшафта.

Ни отец, ни мать Аркадия не прочли в своей жизни ни одной книги на английском языке. Он порадовал их, получив диплом с отличием в Аделаидском университете, где изучал историю и философию, а огорчил — уехав работать школьным учителем в поселение аборигенов в провинции Уолбири, к северу от Алис-Спрингс.

Ему нравились аборигены. Ему нравилась их выдержка и упорство, их искусность в обхождении с белым человеком. Он овладел или наполовину овладел — парой их языков и поразился интеллектуальной мощи этих народностей, их необычайно цепкой памяти и их способности и воле к выживанию. Он уверял, что аборигены — отнюдь не вымирающая раса, хотя им действительно требуется помощь, причем срочная, чтобы сбросить с них ярмо правительства и горнодобывающих компаний.

Именно в пору своего учительства Аркадий и узнал о том лабиринте невидимых троп, которые опутывают всю Австралию и что известны европейцам как «Маршруты Сновидений», или

«Тропы Песен»; сами аборигены называют эти дороги «Следами Предков», или «Путем Закона».

Туземные мифы о сотворении мира рассказывают о легендарных существах-тотемах, которые во Время Сновидений скитались по всему континенту, выпевая имена всего сущего, встречавшегося им по пути, — птиц, зверей, растений, скал, источников, — и благодаря этому пению мир обретал существование.

Аркадия так потрясла красота этих представлений, что он принялся записывать все, что видел или слышал, — не для публикации, а просто для удовлетворения собственного любопытства. Поначалу старейшины уолбири смотрели на него с подозрением и уклончиво отвечали на вопросы. Но потом, когда он завоевал их доверие, они стали приглашать его на свои самые тайные церемонии и сами знакомили его со своими песнями.

Однажды из Канберры приехал один антрополог, изучавший систему землепользования у уолбири. Этот завистливый ученый презрел дружбу Аркадия с аборигенами, вытянул из него информацию и немедленно выдал секрет, который обещал хранить. «Русский», возмущенный последовавшим за этим скандалом, бросил работу и отправился путешествовать за границу.

Он видел буддистские храмы Явы, сидел вместе с садху на гатах в Бенаресе, курил гашиш в Кабуле и работал в кибуце. По припорошенному снегом афинскому Акрополю кроме него бродила только одна туристка — молодая гречанка из Сиднея.

Они путешествовали по Италии и стали любовниками, а в Париже решили пожениться.

Аркадий, выросший в стране, где не было «ничего», всю жизнь мечтал увидеть памятники западной цивилизации. Он влюбился. Была весна. Европа должна была показаться ему изумительной. Но, к его собственному огорчению, она показалась ему вялой.

В Австралии Аркадию часто приходилось защищать аборигенов от людей, которые презирали их и считали пьяницами и невежественными дикарями; и бывали времена, когда, глядя на безнадежную убогость лагеря уолбири, он и сам готов был с ними согласиться и признать, что его профессия и помощь чернокожим — или добровольное потакание собственным слабостям, или пустая трата времени.

Теперь же, в Европе с ее тупым материализмом, его «старики» показались Аркадию куда мудрее и глубокомысленнее, чем когда-либо.

Он отправился в контору «Куантас» [1] и купил два билета на родину. Шесть недель спустя он женился в Сиднее, а потом привез жену с собой в Алис-Спрингс.

Жена говорила, что мечтает жить в Центральной Австралии. Приехав туда, она сказала, что обожает здешнюю жизнь. Но прожив всего одно лето в домике под жестяной крышей, раскалявшемся как печка, супруги начали отдаляться друг от друга.

Закон о земельном праве наделял аборигенов-«хозяев» юридическим правом собственности на их страну — при условии, что они не будут ее занимать; и работа, которую придумал себе Аркадий, состояла в переводе «племенного закона» на язык Закона Короны.

Никто лучше него не знал, что «идиллическая» пора охоты и собирательства — если ее и в самом деле можно считать идиллической — закончилась. Единственное, что еще можно было сделать для аборигенов, — это сохранить за ними самую главную свободу: свободу жить в нищете, или, как он более тактично выразился, сохранить за ними пространство, где они могли бы жить в

---

[1] Примечания: 1
австралийская авиакомпания. — *Прим. перев*

нищете, если они того желают.

Теперь, живя бобылем, он предпочитал проводить большую часть времени, бродя по бушу. Когда он все-таки возвращался в город, то работал в заброшенном печатном цеху, где из станков еще торчали рулоны старой газетной бумаги, а полоски Аркадиевых аэрофотоснимков покрывали обшарпанные белые стены, будто костяшки домино.

Одна последовательность кадров показывала полоску земли длиной в четыреста пятьдесят километров, бегущую почти строго на север. Предполагалось, что именно по этому участку пройдет новая линия железной дороги, которая свяжет Алис с Дарвином.

Эта линия, рассказывал мне Аркадий, должна была стать последним большим железнодорожным отрезком в Австралии — и вдобавок лучшим, как утверждал главный инженер строительства, железнодорожник старой школы.

Этот инженер уже почти достиг пенсионного возраста, к тому же его заботила посмертная репутация. Особенно он стремился избежать скандала вроде тех, что поднимались всякий раз, как очередная горнодобывающая компания завозила свое оборудование на территории або-

ригенов. Поэтому, пообещав не разрушать ни одного священного места туземцев, он поручил их представителям снабдить его землемерной съемкой местности.

Работа Аркадия заключалась в том, чтобы установить «исконных землевладельцев», провести их по их бывшим охотничьим угодьям, даже если они теперь принадлежали скотоводческим компаниям, и упросить их подробно рассказать, какая скала, какое болото, какой эвкалипт-призрак сотворены их предками, героями из Времени Сновидений.

Он уже начертил карту 225-километрового участка от Алис до станции Миддл-Бор. Оставалось сделать еще столько же.

— Я предупреждал инженера, что он немного погорячился, — сказал Аркадий. — Но так уж он захотел.

— А почему погорячился? — спросил я.

— Ну, потому что, если поглядеть на это их глазами, — усмехнулся Аркадий, — то вся треклятая Австралия — сплошь священное место.

— Объясни, — попросил я.

Он уже собирался пуститься в объяснения, но тут вошла аборигенка с кипой газет. Это была секретарша — гибкая коричневая девушка в

коричневом вязаном платье. Она улыбнулась и сказала: «Привет, Арк!», но, завидев незнакомца, сразу перестала улыбаться.

Аркадий понизил голос. Он уже предупреждал меня, что аборигены терпеть не могут, когда белые люди обсуждают между собой «их дела».

— Это пом [2]. Пом по имени Брюс, — представил меня Аркадий секретарше.

Девушка застенчиво хихикнула, плюхнула газеты на стол и устремилась к двери.

— Пойдем-ка выпьем кофе, — предложил Аркадий.

И мы отправились в кофейню на Тодд-стрит.

---

[2] Примечания: 2

пренебрежительное прозвище англичанина, иммигрировавшего в Австралию — *Прим. перев*

2

В детстве, слыша слово «Австралия», я всегда представлял себе пары от эвкалиптового ингалятора и бескрайнюю красную землю, по которой разбредаются овцы.

Мой отец любил рассказывать (а мы — слушать) историю про того австралийского миллионера, разбогатевшего на овцах, который ввалился в демонстрационный зал в Лондоне, где были выставлены новые «роллс-ройсы». Презрев все модели меньших размеров, он подошел к огромному лимузину с перегородкой из листового стекла между водительским и пассажирскими местами и, отсчитывая наличные, небрежно бросил: «Ну, теперь-то овцы не будут дышать мне в затылок».

А еще я знал от двоюродной бабушки Рут, что Австралия это страна, где живут антиподы. Если в земле пробурить дыру здесь, в Англии, то по этому тоннелю можно пробраться прямо к ним.

— А как же они там не падают? — спрашивал я.

— Притяжение, — шептала она в ответ.

В ее библиотеке имелась книга об австралийском материке, и я, бывало, с изумлением разглядывал картинки с изображением коалы и кукабары, утконоса и тасманского сумчатого дьявола, Старика Кенгуру и желтой собаки Динго, а также моста в Сиднейской гавани.

Но больше всего мне нравилась фотография, изображавшая семью аборигенов в пути. Это были худые, костлявые люди, и путешествовали они голыми. Кожа у них была очень черная — но не блестяще-черная, как у негров, а матово-черная, как будто лучи солнца лишили ее всякой отражающей способности. У мужчины была длинная раздвоенная борода, он нес копье или два копья и копьеметалку. Женщина несла сумочку и прижимала к груди младенца. Рядом с ней шагал маленький мальчик — и на его месте я представлял себя.

Помню фантастическую бездомность первых пяти лет моей жизни. Мой отец служил во флоте, плавал в море. Шла война, и мы с мамой мотались туда-сюда по железным дорогам Англии, разъезжая по родственникам и друзьям.

Мне передавалась и сама бешеная суматошность того времени: свист и пар от паровоза на окутанном туманом вокзале; двойной *ба-бах*

захлопывающихся дверей; гул самолета, свет прожекторов, вой сирен; звуки губной гармоники на платформе со спящими вповалку солдатами.

Если у нас и был дом, то этим домом был крепкий черный чемодан, называвшийся «Рев-Роуб», в котором был отведен угол для моей одежды и для моего противогаза с Микки-Маусом. Я знал, что, как только начнут падать бомбы, я могу свернуться калачиком внутри «Рев-Роуба», и мне ничто не будет угрожать.

Иногда я месяцами жил у двух моих двоюродных бабушек, обитавших в стандартном доме за церковью в Стратфорде-на-Эйвоне. Они были старыми девами.

Бабушка Кейти была художницей и в свое время немало поездила по свету. В Париже она побывала на очень сомнительной вечеринке в мастерской мистера Кеса ван Донгена. На Капри она видела котелок некоего мистера Ульянова, обычно передвигавшегося вприпрыжку вдоль Пикколы Марины.

Бабушка Рут путешествовала единственный раз в жизни — во Фландрию, чтобы возложить венок на могилу возлюбленного. Она была простодушна и доверчива. У нее были бледно-розовые щеки, и она умела вспыхивать нежным

и невинным румянцем, как юная девушка. Она была безнадежно глуха, и мне приходилось громко кричать в ее слуховой аппарат, выглядевший как переносное радио. Возле кровати у нее стояла фотография любимого племянника — моего отца, с которой он глядел серьезным взглядом из-под патентованного козырька своей кепки морского офицера.

Мои родственники-мужчины со стороны отца были или основательными, оседлыми гражданами — адвокатами, архитекторами, антикварами, — или скитальцами, влюбленными в горизонт, сложившими свои кости в самых разных местах планеты: кузен Чарли — в Патагонии; дядя Виктор — в юконском лагере золотоискателей; дядя Роберт — в каком-то восточном порту. Дядя Десмонд, у которого были длинные светлые волосы, бесследно сгинул в Париже. Был еще дядя Уолтер, который умер, распевая суры Блистательного Корана, в больнице для праведников в Каире.

Иногда я слышал, как мои бабушки обсуждают злосчастные судьбы этих родственников; и бабушка Рут обнимала меня, словно хотела оградить меня от желания последовать по их стопам. Однако по тому, с каким замиранием она

произносила слова вроде «Занаду», «Самарканд» или «виноцветное море», я понимал, что и она ощущает волнение, что она тоже «странница в душе».

Дом был заставлен громоздкой мебелью, унаследованной со времен высоких потолков и слуг. В гостиной висели уильям-моррисовские занавески, стояло пианино, горка с фарфором, висела картина, изображавшая сборщиков куколя, работы А. Э. Расселла, друга бабушки Кейти.

Самой драгоценной вещью, которой я обладал в то время, была раковина моллюска, которую звали Мона. Отец привез ее мне из Вест-Индии. Я утыкался лицом в ее блестящую розовую вульву и слушал шум прибоя.

Однажды, когда бабушка Кейти показала мне репродукцию «Рождения Венеры» Боттичелли, я долго молился о том, чтобы из Моны вдруг выпрыгнула юная светловолосая красавица.

Бабушка Рут никогда меня не бранила. Это случилось всего раз — одним майским вечером 1944 года, когда я написал в воду, набранную в ванну. Наверное, я был одним из последних детей во всем мире, кого стращали призраком Бонопарта. «Если сделаешь это еще раз, — кричала она, — тебе влетит от Бони».

Как выглядит Бони, я знал по его фарфоровой статуэтке, стоявшей в шкафу: черные сапоги, белые штаны, позолоченные пуговицы и черная треуголка. А вот на карикатуре, которую нарисовала для меня бабушка Рут (это было подражание той карикатуре, которую для нее в детстве рисовал друг ее отца, Лоренс Альма-Тадема), из-под меховой треуголки торчали только тонкие длинные ножки.

В ту ночь — и еще много недель — мне снилось, что я встречаю Бони на тротуаре возле дома викария. Две половинки его шляпы раскрывались, будто двустворчатый моллюск, а внутри показывались ряды черных клыков и масса жестких сине-черных волос. Я падал туда — и с криком просыпался.

По пятницам мы с бабушкой Рут отправлялись в приходскую церковь и готовили ее к воскресной службе. Она протирала медные подсвечники, мела пол в хорах, заменяла украшения и расставляла свежие цветы на алтаре, а я тем временем карабкался на кафедру или вел воображаемые беседы с мистером Шекспиром.

Мистер Шекспир взирал на меня со своего надгробного памятника в северной части алтаря. У него была лысина и усики, загнутые кончиками

кверху. Его левая рука покоилась на свитке бумаги, а правая держала перо.

Я назначил себя хранителем его могилы и гидом, требуя у американских солдат по три пенни за экскурсию. Первыми стихотворными строчками, которые я выучил наизусть, были четыре строки, высеченные на его надгробной плите:

Во имя Господа, мой друг,
Прах не копай, лежащий тут.
Блажен будь тот, кто камень чтит,
И проклят тот, кто не щадит.

Много лет спустя, в Венгрии, куда я отправился изучать археологию кочевников, мне посчастливилось своими глазами увидеть, как раскапывают гробницу гуннской «принцессы». Девушка лежала на спине, на черном земляном ложе. Ее хрупкие кости покрывал сплошной дождь золотых бляшек, а на груди у нее лежал скелет беркута с распростертыми крыльями.

Один из археологов позвал крестьянок, сгребавших сено в стога в поле неподалеку. Побросав свои грабли и столпившись у входа в гробницу, они начали торопливо креститься, как бы говоря: «Оставьте ее. Оставьте ее с возлюбленным. Оставьте ее наедине с Зевсом».

«И проклят тот, кто…» Мне вспомнился тогда этот призыв мистера Шекспира — и я впервые задумался: а не лежит ли это проклятье на самой археологии?

Когда в Стратфорде стояла хорошая погода, мы с бабушкой Рут — а за нами на натянутом поводке плелся ее кокер-спаниель Янтарь — отправлялись на прогулку, по словам бабушки, излюбленной тропой мистера Шекспира. Мы начинали путь от Колледж-стрит, проходили мимо силосного зернохранилища, мимо пенистого мельничного лотка, переходили Эвон по мосткам, а дальше шли по тропе до Уиэр-Брейка.

Это был лесок с зарослями орешника на склоне, сбегавший до самой реки. Весной там цвели примулы и колокольчики. Летом буйно разрастались крапива, ежевика и пурпурный вербейник, а внизу плескалась грязноватая водица.

Бабушка уверяла меня, что это то самое место, куда мистер Шекспир ходил на свидания с юной девушкой. Это был тот самый берег, где вился дикий тимьян. Но она никогда не объясняла, что такое свидание, и, сколько бы я ни искал, там не было и следа тимьяна и буквиц, хотя несколько

поникших фиалок [3] мне удалось-таки обнаружить.

Много позже, когда я уже прочел пьесы мистера Шекспира и узнал, что такое свидание, мне пришло в голову, что Уиэр-Брейк — слишком уж грязное и колючее место, чтобы там встречались Титания и Основа: зато Офелия вполне могла бы там утопиться.

Бабушка Рут любила читать Шекспира вслух, и в те дни, когда трава была сухой, я свешивал ноги над речкой и слушал, как она декламирует «О музыка, ты пища для любви…», «Не действует по принужденью милость…» или «Отец твой спит на дне морском…»

«Отец твой спит на дне морском…» страшно печалило меня, потому что мой отец все еще был в море. Мне много раз снился один и тот же сон: что его корабль затонул, что у меня выросли жабры и рыбий хвост и я поплыл на дно океана, чтобы найти его там, и увидел блестящие жемчужины, которые когда-то были его ярко-синими глазами.

Спустя год или два помимо мистера Шекспира для разнообразия моя бабушка уже брала с собой антологию стихов, составленную специально для

---

[3] Примечания: 3

отсылка к словам Оберона из «Сна в летнюю ночь» (акт II, сцена I) — *Прим. перев.*

путешественников. Назывался этот сборник «Свободная дорога». У нее был зеленый клеенчатый переплет, а обложку украшали позолоченные ласточки.

Я любил наблюдать за ласточками. Весной, когда они прилетали, я знал, что скоро мои легкие очистятся от зеленой флегмы. Осенью, когда они весело щебетали, сидя на телеграфных проводах, я почти что мог сосчитать дни, оставшиеся до эвкалиптового ингалятора.

Внутри «Свободной дороги» были черно-белые форзацы в стиле Обри Бердслея, изображавшие узкую тропинку, вьющуюся по сосновому бору. Мы одно за другим одолевали стихотворения сборника.

Мы вставали и шли на Иннисфри. Мы текли по темным гротам без числа. Мы бродили, как тучи одинокой тень. Мы были счастливы в блеске дня, оплакивали Ликида, в слезах брели в чужих полях [4] и слушали скрипучую, завораживающую музыку Уолта Уитмена:

О, Людная Дорога…

---

[4] Примечания: 4

несколько измененные цитаты из стихотворений У.Б. Йейтса «Остров Иннисфри», С.Т. Кольриджа «Кубла-Хан», У. Уордсворта «Нарцисс», У. Блейка «Песня», Дж. Кидса «Ода соловью» и аллюзия на поэму Д. Мильтона «Ликид» — *Прим. перев.*

Ты выражаешься яснее за меня, чем мог я сам бы.

Ты станешь для меня важнее, чем мои стихи.

Однажды бабушка Рут сказала мне, что когда-то наша фамилия писалась «Четтевинде», что означало на англосаксонском «извилистая дорога»; тогда-то в моей голове и зародилась догадка, что существует таинственная связь между этими тремя вещами — поэзией, моим собственным именем и самой дорогой.

Что касается чтения перед сном, то больше всего я любил рассказ о щенке койота из «Рассказов о животных» Эрнеста Сетон-Томпсона.

Мать Койотито, или Тито, застрелил пастух Джейк. Она была самым маленьким щенком из всех братьев и сестер, но их всех перебили, а ее пощадили, чтобы сделать забавой для бультерьера и борзых Джейка. Изображение Тито в цепях было самым печальным портретом щеночка, какое мне попадалось. Но она выросла смышленой собакой и однажды утром, притворившись дохлой, вырвалась на волю, чтобы научить новое поколение койотов этому искусству — избегать людей.

Сейчас уже не могу припомнить, с чего началась та цепочка ассоциаций, которая заставила меня связать стремление Тито к свободе с «Обходом» австралийских аборигенов. Я даже не могу вспомнить, когда именно впервые услышал это выражение — «Обход» *(Walkabout)*. И все же откуда-то у меня взялся этот образ: вот «ручные» чернокожие, которые сегодня мирно и счастливо трудятся на скотоводческой станции, а завтра, не сказав никому ни слова и безо всякой причины, сматывают удочки и исчезают в голубых просторах.

Они сбрасывали свою рабочую одежду и уходили — на недели, месяцы или даже годы, пускались в переходы через полконтинента, чтобы с кем-нибудь повстречаться, а потом как ни в чем не бывало возвращались обратно.

Я пытался вообразить себе лицо их работодателя в тот момент, когда он обнаруживал их исчезновение.

Мне представлялось, что это шотландец — великан с кожей в пятнах и полным ртом непристойностей. Я так и видел, как он завтракает бифштексом и яичницей: в те дни, когда продовольствие у нас выдавалось по карточкам, мы знали, что все австралийцы съедают на завтрак

фунт мяса. Потом он выходил на ослепительный солнечный свет — солнце в Австралии всегда ослепительное — и кликал своих «ребят».

Молчок.

Он снова кликал. Ни звука — только глумливый хохот кукабары. Он всматривался в горизонт. Ничего — одни только эвкалипты. Подкрадывался к загонам для скотины. Там тоже — ни души. И вдруг, рядом с их лачугами, он замечал рубашки, шляпы и башмаки, торчащие из пустых штанов…

3

В кофейне Аркадий заказал два капучино. Мы уселись за столиком возле окна, и он принялся рассказывать.

Я был изумлен проворством его ума, хотя временами мне казалось, что он рассуждает почти как лектор, а многое из того, что он говорил, уже было сказано раньше.

Философия аборигенов геоцентрична. Земля дает жизнь человеку, дает ему пищу, язык и разум, а когда он умирает, все это снова возвращается к земле. «Родной край» человека, пускай даже это полоска пустоши, заросшая спинифексом, уже сама по себе святыня, которая должна оставаться неповрежденной.

— В смысле — не поврежденной шоссе, разработками, железными дорогами?

— Поранить землю, — отвечал он с серьезным видом, — значит поранить себя самого, а если землю ранят другие, то они ранят тебя. Земля должна оставаться нетронутой, какой она была во Время Сновидений, когда Предки создавали мир своим пением.

— Похожее прозрение, — заметил я, — было и у Рильке. Он тоже говорил, что песнь есть существование.

— Знаю, — сказал Аркадий, подперев подбородок руками. — В «Третьем сонете к Орфею».

Аборигены, продолжал он, — это люди, которые ступают по земле легкой поступью; и чем меньше они у нее забирают, тем меньше они должны отдавать ей взамен. Они никогда не могли взять в толк, отчего миссионеры запрещают их невинные жертвоприношения. Они же никого не убивают — ни животных, ни людей. Они просто благодарят землю и в знак этой благодарности надрезают себе вены на предплечьях и дают капелькам крови пролиться на землю.

— Не такая уж тяжкая цена, — заметил Аркадий. — Войны XX века — вот цена, которую нам пришлось платить за то, что взяли слишком много.

— Понятно, — неуверенно кивнул я, — но нельзя ли нам вернуться к Песенным Тропам?

— Можно.

Я отправился в Австралию для того, чтобы попытаться самому — а не из чужих книжек — узнать, что такое Тропы Песен и как они «работают». Ясно было, что мне не добраться до самой

сути дела, да я и не стремился к этому. Я спросил у приятельницы из Аделаиды, не знает ли она какого-нибудь эксперта по этому вопросу. Она дала мне телефон Аркадия.

— Ты не против, если я буду записывать? — спросил я.

— Валяй.

Я вытащил из кармана черный блокнот в клеенчатой обложке с эластичной лентой, удерживающей страницы вместе.

Симпатичный блокнотик, — заметил Аркадий.

Раньше я покупал их в Париже, — сказал я. Но теперь там таких уже не делают.

В Париже? — повторил он, приподняв бровь, как будто никогда и жизни не слышал ничего более претенциозного.

Потом подмигнул и продолжил рассказывать.

Чтобы разобраться в представлениях о Времени Сновидений, говорил он, нужно понять, что это как бы аборигенский аналог первых двух глав Книги Бытия — с одним только важным отличием.

В Книге Бытия Бог сначала сотворил «зверей земных», а потом из глины вылепил праотца Адама. Здесь же, в Австралии, Предки сами себя создали из глины, и их были сотни и тысячи — по

одному для каждого вида тотема.

— Так что, когда австралиец говорит тебе: «У меня Сновидение Валлаби», он хочет сказать: «Мой тотем — Валлаби. Я принадлежу к роду Валлаби».

— Значит, Сновидение — это эмблема рода? Значок, позволяющий отличать «своих» от «чужих»? «Свою землю» от «чужой земли»?

— Да, но не только, — сказал Аркадий.

Каждый Человек-Валлаби верил, что он происходит от общего Праотца-Валлаби, который является предком всех других Людей — Валлаби и всех ныне живущих валлаби. Следовательно, валлаби — его братья. Убивать их ради мяса — и братоубийство, и каннибализм.

— И все же, — настаивал я, — такой человек является валлаби ничуть не больше, чем британцы являются львами, русские — медведями или американцы — белоголовыми орланами?

— Сновидением, — отвечал Аркадий, — может быть любое существо. Сновидением может быть даже вирус. У тебя может быть Сновидение ветряной оспы, Сновидение дождя, Сновидение пустынного апельсина, Сновидение вшей. В Кимберли кое у кого есть теперь даже Сновидение денег.

— Ну да, у валлийцев есть лук-порей, у шотландцев — чертополох, а Дафна превратилась в лавр.

— Та же старая история, — сказал Аркадий.

Потом он стал рассказывать дальше: считалось, что каждый предок-тотем, путешествуя по стране, рассыпал целую вереницу слов и музыкальных нот по земле, рядом со своими следами, и эти линии, эти «маршруты Сновидений», опутывали весь континент и служили «путями сообщения» между самыми удаленными друг от друга племенами.

— Песня, — говорил Аркадий, — являлась одновременно и картой, и радиопеленгатором. Если хорошо знаешь песню, то найдешь дорогу в любом месте страны.

— И человек, уходивший в «Обход», всегда шел вдоль одной из этих песенных троп?

— В прежние времена — да, — подтвердил Аркадий. — Теперь ездят на поезде или на машине.

— А если он собьется со своей песенной тропы?

— Тогда он нарушит границу. За это его могут пронзить копьем.

— Но пока он строго держится маршрута, он всегда будет встречать людей, у которых общее с ним Сновидение? То есть, по сути, своих братьев?

— Да.

— И он может ожидать от них гостеприимства?

— Как и они — от него.

— Выходит, песня — это нечто вроде паспорта и талона на обед?

— Опять-таки, все гораздо сложнее.

По крайней мере теоретически всю Австралию можно считать музыкальной партитурой. Едва ли нашлась бы во всей стране хоть одна скала, хоть одна речушка, которая бы еще не была воспета. Наверное, можно было бы рассматривать Тропы Песен как бесконечные макароноообразные строки местных «*Илиад*» и «*Одиссей*», извивающиеся то в одну, то в другую сторону, и каждый «эпизод» этих эпических поэм можно прочесть в геологическом смысле.

— Под словом «эпизод», — спросил я, — ты имеешь в виду «священное место»?

— Ну да.

— Вроде тех, что ты включаешь в обзор для железнодорожников?

— Можно и так выразиться, — сказал он. — В буше в любом месте можно ткнуть куда угодно и спросить у аборигена, который идет с тобой: «А тут что за история?» или: «Кто это?» Скорее всего,

он ответит: «Кенгуру», или «Волнистый Попугайчик», или «Бородатая Ящерица» — в зависимости от того, какой Предок там проходил.

— А расстояние между двумя такими местами можно рассматривать как отрывок песни?

— Вот здесь-то, — ответил Аркадий, — и кроется причина всех моих споров с железнодорожниками.

Одно дело — уверить землемера в том, что груда валунов — это яйца Радужной Змеи, а глыба красноватого песчаника — печень пронзенного копьем Кенгуру. И совсем другое — убедить его, что невзрачная полоска гравия — музыкальный аналог Опуса III Бетховена.

Создавая мир своим пением, продолжал он, Предки были поэтами в исконном смысле этого слова: ведь *пойэсис* у древних греков означало «творение». Ни один абориген не мог и помыслить, что сотворенный мир был хоть в чем-то несовершенным. В его религиозной жизни была единственная цель: сохранить землю такой, какой она всегда была и должна быть. Человек, отправлявшийся в «Обход», совершал ритуальное странствие. Он ступал по стопам своего Предка. Он пел строфы, сложенные Предком, не изменяя в них ни единого слова, ни единой ноты — и тем

самым заново совершая Творение.

— Иногда, — говорил Аркадий, — я везу своих «стариков» по пустыне, мы подъезжаем к гребню дюн — и тут вдруг все они принимаются дружно петь. «Что поете, народ?» — спрашиваю я, а они в ответ: «Поем землю, босс. Так она быстрее показывается».

Аборигены не понимают, как земля может существовать, пока они ее не увидят и не «пропоют» — точно так же, как во Время Сновидений земли не было до тех пор, пока Предки не воспели ее.

— Выходит, земля, — сказал я, — должна существовать в первую очередь как умственное понятие? А затем ее нужно пропеть? Только после этого можно говорить о ее существовании?

— Верно.

— Иными словами, «существовать» значит «восприниматься»?

— Да.

— Что-то это подозрительно отдает «Опровержением материи» епископа Беркли.

— Или буддизмом чистого разума, — возразил Аркадий. — Там мир тоже видится наваждением.

— Тогда, наверное, эти 450 километров стали, которые разрежут бессчетные песни и пролягут

через них, должны вызвать у твоих «стариков» настоящее умственное расстройство?

— И да, и нет, — ответил он. — Они очень непрошибаемы в смысле эмоций и к тому же очень прагматичны. Кроме того, они видели кое-что и похуже железных дорог.

Аборигены верили, что все «звери земные» были сначала тайно сотворены под корой земли — как и все механизмы белого человека — все его аэропланы, ружья, «тойоты-лендкрузеры». То же самое относится и ко всем будущим изобретениям, какие когда-либо будут изобретены: просто они пока дремлют под землей, ожидая своей очереди подняться наверх.

— Тогда, быть может, — предположил я, — они могли бы воспеть железную дорогу, чтобы и ей нашлось место в Божьем тварном мире?

— Вот именно, — сказал Аркадий.

4

Был уже шестой час. Вечерний свет сочился вдоль улицы, и из окна мы увидели группу чернокожих ребят в клетчатых рубахах и ковбойских шляпах, которые, покачиваясь под цезальпиниями, шли в сторону паба.

Официантка смахивала со столов остатки еды. Аркадий попросил ее принести еще кофе, но та сказала, что уже выключила машину. Он поглядел в свою пустую чашку и нахмурился.

Потом поднял взгляд и неожиданно спросил:

— А почему тебя все это интересует? Чего ты здесь ищешь?

— Я приехал сюда, чтобы проверить одну идею.

— Важную идею?

— Наверное, очень очевидную идею. Просто мне нужно обязательно избавиться от нее.

— Ну и?

Видя внезапную перемену в его настроении, я занервничал. Я начал объяснять, что однажды безуспешно пытался написать книгу о кочевниках.

— О кочевниках-пастухах?

— Нет. Просто о кочевниках. О номадах. *Номос* по-гречески — «пастбище». Номады кочуют с пастбища на пастбище. Так что кочевники-пастухи — это уже плеоназм.

— Принято, — сказал Аркадий. — Продолжай. А почему о кочевниках?

И я рассказал, что, когда мне было лет двадцать с небольшим, я работал «экспертом» по современной живописи в одной известной фирме, продававшей картины на аукционах. У нее были торговые залы в Лондоне и Нью-Йорке. Я был в числе блестящих молодых кадров. Мне говорили, что я сделаю отличную карьеру, если только буду умело пользоваться обстоятельствами. Но однажды утром я проснулся слепым.

В течение дня зрение постепенно вернулось к левому глазу, но вот правый оставался вялым и затуманенным. Окулист, осматривавший меня, сказал, что никаких нарушений в тканях нет, и диагностировал природу заболевания.

— Вы слишком пристально смотрели на картины вблизи, — сказал врач. — Почему бы вам на время не отправиться в путешествие, посмотреть на широкие горизонты?

— Почему бы нет? — отозвался я.

— А куда бы вам хотелось поехать?

— В Африку.

Президент компании сказал, что с моими глазами и впрямь что-то не так, но он не может понять, зачем мне понадобилось ехать в Африку.

Я поехал в Африку — в Судан. Зрение вернулось ко мне, как только я добрался до аэропорта.

Я проплыл на торговой фелюге по колену реки мимо Донголы. Я побывал у «эфиопов» — таков был эвфемизм, означавший бордель. Я едва унес ноги от бешеной собаки. В больнице, где не хватало персонала, я выступил в роли анестезиолога, помогая делать кесарево сечение. Потом я повстречался с геологом, который разведывал минералы в горах у Красного моря.

Это была земля кочевников, а кочевники звались *беджа*: Киплинговы «фаззи-ваззи», которым на всех было плевать — на египетских фараонов и на британскую кавалерию при Омдурмане.

Эти высокие и худые люди носили хлопчатобумажные одеяния цвета песка, перевязанные на груди крест-накрест; с щитами из слоновьей кожи, с мечами «крестоносцев», заткнутыми за пояс, они приходили в деревни, чтобы выменять мясо на зерно. Они глядели на деревенских с презрением, словно те просто скотина.

При первых рассветных лучах, когда стервятники на крышах расправляли крылья, мы с геологом наблюдали за тем, как эти люди наводят ежеутренний марафет.

Они смазывали друг другу волосы надушенным козьим жиром и закручивали их в курчавые пряди, так что у каждого на голове образовывался плотный масляный зонтик, который служил им вместо тюрбана и не позволял дневному зною сварить им мозги. К вечеру жир таял, и кудри теряли упругость, превращаясь в свалявшуюся волосяную подушку.

Нашим погонщиком верблюдов был шутник по имени Махмуд, у которого на голове была самая буйная копна волос. Для начала он украл у нас геологический молоток. А потом оставил на видном месте свой нож — для того, чтобы мы его украли. Затем, громко хохоча, мы обменялись своими кражами и сделались таким образом закадычными друзьями.

Когда геолог отбыл обратно в Хартум, Махмуд повел меня в пустыню — осматривать наскальные росписи.

Земля к востоку от Дерудеба была выжженной и иссохшей, и в *вади*, среди длинных серых утесов, росли дум-пальмы. Равнины пестрели

акациями с плоскими вершинами, которые в ту пору года стояли без листьев, зато с длинными белыми колючками, похожими на сосульки, и с напылением из желтых цветов. Ночью, когда я лежал без сна под звездами, города западного мира казались мне тоскливыми и чуждыми, а претенциозность «мира искусства» — просто идиотизмом. Там-то во мне и начало пробуждаться чувство, будто я наконец вернулся домой.

Махмуд обучал меня искусству читать по следам на песке: вот здесь прошли газели, тут шакалы, это лисицы, а там женщины. Как-то раз, взяв след, мы увидели стадо диких ослов. Однажды ночью мы услышали совсем вблизи кашель леопарда. Однажды утром Махмуд отрубил голову африканской гадюке, которая свернулась под моим спальным мешком, и поднес мне на кончике меча ее обезглавленное тело. Еще ни с кем я не чувствовал себя в такой безопасности — и в то же время ни с кем я не ощущал большей несовместимости.

У нас было три верблюда: два — для нас, третий — для бурдюков с водой. Но обычно мы предпочитали передвигаться пешком. Я шел в башмаках, Махмуд — босиком; никогда еще я не видел такой легкой поступи. Шагая, он пел: обычно это была

песня о девушке из Вади-Хаммамата, которая прелестна, как длиннохвостый попугай. Верблюды были единственной собственностью Махмуда. Стад у него не было, он и не хотел их иметь. Ему было безразлично все то, что мы зовем словом «прогресс».

Мы нашли свои наскальные росписи: кеглеподобные фигурки людей, нацарапанные красной охрой на выступе скалы. Поблизости лежал длинный плоский валун с трещиной на одном конце, а поверхность его, будто оспинами, была испещрена чашеобразными ямками. Махмуд сказал, что это тот самый Дракон, которому отсек голову Али.

Он спросил у меня с коварной улыбкой, верю ли я в Бога. За две недели я ни разу не видел, чтобы он молился.

Позже, когда я уже вернулся в Англию, я нашел фотографию, изображавшую «фаззи-ваззи», высеченного на рельефе египетской гробницы XII династии в Бени-Хассане: жалостная, худая фигура, совсем как жертвы засухи в Сахеле; вдобавок в ней хорошо узнавался мой Махмуд.

Фараоны исчезли с лица земли — Махмуд и его народ дожили до наших дней. Я почувствовал, что мне необходимо узнать тайну их вечной и

непочтительной живучести.

Я бросил работу в «мире искусства» и вновь отправился путешествовать по засушливым краям — в одиночку, налегке. Названия племен, среди которых мне довелось странствовать, не имеют значения: регейбат, кашкаиты, таймени, туркмены, бороро, туареги — все это были люди, чьи путешествия, в отличие от моих, не имели ни начала, ни конца.

Я спал в черных палатках, в синих палатках, в кожаных шатрах, в войлочных юртах и в ветроломах из колючек. Однажды ночью, попав в песчаную бурю в Западной Сахаре, я понял изречение Мухаммеда: «Путешествие — это частица Ада».

Чем больше я читал, тем больше утверждался в мысли, что кочевники издревле были рычагом истории — хотя бы потому, что все до одной крупнейшие монотеистические религии зарождались именно в пастушеской среде…

Аркадий смотрел в окно.

5

На тротуар заехал и припарковался раздолбаный красный грузовик. В кузове среди множества тюков и канистр сидели, прижавшись друг к другу, пять чернокожих женщин. Платья и головные платки у них были покрыты пылью. Водитель был дюжий детина с пивным брюхом, в засаленной войлочной шляпе, нахлобученной на спутанные волосы. Он высунулся из дверцы кабины и что-то закричал пассажирам. Тогда вышел долговязый старик и показал на какой-то предмет, торчавший среди тюков.

Одна из женщин передала ему нечто трубчатое, завернутое в прозрачный полиэтилен. Старик забрал это и, как только обернулся, Аркадий узнал его.

— Это мой старый приятель Стэн, — сказал он. — Из Попанджи.

Мы вышли на улицу, и Аркадий обнял старика Стэна. Стэн явно встревожился за целость и сохранность то ли себя самого, то ли предмета в полиэтиленовой упаковке, и когда Аркадий разжал объятья, то вздохнул с облегчением.

Я стоял в дверях, наблюдая за этой сценой.

У старика были затуманенные красные глаза, на нем была грязная желтая рубаха, а борода и волосы на груди напоминали кольца дыма.

— А что это у тебя, Стэн? — спросил Аркадий.

— Картина, — ответил Стэн с глуповатой улыбкой.

— Что ты с ней собираешься делать?

— Продать ее.

Стэн был старейшиной племени пинтупи. Дюжий детина за рулем — его сыном Альбертом. Семья приехала в город, чтобы продать одну из картин Стэна миссис Лейси, владелице книжного магазина и картинной галереи «Пустыня».

— А ну-ка! — Аркадий нетерпеливо ткнул пальцем в сверток. — Давай поглядим!

Но старик Стэн опустил уголки рта, стиснул пальцы и пробормотал:

— Я должен ее сначала миссис Лейси показать.

Кофейня закрывалась. Официантка уже взгромоздила стулья на столы и теперь пылесосила ковер. Мы расплатились и вышли на улицу. Альберт, прислонившись к грузовику, разговаривал с женщинами. Мы зашагали по тротуару к книжному магазину.

Пинтупи были последним «диким племенем»,

которое вывезли из Западной пустыни и познакомили с белой цивилизацией. До конца 1950-х годов они продолжали заниматься охотой и собирательством, бродя голыми по песчаным холмам, как они занимались этим вот уже по крайней мере десять тысяч лет.

Это был беззаботный и отзывчивый народ, не практиковавший жестоких обрядов инициации, принятых у оседлых племен. Мужчины охотились на кенгуру и эму. Женщины собирали семена, коренья и съедобных личинок. Зимой они укрывались в ветроломах из спинифекса, а даже в самый палящий зной редко оставались без воды. Превыше всего они ценили пару крепких ног и никогда не переставали смеяться. Те немногие белые, кто встречал пинтупи во время путешествий, поражались тому, какие у них упитанные и здоровые малыши.

Однако правительство придерживалось мнения, что людей каменного века нужно спасать — хотя бы во имя Христа. Кроме того, Западная пустыня была нужна ему для разработок новых месторождений, а возможно, и для ядерных испытаний. Пришло распоряжение посадить всех пинтупи в армейские грузовики и перевезти их на отведенные правительством территории.

Многих отправили в Попанджи — поселение к западу от Алис-Спрингс. Там они погибали от эпидемий, вступали в стычки с людьми из чужих племен, спивались и пыряли друг друга ножами.

Даже живя в пленении, матери-пинтупи, как хорошие матери во всем мире, рассказывают своим детям сказки о происхождении животных: *Откуда у Ехидны колючки… Почему Эму не умеет летать… Отчего Ворона такая черная и блестящая…* И точно так же, как Киплинг сам проиллюстрировал штриховыми рисунками свои «Сказки просто так», так и мать-туземка чертит рисунки на песке, представляя в картинках странствия героев Времени Сновидений.

Она рассказывает свою сказку отрывистыми очередями скороговорки и одновременно чертит «следы» Предка, попеременно проводя по земле указательным и средним пальцами, так что получается двойная пунктирная линия. Она стирает ладонью каждый эпизод странствия, а под конец очерчивает круг, пересеченный еще одной линией — наподобие заглавной буквы Q.

Этот круг обозначает то место, где Предок, уставший от трудов Творения, снова ушел «во-свояси».

Эти рисунки на песке, которые делаются для

детей, суть лишь наброски или «свободные вариации» настоящих рисунков, изображающих настоящих Предков, которые выполняются лишь во время тайных церемоний и предназначены лишь для посвященных. В то же время именно благодаря этим «наброскам» дети учатся ориентироваться в своей земле, в ее мифологии и природных богатствах.

Несколько лет назад, когда драки и пьянство грозили выйти из-под контроля, один белый советник додумался до спасительной идеи: выдать пинтупи холсты и краски, чтобы те изображали свои Сновидения в картинах.

Результат последовал немедленно: родилась австралийская школа абстрактной живописи.

Вот уже восемь лет старый Стэн Тджакамарра работал художником. Завершив очередное полотно, он отвозил его в книжный магазин «Пустыня», где миссис Лейси подсчитывала стоимость израсходованных материалов и сразу же выплачивала ему гонорар.

6

Мне нравилась Инид Лейси. Я уже провел часа два в ее книжном магазине. Она, несомненно, умела продавать книги. Она прочла почти все книги о Центральной Австралии и старалась держать у себя хотя бы по экземпляру каждого наименования. В помещении, служившем залом картинной галереи, она поставила два удобных стула для покупателей. «Читайте сколько душе угодно, — говорила она. — Я вас не заставляю ничего покупать!» Сама же прекрасно понимала, что, усевшись на этот стул, ты уже не уйдешь отсюда без покупки.

Ей было лет под семьдесят, она была старожилкой Северной Территории, с излишне заостренными носом и подбородком, с крашеными золотисто-каштановыми волосами. Она носила две пары очков на цепочках и пару опаловых браслетов на сморщенных от солнца запястьях. «Лично мне опалы всегда приносили только удачу», — сказала она мне.

Ее отец был когда-то управляющим на скотоводческой станции неподалеку от Теннант-Крика.

Она прожила бок о бок с аборигенами всю свою жизнь, втайне обожала их и на дух не переносила никаких россказней.

Она перевидала все старые поколения австралийских антропологов и была невысокого мнения о новых: «продавцы тарабарщины» — так она их называла. Правда состояла в том, что, хоть миссис Лейси и старалась держать себя в курсе всех свежих теорий, хотя она героически пыталась осилить книги Леви-Стросса, ей так и не удалось сильно продвинуться вперед. Но при этом всякий раз, как затевались споры о делах аборигенов, она принимала самый что ни на есть первосвященнический вид и вместо «я» начинала говорить «мы» — не королевское «мы», а «мы», означавшее «совокупность научных мнений».

Она одной из первых заметила достоинства живописи пинтупи.

Будучи проницательной деловой женщиной, она знала, когда можно предоставить художнику кредит, а когда нет, или вовсе отказать ему в гонораре, если художнику явно не терпелось выпить. Когда кто-нибудь из ее «ребят» появлялся, еле стоя на ногах, перед закрытием (а во «Фрейзер-Армз» это было как раз время открытия), она цокала языком и говорила: «Ну надо же! Никак

не могу отыскать ключ от кассы. Придется тебе зайти завтра утром». А когда наутро художник приходил снова, благодарный ей за то, что не пропил заработок, она грозила ему пальцем и спрашивала: «Ты домой возвращаешься? Да? Сейчас же?» «Да, мадам!» — отвечал тот, и тогда она добавляла ему немного денег сверху — на жену и детей.

Миссис Лейси платила за картины гораздо меньше, чем галереи в Сиднее или Мельбурне, но и продавала она их значительно дешевле, и картины у нее всегда хорошо раскупались.

Иногда какой-нибудь социальный работник обвинял ее в том, что она «обдирает» художников, но деньги из Сиднея или Мельбурна обычно переходили кооперативам аборигенов, а миссис Лейси всегда платила наличными и на месте. Ее «ребята» разбирались в удачных сделках и всегда возвращались в ее книжный магазин.

Мы вошли вслед за Стэном.

— Ты опоздал, болван! — сказала миссис Лейси и поправила очки на носу.

Он стал бочком, между двумя посетителями и книжным шкафом, пробираться к ее столу.

— Я же говорила тебе — приходи во вторник, — сказала она. — Вчера приезжал тот человек из

Аделаиды. Теперь нам придется ждать еще месяц.

Посетителями магазина была супружеская пара, американские туристы, которые никак не могли решить, какую из двух книг с цветными вклейками купить. У мужчины в синих бермудах и желтой спортивной рубашке было загорелое веснушчатое лицо. Женщина была симпатичной, но несколько изможденной блондинкой. На ней было красное платье из батика с аборигенским узором. В руках они держали книги «Австралийские Сновидения» и «Сказки Времени Сновидений».

Старик Стэн положил свой сверток на стол миссис Лейси. Покачав головой туда-сюда, он пробормотал что-то извиняющимся тоном. Плесневый запах, исходивший от него, сразу заполнил всю комнату.

— Идиот! — закричала миссис Лейси. — Я же тебе тысячу раз говорила. Человеку из Аделаиды не нужны картины Гидеона. Ему нужны твои картины.

Мы с Аркадием держались немного в стороне, позади — возле полок, где были расставлены труды, посвященные обычаям аборигенов. Американцы навострили уши и прислушивались к

разговору.

— Я понимаю, о вкусах не спорят, — продолжала миссис Лейси. — Он утверждает, что ты — лучший художник в Попанджи. Он крупный коллекционер. Ему виднее.

— Это правда? — поинтересовался американец.

— Да, — ответила миссис Лейси. — У меня расходится все, что выходит из рук мистера Тджакамарры.

— А нельзя ли нам взглянуть? — спросила американка. — Пожалуйста.

— Не знаю, — ответила миссис Лейси. — Вам нужно спросить самого художника.

— Нельзя ли нам взглянуть?

— *Можно* им взглянуть?

Стэн затрясся, сгорбился и закрыл лицо руками.

— Можно, — сказала миссис Лейси, любезно улыбнувшись и разрезав ножницами полиэтиленовую упаковку.

Стэн отнял пальцы от лица и, взявшись за край холста, помог миссис Лейси развернуть его.

Картина была большая — почти метр двадцать на девяносто. Фоном служили пуантилистские точки различных оттенков охры. В центре был

изображен большой синий круг, а вокруг него были рассеяны еще несколько кругов поменьше. Каждый круг был обведен по периметру алым ободком, и все они соединялись между собой лабиринтом волнистых, розовых, как фламинго, толстых черточек, которые несколько напоминали внутренности.

Миссис Лейси переменила одни очки на другие и спросила:

— Ну, что это здесь у тебя, Стэн?

— Медовый Муравей, — прошептал он хриплым голосом.

— Медовый Муравей, — объяснила она американцам, — один из тотемов в Попанджи. На этой картине изображено Сновидение Медового Муравья.

— Мне кажется, она такая красивая, — задумчиво произнесла американка.

— Это вроде обычного муравья? — спросил американец. — Вроде муравья-термита?

— Нет-нет, — ответила миссис Лейси. — Медовые муравьи совсем не такие. Они питаются соком мульги. Мульга — это такая разновидность акации, которая растет у нас в пустыне. И эти муравьи отращивают себе на заду медовые мешочки, которые выглядят как прозрачные

пластиковые пузыри.

— Правда? — спросил мужчина.

— Я их ела, — ответила миссис Лейси. — Очень вкусно!

— Да, — вздохнула американка. Она глаз не сводила с картины. — По-своему она очень красивая!

— Но я не вижу на этой картине ни одного муравья, — сказал мужчина. — Может, это… Может, на ней изображен муравейник? А эти розовые трубочки — проходы?

— Нет. — Миссис Лейси несколько приуныла. — На этой картине изображено странствие Медового Муравья-Предка.

— А, то есть это дорожная карта? — улыбнулся тот. — Да, я так и подумал, что это похоже на дорожную карту.

— Именно, — подтвердила миссис Лейси.

Тем временем жена американца то открывала, то снова закрывала глаза, чтобы узнать, какое впечатление произведет на нее картина, когда она окончательно раскроет их.

— Красиво, — повторила она.

— А вы, сэр! — обратился американец к Стэну. — Вы сами едите этих медовых муравьев?

Стэн кивнул.

— Нет! Нет! — пронзительно закричала жена. — Я же тебе объясняла сегодня утром. Своего тотема не едят! Если ты съешь своего Предка, тебя за это убьют!

— Дорогая моя, этот джентльмен утверждает, что ест медовых муравьев. Я правильно вас понял, сэр?

Стэн снова кивнул.

— Кажется, я запуталась, — сказала женщина растерянно.

— Вы хотите сказать, что Медовый Муравей — не ваше Сновидение?

Стэн затряс головой.

— А что тогда — *ваше* Сновидение?

Старик задрожал, совсем как школьник, которого заставляют выдать секрет, и едва выдавил из себя:

— Эму.

— Ну, теперь я *совсем* запуталась. — Женщина разочарованно кусала губу.

Ей понравился этот старик в желтой рубахе с обмякшим ртом. Ей понравилась история о медовых муравьях, ползущих по пустыне под ярким солнцем, которое золотит им медовые мешочки. Ей полюбилась эта картина. Ей хотелось купить ее, хотелось, чтобы старик подписал ее, но теперь

она снова задумалась.

— А что, если, — медленно и осторожно проговорила она, — если мы оставим деньги у миссис…

— Лейси, — подсказала миссис Лейси.

— …не могли бы вы тогда написать для нас картину, изображающую Сновидение Эму, и отослать ее… попросить миссис Лейси отослать ее в Соединенные Штаты?

— Нет, — вмешалась миссис Лейси. — Не может. Ни один художник не изображает собственное Сновидение. Оно слишком могущественно. Оно может убить его.

— Ну, тогда я *окончательно* запуталась. — Женщина заломила руки. — Вы хотите сказать, ему нельзя изображать собственное Сновидение, но можно изображать чужие?

— Я понял, — сказал ее муж, просияв. — Ему нельзя есть эму, но можно есть медовых муравьев: так и здесь. Да?

— Вы правильно все поняли, — сказала миссис Лейси. — Мистеру Тджакамарре нельзя изображать Сновидение Эму, потому что эму — его тотем по отцовской линии, и изображать его было бы святотатством. Но ему можно изображать медового муравья, потому что это тотем сына брата его матери. Верно я говорю, Стэн? Ведь Медовый

Муравей — это Сновидение Гидеона?

Стэн моргнул и сказал:

— Верно!

— Гидеон, — продолжала миссис Лейси, — ритуальный ассистент Стэна. Они оба рассказывают друг другу, что им можно, а что нельзя изображать.

— Кажется, я понимаю, — неуверенно произнесла американка. Но у нее по-прежнему был довольно растерянный вид, и ей понадобилось время, чтобы перейти к следующей мысли.

— Вы говорили, что этот мистер Гидеон — тоже художник?

— Художник, — подтвердила миссис Лейси.

— И он изображает Сновидения Эму?

— Да.

— Как здорово! — Женщина неожиданно рассмеялась и захлопала в ладоши. — Значит, мы можем купить по одной каждого и повесить их в паре.

— Подожди, дорогая, — возразил ее муж, пытаясь унять ее восторг. — Вначале нам надо убедиться, что эта картина с Медовым Муравьем продается. А если да, то за сколько?

Миссис Лейси взмахнула ресницами и лукаво сказала:

— Не знаю. Вам нужно спросить художника.

Стэн повращал белками глаз, уставился в потолок и зашелестел губами. Видимо, он прикидывал, какую цену дала бы ему миссис Лейси, и умножал ее на два. Наверняка и он, и миссис Лейси уже неоднократно ломали эту комедию. Потом он опустил голову и сказал:

— Четыреста пятьдесят.

— Австралийских долларов, — вставила миссис Лейси. — Разумеется, мне придется взять с вас комиссионные. Десять процентов! Это только справедливо. А за краски и холст я накину еще двадцать.

— Процентов?

— Долларов.

— Ну, это по-божески, — сказал мужчина с явным облегчением.

— Она *такая* красивая, — произнесла женщина.

— Ну, ты рада? — спросил ее муж успокаивающим тоном.

— Да, — сказала она. — Я *так* рада!

— Можно расплатиться «Американ-экспрессом»?

— Конечно, — отозвалась миссис Лейси. — Если вас не смущают их комиссионные.

— Отлично. — Мужчина сделал большой вдох. — А теперь я хочу узнать, что тут происходит. На картине.

Мы с Аркадием тихонько подошли поближе, замерли за спинами американцев и стали наблюдать, как старик Стэн тычет своим костлявым пальцем в большой синий круг на холсте.

Он объяснил, что это Вечный Дом Медового Муравья-Предка в Татата. И вдруг мы все, похоже, увидели полчища медовых муравьев с блестящими полосатыми телами, лопавшимися от нектара, в своих сотах под корнями мульги. Мы увидели кольцо огненно-красной земли, окружающее вход в их муравейник, и дорожки, по которым они разбегались в другие места.

— Эти круги, — пояснила, в свою очередь, миссис Лейси, — обрядовые центры медовых муравьев. А «трубочки», как вы их назвали, — Пути Сновидений.

Американец, похоже, был покорен.

— А мы можем поехать поглядеть на эти Тропы Сновидений? Ну, там, где они на самом деле проходят? Как в Айерс-Роке? В каких-нибудь таких местах?

— Они могут, — ответила она. — *Вы* — нет.

— Вы хотите сказать, что они невидимы?

— Для вас — да. Но не для них.

— А где они проходят?

— Везде, — сказала миссис Лейси. — Насколько мне известно, одна из таких Троп проходит прямо посреди моего магазина.

— Страсть какая, — хихикнула жена американца.

— Эти Тропы видят только *они*!

— Видят — и поют, — добавила миссис Лейси. — Не бывает пути без песни.

— И эти Пути пролегают тут повсюду? — переспросил мужчина. — По всей Австралии?

— Да, — ответила миссис Лейси, с удовлетворением вздохнув оттого, что наконец нашла броскую формулу: — Земля и песня едины.

— Потрясающе! — изрек американец.

Американка достала носовой платок и стала утирать уголки глаз. Мне даже на миг показалось, что она готова расцеловать старика Стэна. Она понимала, что эта картина написана специально для белых людей, но художник подарил ей мимолетную возможность взглянуть на нечто редкостное и диковинное, и за это она испытывала к нему огромную благодарность.

Миссис Лейси снова переменила очки и принялась заполнять бланк «Американ-экспресса».

Аркадий помахал на прощанье Стэну, мы вышли на улицу, а вскоре услышали за собой победное *хррямп*! машинки для кредитных карточек.

— Вот это женщина! — сказал я.

— Да, выдержки ей не занимать, — отозвался Аркадий. — А теперь давай зайдем выпить.

7

У меня на ногах были резиновые шлепанцы, а поскольку перед всеми приличными барами в Алис были вывешены таблички: «В шлепанцах не входить» (с целью отвадить «аборигешек»), мы отправились в общий бар «Фрейзер-Армз».

Алис никак нельзя назвать жизнерадостным городком — ни днем, ни ночью. Старожилы помнят, какой была Тодд-стрит во времена лошадей и коновязей. С тех пор она превратилась в унылую американизированную полоску, сплошь утыканную сувенирными лавками, бюро путешествий и буфетными стойками. В одной из лавочек продавались мягкие игрушки — мишки коала, футболки с надписью «Алис-Спрингс», выведенной мухами. В газетном киоске подавалась книжка под названием «За белыми — красные». Ее автор, бывший марксист, утверждал, что движение за права аборигенов на землю является «фронтом» советской экспансии в Австралию.

— Получается, я, — сказал Аркадий, — один из главных подозреваемых.

Перед пабом был магазинчик, торговавший

спиртным. Вокруг него пошатывались те ребята, которых мы уже видели раньше. Посреди улицы, пробивая асфальт, возвышался ствол потрепанного эвкалипта.

— Священное дерево, — пояснил Аркадий. — Священное для клана Гусеницы — и источник большой опасности для транспорта.

Внутри общего бара было шумно, там вперемежку толпились и чернокожие, и белые. Бармен, двухметровая детина, считался лучшим в городе вышибалой. Линолеум покрывали пивные пятна, на окнах висели бордовые занавески, а стулья из стекловолокна стояли в полном беспорядке.

Тучный бородатый абориген сидел у стойки, почесывая укусы на пузе, и под каждой его ягодицей стояло по барному табурету. Рядом с ним сидела угловатая женщина. В ее пурпурную вязаную шапочку кто-то затолкал картонную подставку для пивного стакана. Глаза у женщины были закрыты, она истерически хохотала.

— Вся компания в сборе, — заметил Аркадий.

— Кто именно?

— Мои приятели из Совета пинтупи. Пойдем. Я познакомлю тебя с Председателем.

Мы взяли по пиву и начали осторожно пробираться через толпу пьющих к Председателю,

который громогласно разглагольствовал перед кружком восхищенных слушателей. Это был великан с очень темной кожей, в джинсах и черной кожаной куртке, в черной кожаной шляпе, с утыканным гвоздями кастетом на запястье. Он растянул губы в широченной, во все зубы, улыбке, протянул ладонь для братского рукопожатия и сказал:

— Здорово!

Я ответил:

— Здорово! — и увидел розовый кончик своего пальца, торчащий из его кулачища.

— Здорово! — сказал он.

— Здорово! — отозвался я.

— Здорово! — сказал он.

Я промолчал. Я подумал, что, если я в третий раз отвечу: «Здорово!», то мы будем повторять: «Здорово!» до бесконечности.

Я поглядел в сторону. Его хватка ослабла, и я наконец получил свою полураздавленную ладонь обратно.

Председатель вернулся к своему рассказу, который прервал из-за меня: о том, что завел привычку стрелять по висячим замкам на воротах скотоводческих станций. Его слушатели находили этот рассказ чрезвычайно забавным.

Потом я пытался поговорить с одним городским активистом, который приехал сюда из Сиднея. Но, поскольку он все время смотрел куда-то вбок, я разговаривал скорее с аборигенским флагом — серьгой, висевшей у него в левом ухе.

Сначала я вообще не видел никакого отклика, кроме покачивания флажка. Потом он повернул ко мне лицо и заговорил:

— Вы — англичанин?

— Да.

— А почему вы не уезжаете домой?

Он говорил медленно, четко произнося слоги.

— Да я только что приехал.

— Я про всех вас.

— А кто это — «все»?

— Белые люди, — ответил он.

Белые украли у его народа страну, сказал он. Их присутствие в Австралии незаконно. Туземцы никогда никому не уступали ни пяди своей территории. Они никогда не подписывали никаких соглашений. Все европейцы должны убираться туда, откуда приехали.

А как быть с ливанцами? — спросил я.

— Пускай убираются к себе в Ливан.

— Понятно, — сказал я, но интервью было окончено: лицо уже отвернулось и приняло исходное

положение.

После этого я приметил симпатичную светловолосую женщину и подмигнул ей. Она подмигнула в ответ, и мы стали пробираться друг к другу, обходя толпу.

— Не поладил с Предводителем? — прошептала она.

— Да нет, узнал много нового, — ответил я.

Ее звали Мэриан. Она только полчаса назад приехала в город из Земли уолбири, где занималась женскими земельными вопросами.

У нее были спокойные голубые глаза, она выглядела очень невинной и счастливой в этом дешевом платьице с цветочным узором. Под ногтями у нее виднелись красные полумесяцы грязи, а дорожная пыль, въевшаяся в кожу, придавала ей ровный бронзовый глянец. Под платьем просвечивали крепкие груди, а руки были сильными, цилиндрическими. В рукавах платья были сделаны прорези — чтобы воздух свободно проникал в подмышки.

Раньше она учительствовала в буше, в той же школе, что и Аркадий. По тому, какие взгляды она кидала на его соломенную шевелюру поблескивавшую под светом лампы, я догадался, что когда-то они наверняка были любовниками.

На нем была небесно-голубая рубашка и мешковатые рабочие штаны.

— Давно ты знаешь Арка? — поинтересовалась она.

— Целых два дня, — ответил я.

Я упомянул имя девушки из Аделаиды, нашей общей знакомой. Мэриан опустила глаза и зарделась.

— Он немножко святой, — сказала она.

— Знаю, — ответил я. — Русский святой.

Я бы продолжал разговор с Мэриан, если бы где-то у моего левого локтя не раздался скрипучий голос:

— Что привело вас на Территорию?

Я обернулся и увидел жилистого, щетинистого белого лет тридцати с лишним. По его накачанным мышцам и серой трикотажной рубашке без рукавов я легко догадался, что этот тип — спортсмен-зануда.

— Меня кое-что интересует, — ответил я.

— Что-то конкретное?

— Я хочу разобраться в Песенных Тропах аборигенов.

— Надолго вы?

— Месяца на два, наверное.

— С вами еще кто-нибудь?

— Нет, я сам по себе.

— А с чего вы взяли, что стоит вам заявиться сюда из Старой Доброй Англии, как перед вами немедленно распахнется сокровищница священных знаний?

— Да мне и не нужна сокровищница священных знаний. Я просто хочу понять, как «работает» Песенная Тропа.

— Вы что — писатель?

— В некотором роде.

— Что-нибудь уже публиковали?

— Да.

— Научную фантастику?

— Я терпеть не могу научную фантастику.

Послушайте, дружище, — сказал спортсмен-зануда, — вы зря тратите здесь время. Я десять лет прожил на Территории. Уж я-то знаю этих Старейшин. Они не расскажут вам ничего.

Его стакан был пуст. Единственным способом прекратить этот разговор было купить ему выпивку.

— Нет, спасибо. — Он вздернул подбородок. — Мне и так хорошо.

Я снова подмигнул Мэриан, которая пыталась подавить взрыв смеха. У других тоже опустели стаканы, и я предложил угостить всю компанию.

Я подошел к стойке и заказал кому большой бокал пива, кому полпорции. Спортсмену-зануде я тоже заказал, хотел он того или нет.

Аркадий помог мне подхватить стаканы.

— Ну и ну! — ухмыльнулся он. — Я вижу, ты вовсю развлекаешься.

Я расплатился, и мы с ним пошли разносить пиво.

— Скажи, когда тебе здесь надоест, — шепнул он. — Мы можем ко мне пойти.

— Пойдем, когда захочешь.

Спортсмен-зануда, принимая стакан, поморщился и сказал:

— Спасибо, приятель.

Председатель взял выпивку, не проронив ни слова.

Мы выпили. Аркадий поцеловал Мэриан в губы и сказал:

— До скорого.

Спортсмен-зануда просунул свою руку в мою и сказал:

— До встречи, приятель.

Мы вышли из паба.

— Что это за тип? — спросил я.

— Да так, жлоб один, — ответил Аркадий.

Город тихо погружался в сумерки. Вдоль гребня

хребта Макдоннелл догорал оранжевый закатный ободок.

— Ну, как тебе «Фрейзер-Армз»? — спросил Аркадий.

— Мне понравилось, — сказал я. — Там дружелюбная обстановка.

Она и вправду была куда более дружелюбной, чем в пабе в Катерин.

8

Когда я ехал из Кимберли в Алис, мне нужно было пересесть с одного автобуса на другой в Катерин.

Время было обеденное. Паб был забит дальнобойщиками и рабочими-строителями, которые пили пиво и ели мясные пироги. Почти на всех была стандартная униформа «мужчины с Равнины»: ботинки для пустыни, «землекопские» фуфайки, под которыми виднелись татуировки, желтые защитные шлемы и «стаббиз» — зеленые облегающие шорты без молнии. Первое, что ты видел, войдя в паб через двери из матового стекла, — это бесконечный ряд мохнатых красных ног и темно-зеленых ягодиц.

В Катерин останавливались все туристы, которые хотели полюбоваться здешним знаменитым ущельем. Ущелье получило статус национального парка, но какие-то юристы из Движения за возвращение земли выискали недоработки в правовых документах и теперь требовали вернуть эту местность аборигенам. В городе царила неприязненная атмосфера.

Я направился в уборную. В коридоре чернокожая проститутка прижалась сосками к моей рубашке и сказала:

— Хочешь меня, милый?

— Нет.

Пока я справлял нужду, она уже приклеилась к жилистому коротышке, сидевшему на табурете возле стойки. У него на предплечье виднелись вздувшиеся вены, а на рубашке красовался значок с надписью «смотритель парка».

— Нет! — презрительно огрызнулся он. — Грязная баба! Такие, как ты, меня не возбуждают. У меня есть женушка. Но если ты усядешься сюда, на стойку, и раздвинешь ноги, может, я в тебя бутылку и затолкаю.

Я взял свой стакан и направился в дальний конец зала. Там я разговорился с каким-то испанцем. Он был низеньким, лысым и потным и говорил высоким, истеричным голоском. Он был городским пекарем. В нескольких шагах от нас очень медленно начинали драться двое аборигенов.

У аборигена постарше был морщинистый лоб и алая рубаха, расстегнутая до пупа. Его противником был сухопарый паренек и облегающих оранжевых штанах. Мужчина был пьянее

мальчишки — он едва на ногах держался. Для равновесия он опирался локтями о табурет. Паренек голосил от страха во всю мочь, изо рта у него капала пена.

Пекарь ткнул меня пальцем в ребра.

— Я родом из Саламанки, — провизжал он. — Похоже на корриду, а?

Кто-то еще прокричал: «Черномазые дерутся!» — хотя они еще не дрались — пока. Однако посетители, глумясь и веселясь, стали стягиваться со всех концов бара, чтобы поглазеть.

Нежно, почти ласково, абориген постарше выбил из руки мальчишки стакан, тот упал и разбился. Мальчишка нагнулся и подобрал с пола отбитое донышко и зажал, будто кинжал.

Дальнобойщик, сидевший на табурете рядом, выплеснул содержимое своего стакана, разбил его стенки о край стойки и вложил зазубренное донышко в ладонь мужчины.

— Давай, подбодрил он его, — покажи ему.

Паренек сделал выпад своим битым стаканом, но мужчина быстрым движением кисти отбил удар. У обоих потекла кровь.

— Оле! — закричал пекарь-испанец. Лицо его перекосила гримаса возбуждения. — Оле! Оле! Оле!

Вышибала, разом перепрыгнув через барную стойку, вытащил обоих драчунов на тротуар, а потом перебросил через асфальт на островок посреди шоссе. Там они растянулись рядышком и лежали, истекая кровью под розовыми олеандрами, а мимо с грохотом проносились автомобильные поезда из Дарвина.

Я пошел дальше, но за мной увязался испанец.

— Они же закадычные друзья, а? — сказал он.

9

Я надеялся пораньше лечь спать, но Аркадий позвал меня на барбекю у каких-то друзей на дальнем конце города. У нас оставалось еще около часа свободного времени. Мы купили в магазинчике рядом с баром бутылку охлажденного белого вина.

Аркадий жил в съемной квартире-студии над вереницей запертых гаражей, за супермаркетом. Металлические перила лестницы, нагретые солнцем за день, были еще горячими. Кондиционер внутри был включен, и, как только Аркадий отпер дверь, нам в лицо дохнул прохладный воздух. На коврике лежала записка — кто-то просунул ее под дверь. Аркадий включил свет и прочел ее.

— Вовремя! — пробормотал он.

— Что-то случилось? — спросил я.

Он объяснил, что один из старейшин кайтиш, старик по имени Алан Накумурра, задерживал работу над отчетом вот уже четыре недели. Он был последним живым мужчиной в своем клане и «традиционным владельцем» участка земли к северу от станции Миддл-Бор. Землемерам-желез-

нодорожникам не терпелось поскорее нанести на карту именно этот отрезок пути. Аркадий упросил их подождать до тех пор, пока Алана не найдут.

— А куда он пропал?

— А ты как думаешь? — рассмеялся он. — Отправился в Обход.

— А что случилось с остальными?

— С какими остальными?

— Ну, с остальными мужчинами его клана.

— Их застрелили, — ответил Аркадий. — Полицейские патрули, еще в двадцатые годы.

Комната у него была опрятная и белая. На кухонной стойке, стояла соковыжималка, а рядом — корзинка с апельсинами. Поверх матраса на полу были набросаны индонезийские покрывала и подушки. На крышке клавесина лежали раскрытые ноты: «Хорошо темперированный клавир».

Аркадий откупорил бутылку, наполнил два бокала и, пока я изучал содержимое его книжной полки, позвонил своему начальнику.

Минуту-две он говорил о работе, а потом сказал, что тут, в городе, есть один пом, который хочет отправиться в буш с командой топографов… Нет, не журналист… Ну да, как и все помы, довольно

безобидный… Нет, не фотограф… Нет, не рвется наблюдать за ритуалами… Нет, не завтра… Послезавтра…

Наступила пауза. Мне показалось, я почти слышу, как человек на том конце линии думает. Потом Аркадий улыбнулся и знаком показал мне, что получил «добро».

— Едешь с нами, — сказал он и положил трубку на место.

Потом он позвонил в компанию по аренде грузовиков и заказал машину на утро среды.

— Пускай это будет «лендкрузер», — сказал он. — Вдруг дождь.

На полке у него стояла русская классика, книги о досократиках и ряд трудов, посвященных аборигенам. Среди последних я заметил две мои любимые книжки: «Традиции аранда» и «Песни Центральной Австралии» Теодора Штрелова.

Аркадий открыл банку с орехами кешью, и мы оба уселись по-турецки на матрас.

— *Nazdorovye*! — Он поднял бокал.

— *Nazdorovye*! — Мы чокнулись.

Он снова поднялся, взял с полки фотоальбом и начал листать его страницы.

Вначале были сплошь цветные снимки, и почти на всех фигурировал сам Аркадий. Типичный

фотоотчет любого молодого австралийца, впервые отправившегося путешествовать за океан: Аркадий на пляже в Бали; Аркадий в кибуце Хульда; Аркадий возле развалин храма в Сунионе; Аркадий с будущей женой в Венеции, с голубями; Аркадий, уже снова в Алис, с женой и ребенком.

Затем он перелистнул страницы ближе к концу альбома и показал мне поблекшую черно-белую фотографию: моложавая пара на палубе корабля, на фоне спасательной шлюпки.

— Мама с папой, — сказал Аркадий. — В мае 47-го года, когда их корабль стоял в Адене.

Я наклонился, чтобы получше рассмотреть их. Мужчина был низенький, коренастый и крепкий, с густыми черными бровями и чуть косыми скулами. В вырезе рубашки проглядывал клинышек черных волос. Мешковатые штаны, стянутые на поясе, казалось, были ему велики на несколько размеров.

Женщина была повыше ростом, стройная, в простом гладком платье. Ее светлые волосы были заплетены в косы, уложенные вокруг головы. Ее полная рука обвивала стойку палубы. Оба щурились, стоя против солнца.

Ниже, на той же странице, был еще один снимок с тем же мужчиной: теперь он был в

морщинах и сединах и стоял возле калитки в огороде с капустой: можно было не сомневаться, что такая капуста растет только в России. Вплотную к мужчине стояли полная крестьянка и два молодых силача в каракулевых шапках и сапогах.

— Это моя тетушка, — сказал Аркадий. — А это — мои двоюродные братья-казаки.

Эти каракулевые шапки напомнили мне об одном душном летнем дне в Киеве, и из памяти снова вынырнул эскадрон казацкой конницы, вышагивавший по булыжной мостовой: блестящие черные лошади; алые плащи, высокие шапки, заломленные набекрень; и толпа с хмурыми, недовольными лицами.

Это было в августе 1968 года, за месяц до вторжения в Чехословакию. Все то лето ходили слухи о волнениях на Украине.

Аркадий снова наполнил бокалы, и мы заговорили о казаках: о «казахах» и «казаках»; о казаках-наемниках и казаках-бунтовщиках; о казаке Ермаке и покорении Сибири; о Пугачеве и Стеньке Разине; о Махно и буденновской Красной кавалерии. Я упомянул о казацком отряде фон Панвица, который сражался на стороне немцев против Советской Армии.

— Забавно, что ты заговорил о фон Панвице, —

сказал Аркадий.

В 1945 году его родители оказались в Австрии, на территории, занятой британцами. Это было время, когда союзники отправляли советских беженцев, предателей или нет, обратно в СССР, на милость Сталина. Отца Аркадия допрашивал британский майор разведки, на безукоризненном украинском языке обвинявший его в том, что он сражался в отряде фон Панвица. После недели прерываемых и возобновляемых допросов ему удалось убедить разведчика в несправедливости такого обвинения.

Затем их перевезли в Германию и расквартировали в бывшем офицерском клубе, под Орлиным Гнездом в Берхтесгадене. Они подали бумаги на эмиграцию — в США или Канаду. Им сказали, что Аргентина куда лучше подходит людям, имеющим сомнительный статус. Наконец, после года томительного ожидания, пришла новость о том, что рабочие руки требуются в Австралии, и туда разрешалось отправиться всем, кто готов был подписать бумаги.

Они охотно ухватились за эту возможность. Все, чего им хотелось, — это бежать подальше от кровавой Европы — от холода, грязи, голода и утраченной родни, — и оказаться в солнечной

стране, где все едят досыта.

Они отплыли от Триеста на судне, прежде служившем плавучим госпиталем. На время плавания все женатые пары разлучили — встречаться мужья с женами могли только днем, на палубе. После высадки в Аделаиде их отправили в лагерь с ниссеновскими бараками, где люди в форме цвета хаки отдавали им приказы на английском. Иногда им казалось, будто они снова попали в Европу.

Я и раньше замечал, что в одержимости Аркадия Австралийскими железными дорогами есть какая-то агрессия. Теперь, из его рассказа, я понял почему.

Наконец Иван Волчок получил работу: его устроили техником на Трансконтинентальной линии, посреди Налларборской равнины. Там, между станциями Ксантус и Китченер, без жены и детей, сходя с ума от солнца и дневного рациона, состоявшего из говядины и крепкого чая, он до изнурения менял шпалы.

Однажды его привезли в Аделаиду на носилках. «Тепловая прострация», — сказали врачи. Железная дорога не выплатила приличной компенсации. Другой врач сказал: «У вас хреновое сердце». Иван больше никогда не работал.

К счастью, мать Аркадия оказалась работоспособной и решительной женщиной: начав с уличного ларька, она обзавелась прибыльным магазинчиком, торговавшим фруктами и овощами. Купила дом в восточном пригороде. Сама читала русские романы, Аркаше и его братьям — русские сказки, водила их по воскресеньям на православную службу.

Ее муж был лишен такой жизненной энергии. Когда-то он был сильным и задорным. Постарев, он шаркал ногами по магазину, всем мешал, напивался домашним самогоном и угрюмо предавался воспоминаниям.

Он бормотал что-то о груше в мамином саду, о каком-то амулете, закопанном у развилки дороги. Деревья в Австралии, говорил он, полумертвые. Вот в России деревья — настоящие, они роняют листья, а потом снова оживают. Однажды вечером брат Аркадия Петро застал отца за тем, что он рубил их араукарию. Тогда семья поняла, что дело зашло слишком далеко.

Через советское посольство в Канберре ему и Петро раздобыли разрешение съездить в СССР и посетить родную деревню Горняцкие. Он снова увидел сестру, старый самовар, пшеничные поля, березы и ленивую речку. Грушу давно срубили на

дрова. На кладбище он выкопал лопух с родительской могилы. Слушал скрип ржавого флюгера. Когда наступала темнота, они с родней пели, а племянники по очереди играли на семейной бандуре. За день до отъезда кагэбэшники вызвали его в Ростов для допроса. Они все время листали его досье и задавали множество каверзных вопросов про войну.

— В тот раз, — сказал Аркадий, — папа обрадовался Вене еще больше, чем в первый.

С тех пор прошло семь лет. А теперь он опять затосковал по России. Только и говорил, что о могиле в Горняцких. Родные понимали, что он хочет умереть там, но не знали, как быть.

— Я хоть и европеец, — заметил я, — но хорошо его понимаю. Всякий раз, как я приезжаю в Россию, мне не терпится уехать. Как только уезжаю — снова туда тянет.

— Тебе нравится Россия?

— Русские — удивительный народ.

— Это я знаю, — ответил он нетерпеливо. — Почему?

— Трудно сказать, — ответил я. — Мне нравится думать о России как о стране чудес. Когда боишься самого худшего, всегда происходит что-нибудь удивительное.

— Например?

— Да всякие мелочи. Смирение в России беспредельное.

— Теперь верю, — сказал Аркадий. — Ну, пойдем. Нам уже пора.

10

Была яркая лунная ночь. Только в лунную ночь можно было безопасно перейти Тодд. У аборигенов была привычка, напившись, укладываться спать прямо в русле реки. В кромешной тьме всегда был риск наткнуться на кого-нибудь из них, а некоторые во хмелю бывали опасны.

Стволы эвкалиптов-призраков сверкали белизной: прошлогоднее наводнение повалило несколько деревьев. На другом берегу реки мы увидели казино и светящиеся фары машин, подъезжавших к нему. Песок был мягкий и сухой, и мы шли, увязая в нем по щиколотки. На дальнем берегу из зарослей выросла какая-то взъерошенная фигура, пробормотала: «Придурки!», после чего с глухим стуком и хрустом веток рухнула обратно в кусты.

— Пьян, но безобиден! — констатировал Аркадий.

Он повел меня мимо казино, по улице, застроенной новыми домами. На крышах были установлены солнечные нагреватели, на подъездных дорожках припаркованы автоприцепы. В

дальнем конце улицы, наискось по отношению к остальным, стоял старый, обветшавший «первопоселенческий» дом с широкой верандой и москитными сетками. Из сада долетали запахи франжипанов и шкворчащего мясного жира.

Седобородый мужчина по имени Билл стоял без рубашки и, обливаясь потом, жарил на угольной решетке мясо и сосиски.

— Привет, Арк! — Он помахал вилкой в воздухе.

— Привет, Билл, — поздоровался Аркадий. — Это Брюс.

— Приятно познакомиться, Брюс, — торопливо проговорил Билл. — Угощайтесь.

Жена Билла, светловолосая Дженет, сидела за длинным столом и раскладывала по тарелкам салат. Рука у нее была в гипсе. На столе стояли бутылки с разными винами и пластмассовая ванночка, заполненная кубиками льда и банками с пивом.

Ночные насекомые роились вокруг пары фонарей-«молний».

Гости бродили по саду, держа бумажные тарелки с едой. Кто-то сидел на земле группками и смеялся, кое-кто сидел на складных стульях и вел серьезные беседы. Среди них были медсестры,

учителя, юристы, лингвисты, архитекторы. Все эти люди, как я догадался, были так или иначе связаны с аборигенами — работали или с ними, или для них. Они были молоды и обладали выносливыми ногами.

Среди гостей был только один абориген — долговязый мужчина и белых шортах с бородой, развевавшейся по ветру ниже пупа. У него на руке висла девушка-полукровка. Ее волосы были туго стянуты лиловой косынкой. Мужчина молчал, предоставляя слово ей.

Она жалобным тоном рассказывала о том, что городской совет Алис предложил запретить распитие спиртного в общественных местах.

— Где же нашим людям пить, — возмущалась она, — если им запретят пить в общественных местах?

Потом я увидел, как через весь сад ко мне направляется спортсмен-зануда. Он переоделся в футболку с символикой Движения за земельные права и удлиненные сине-зеленые шорты. Надо заметить, лицо у него было довольно приятное, хоть и с кисловатым выражением. Звали его Киддер. Резкий, восходящий тон, которым он завершал каждую свою фразу, придавал каждому его утверждению, даже самому догматичному,

неуверенную и вопросительную интонацию. Из него вышел бы отличный полицейский.

— Как я уже говорил тогда в пабе, — сказал он, — эпоха таких исследований уже кончилась.

— Каких это — «таких» исследований?

— Аборигенам уже осточертело, что за ними подглядывают, как за зверюшками в зоопарке. Они призвали положить этому конец.

— Кто призвал положить этому конец?

— Они сами, — сказал он. — И их общинные советники.

— И вы — один из них?

— Да, скромно подтвердил он.

— Означает ли это, что я не могу поговорить ни с одним аборигеном, не попросив предварительно разрешения у вас?

Он выставил вперед подбородок, опустил веки и посмотрел в сторону.

— Не желаете ли, — спросил он, — пройти обряд инициации?

И добавил, что если я пожелаю, то мне придется подвергнуться обрезанию, если я еще не обрезан, а затем еще и подрезанию: последнее, как мне конечно же известно, состоит в том, что тебе сдирают кожу с уретры, как банановую кожуру, а затем делают там надрез каменным ножом.

— Спасибо, — ответил я. Я лучше воздержусь.

— В таком случае, — заметил Киддер, — у вас нет права совать нос в дела, которые вас не касаются.

— А вы прошли инициацию?

— Я… э… я…

— Я спрашиваю: вы прошли инициацию?

Он провел пальцами по волосам и заговорил более любезным тоном.

— Полагаю, вас следует ознакомить с некоторыми стратегическими решениями, — сказал он.

— Я весь внимание.

И Киддер, развивая тему, стал говорить о том, что священное знание является культурной собственность туземных народов. Все знания такого рода, которые попали в руки белых людей, были исторгнуты у аборигенов или обманом, или силой. И теперь их следовало депрограммировать.

— Знание есть знание, — возразил я. — От него не так-то просто избавиться.

Он со мной не согласился.

«Депрограммирование» священных знаний, продолжал он, означает следующее: нужно изучить архивы, где собраны неопубликованные материалы, касающиеся аборигенов, а затем вернуть все важные страницы полноправным

«владельцам». Это означает, что авторские права нужно отобрать у автора книги и передать описываемому в ней народу; фотографии нужно возвратить изображенным на них людям (или их потомкам); звуковые записи — тем, чьи голоса на них записаны, и так далее.

Я слушал Киддера и ушам своим не верил.

— А кто же будет устанавливать, — спросил я, кто именно является этими «владельцами»?

У нас есть способы добывать такого рода сведения.

— Это ваши способы — или их способы?

Он не ответил. Вместо этого, сменив тему, поинтересовался, а знаю ли я, что такое *чуринга*.

— Знаю — ответил я.

— И что же такое чуринга?

— Священная табличка, — сказал я. — «Святая святых» аборигена. Или, если угодно, его «душа».

Обычно чуринга представляла собой пластинку с овальным концом, вырезанную из камня или древесины мульги, испещренную узорами, в которых представлены странствия героя Времени Сновидений, приходящегося Предком владельцу чуринги. Согласно законам аборигенов, ни один непосвященный никогда не имел права глядеть на такую табличку.

— Вы когда-нибудь видели чурингу? — спросил Киддер.

— Да.

— Где?

— В Британском музее.

— А вы понимали, что, глядя на нее, вы поступаете незаконно?

— Никогда еще не слышал подобных нелепостей.

Киддер сложил руки и смял пустую пивную банку: *кла-ац*! Грудь у него ходила ходуном, как у зобастого голубя.

— Людей убивали и за меньшие проступки, — заявил он.

Я с облегчением заметил Аркадия, который шел по лужайке в нашу сторону. На тарелке у него была горка капустного салата, а по подбородку стекала майонезная струйка.

— Я так и знал, что вы споетесь, — улыбнулся он. — Парочка говорящих голов!

Киддер растянул губы в тугой усмешке. Он совершенно несомненно притягивал к себе женщин. Возле нас уже давно нетерпеливо переминалась темноволосая девушка, явно сгоравшая от желания поговорить с ним. Теперь она воспользовалась случаем. Я тоже воспользовался

случаем, чтобы убраться прочь и добраться до еды.

— Ты должен мне кое-то объяснить, — сказал я Аркадию. — Кто такой этот Киддер?

— Богатенький парнишка из Сиднея.

— Я имел в виду — что он делает для Движения борцов за земельные права?

— А, там он никто и ничто. У него просто есть свой самолет. Летает туда-сюда, доставляет сообщения. Вот и чувствует себя очень важным.

— Летчик-чурбан, — сказал я.

— Он неплохой малый, — возразил Аркадий. — Так я по крайней мере слышал.

Я взял еще немного салата, и мы подошли к Мэриан. Она сидела на коврике и разговаривала с барристером. На ней было другое платье — еще более линялое и обтрепанное, чем в прошлый раз, с узором из японских хризантем. Лохмотья шли ей. Лохмотья были ее стилем. Любая другая одежда, кроме лохмотьев, смотрелась бы на ней безвкусно.

Она подставила мне обе щеки для поцелуя и сказала, что рада, что я еду.

— Куда?

— В Миддл-Бор, — ответила она. — Надеюсь, ты правда едешь?

— А ты тоже?

— Я тоже. — Она искоса взглянула на Аркадия и сощурилась.

— Я же не разлей вода с Великим Герцогом.

Она рассказала, что у женщин-аборигенок есть свои песенные циклы, а следовательно, и другие священные места, нуждающиеся в защите. Мало кто знал об этом до недавнего времени: дело в том, что женщины куда более скрытны, они неохотнее расставались со своими тайнами, чем мужчины.

— В любом случае, хорошо, что ты едешь, — улыбнулась она. — Будет весело.

Она познакомила меня с барристером: — Брюс, это Хьюи.

— Как поживаете?

Он ответил на мое приветствие медленным наклоном головы.

У него было бледное продолговатое лицо, он четко и педантично выговаривал слова; а веснушки, очки в стальной оправе и хохолок мышиных волос на макушке придавали ему вид лучшего ученика в школе. Когда на него упал свет лампы, стали заметны морщины и усталость у него на лице.

Он зевнул.

— Не поискать ли нам стул, друг мой? Я больше ни минуты не могу стоять, а сидеть на полу я просто ненавижу. А вы нет?

Я нашел два стула, и мы уселись. Аркадий с Мэриан тем временем ушли куда-то обсуждать предстоящую поездку.

Барристер весь день был в суде — защищал чернокожего паренька, обвиняемого в убийстве. Завтра ему тоже предстояло провести весь день в суде. Он был родом из Новой Зеландии. Учился в частном учебном заведении в Англии, потом работал и адвокатуре в Лондоне.

Мы поговорили о деле Лосона, которое слушалось в суде Алис. Лосон был дальнобойщиком. Когда он, явно пьяный, зашел в бар при мотеле где-то на Равнине, хозяйка отказалась продавать ему спиртное. Тогда он снова вышел на свет палящего полуденного солнца, отцепил трейлер, а через двадцать минут на скорости 50 км в час въехал в тот самый бар, убив пятерых посетителей и ранив еще двадцать человек.

После этого происшествия Лосон скрылся в буше, а когда его разыскали, он утверждал, что ничего не помнит.

— Вы ему верите? — спросил я.

— Верю ли? Конечно верю! Мистер Лосон — че-

ловек очень симпатичный и правдивый, а его компания страшно нагружала его работой. А защищать его трудно потому, что он не был пьян: он находился под наркотиками.

— Под какими именно?

— Под амфетаминами, бедняжка! Он пять дней глаз не смыкал. Ведь все дальнобойщики, все до одного, буквально сидят на амфетаминах! Суют их в рот, как конфетки! Раз, два, три, четыре, пять, и — уууу! — только их и видели. Неудивительно, что он был слегка обторчанный.

— А в суде об этом говорилось?

— О пяти днях без сна — да, об амфетаминах — нет.

— Почему же?

— Немыслимо! Затрагивать тему амфетаминов и грузоперевозок? Просто недопустимо! Представьте себе — начнется расследование. Ведь амфетамины — ответ Австралии на эти необъятные просторы. Без них страна просто заглохнет.

— Непостижимая страна, — сказал я.

— Да.

— Непостижимее, чем Америка.

— Конечно! — согласился барристер. — Америка же молодая! Молодая, невинная и жестокая. А эта страна — старая. Старая глыба! Вот в чем

разница. Старая, усталая и мудрая. И всепоглощающая! Что бы на нее ни проливалось — всё всасывается.

Он махнул тонкой белой рукой в сторону здоровых, загорелых людей на лужайке.

— Поглядите на них! — сказал он. — Им кажется, что они молоды. Ничего подобного! Они старики. Они уже родились стариками!

— Только не Аркадий, — возразил я. — Аркадий совсем не кажется мне стариком.

— Арк — исключение, — согласился барристер. — Мне кажется, Арк вообще откуда-то с неба свалился. Но все остальные — старики, — продолжал он. — Вы когда-нибудь обращали внимание на веки молодых людей в этой стране? Это старческие веки. Ты будишь их — и они глядят на тебя испуганной ланью — на мгновенье! А потом снова становятся стариками.

— Может, дело в свете? — предположил я. — В Австралии солнце светит так ярко, что люди тоскуют по темноте.

— Арк говорил мне, что у вас множество интересных теорий относительно многих вещей. Я бы с удовольствием их послушал, но сегодня я слишком устал.

— Я тоже.

— Хотя это не значит, что у меня самого нет кое-каких собственных домашних теорий. Потому-то, наверное, я здесь.

— Я уже задавал себе этот вопрос.

— Какой вопрос?

— Что вы здесь делаете.

— Я сам себе все время задаю его, друг мой! Всякий раз, как чищу зубы, я спрашиваю себя об этом. Но что бы я делал в Лондоне? Устраивал бы жеманные вечеринки? Жил бы в уютной квартирке? Нет. Нет. Это совсем мне не подходит.

— Но почему вы именно здесь?

— Мне здесь нравится, — проговорил он задумчиво. — Тут отрешенность. Вы понимаете, о чем я?

— Думаю, что да.

— Отличное место для сумчатых, но только не для человека. Я про здешнюю землю. Люди здесь вытворяют самые неожиданные вещи. Вы не слышали историю про девушку-немку и велосипед?

— Нет.

— Очень любопытный случай! Симпатичная, здоровая молодая немка. Берет напрокат велосипед в магазине на Тодд-стрит. Покупает замок в магазине на Корт-стрит. Выезжает из города по Ларапинта-драйв и добирается до ущелья Орми-

стон. Затаскивает велосипед в ущелье — а это, если вы там бывали, сами понимаете, сверхчеловеческий подвиг. А потом, оказавшись черт знает где, она приковывает ногу к раме, ключ от замка выбрасывает и ложится жариться на солнышке. Любовь к солнечным ваннам, зашкалившая до предела! Испеклась до костей девушка! Испеклась!

— Жуть какая!

— Нет! — Он покачал головой. — Примирение! Растворение без остатка! Это тоже часть моей маленькой теории насчет Австралии. Но сейчас я вас не буду ею утомлять, потому что я в самом деле страшно устал, и мне уже давно пора в кровать.

— Мне тоже, — сказал я и поднялся со стула.

— Да сядьте же вы! — сказал он. — Почему вы, помы, всегда так торопитесь?

Он отпил вина. Мы еще минуту или две посидели в тишине, а потом он мечтательно произнес:

— Да, здесь приятно затеряться. Затеряться в Австралии… Здесь чувствуешь себя в безопасности. Он вскочил на ноги.

— Вот теперь, — сказал он, — мне и вправду пора! Очень приятно было с вами побеседовать, надеюсь, мы когда-нибудь побеседуем еще. Спо-

койной ночи!

Он зашагал к садовым воротам, всем кивая по пути и всем желая: «Спокойной ночи!»

Я снова подошел к Аркадию и Мэриан.

— Ну, как тебе Хьюи? — спросил он.

— Большой чудак!

— Чертовски хороший барристер, — ответил Аркадий. — Весь суд на нем держится.

— Ну, я, пожалуй, пойду, — сказал я. — Ты оставайся. Я загляну завтра в контору.

— Нет, не уходи, — сказал он. — Тут есть один человек, с которым я хочу тебя познакомить.

— Что за человек?

— Дэн Флинн. — Он показал на бородатого аборигена.

— Тот самый отец Флинн?

— Он самый, — подтвердил Аркадий. — Ты о нем слышал?

— Да, — сказал я.

— От кого?

— От одного ирландца, отца Теренса.

— Никогда про такого не слышал.

— Неудивительно, — ответил я. — Он отшельник. Он советовал мне поглядеть на Флинна.

Аркадий запрокинул голову и рассмеялся.

— Все хотят поглядеть на отца Дэна, — сказал

он. Пока не получают от ворот поворот. Если ты ему понравишься, то узнаешь много интересного. Если нет… ты сам поймешь.

— Да, — сказал я. — Я слышал, у него характер не сахар.

11

Пожалуй, никогда еще миссионерская деятельность католической церкви в Австралии не страдала от таких тяжелых случаев, как случай отца Флинна.

Он был найденышем: неизвестная мать подкинула его к дверям магазина одного ирландца в Фицрой-Кроссинге. В шестилетнем возрасте его отправили в бенедиктинскую миссию в Сигнет-Бэй, где он отказывался играть с другими чернокожими ребятишками, научился прислуживать на мессе и завел привычку с мягким набожным выговором задавать вопросы по догматам. Однажды он без запинки отбарабанил имена всех пап, от Святого Петра до Пия XII. Святые отцы усмотрели в этом доказательство его тяги к Христу.

Они стали обучать его латыни, уговаривали стать духовным лицом. Он попал под опеку старейшего обитателя миссии, довольно безобидного чудака отца Херцога, который когда-то учился на этнографа и теперь обучал юношу начаткам сравнительного религиоведения.

В 1969 году Флинн принял сан. Он отправился в Рим. Прогуливался с товарищами по семинарии по Альбанским холмам. Удостоился аудиенции у Святейшего Отца, которая длилась минуту с четвертью. Когда он возвратился в Австралию, начальство ордена решило, что Флинн должен стать первым аборигеном, который возглавит самостоятельную миссию.

Местом, которое ему выбрали, стал Роу-Ривер в Кимберли. Чтобы Флинн полностью подготовился к своей задаче, его отправили в обучение к двум «ветеранам» — отцам Субиросу и Вильяверде, в другой бенедиктинский аванпост — Бунгари.

Отец Субирос (позднее мне предстояло встретиться с ним в монастыре, куда он удалился на покой) был человеком мягкого характера: коротышка-каталонец, толстяк и книжник. А отец Вильяверде был сухопарым эстремадурцем из Трухильо. За пятьдесят лет они пережили вместе наводнение, голод, болезни, мятежи, японскую бомбежку и множество иных напастей, насланных дьяволом.

Бунгари находился в часе ходьбы от побережья. Роу-Ривер, наоборот, был запрятан в 225 км вглубь страны, и порой ливни на три месяца или даже дольше «отрезали» его от остального

мира. Ни тот, ни другой не являлись миссиями в обычном смысле слова: это были скотоводческие станции, которые бенедиктинский орден купил по дешевке в 1946 году; предполагалось, что на этих территориях смогут находить прибежище племена, чьи земли оказались захвачены скотоводами. И эти владения оказались очень выгодными приобретениями.

Отец Вильяверде, который родом был из тех же мест, что некогда и Писарро, чувствовал себя обязанным подвизаться в роли конкистадора. Он говорил, что бесполезно даже и пытаться произвести впечатление на язычников делами любви, раз они понимают только силу. Он запрещал им охотиться и даже разводить сады. Оставалось надеяться только на то, что туземцы приохотятся к конине.

Он отбирал маленьких мальчиков у матерей и заставлял их прыгать через козла. Его любимым развлечением было носиться по бушу во главе своей ватаги юных сорванцов. По субботам он устраивал спортивные соревнования — со спринтом, борьбой, метанием копья и бумеранга, причем в каждом состязании лично принимал участие. Будучи прирожденным атлетом (хоть ему уже перевалило за семьдесят), он наслаждал-

ся случаем похвастаться своим превосходным европейским телосложением. Чернокожие, которые знали, чем угодить ему, не пускали в ход всей своей силы, давали ему одержать верх, увенчивали его венцом победителя и на плечах относили его домой.

Он выгнал из миссии всех антропологов, журналистов и прочих шпионов. Он запретил «традиционные» обряды. И с какой-то священнической завистью он особенно возмущался, когда его «ребята» уезжали искать себе жен. Как только они уезжали, оказывались в Бруме или Фицрой-Кроссинге, они подхватывали привычку сквернословить и пьянствовать и заражались дурными болезнями. Поэтому, сделав все возможное для того, чтобы удержать их, он потом всеми силами препятствовал их возвращению.

Чернокожие считали, что он сознательно стремится сократить их численность.

Я ни разу не бывал ни в той, ни в другой миссии: к тому времени, когда я оказался в Австралии, они уже лет семь как были закрыты. Я лишь узнал обо всех этих делах от отца Теренса, который в ту пору, когда Флинн приехал в Бунгари, сам жил примерно в миле от того места — в хижине из листьев и веток.

Отец Вильяверде возненавидел Флинна с первого взгляда и начал подвергать его всевозможным пыткам. Он заставлял его по шею переходить вброд реку, холостить волов и чистить нужники. Он обвинял Флинна в том, что он на мессе заглядывался на медсестер-испанок, тогда как это они — бедные деревенские девушки, которых целыми партиями присылали сюда из монастыря под Бадахосом, — заглядывались на Флинна.

Однажды, когда испанцы водили по миссии магната-скотовода из Техаса, жена техасца настояла на том, чтобы сфотографировать белобородого старейшину, сидевшего в пыли в расстегнутой одежде, скрестив ноги. Старик был в ярости. Он выхаркнул целый ком мокроты, который шлепнулся к ногам магнатши. Но она, тоже не ударив лицом в грязь, принесла извинения, вытащила пленку из фотоаппарата и, склонившись над стариком с видом Дамы-Благодетельницы, спросила: «Могу ли я что-нибудь прислать для вас из Америки?»

«Можете, — рявкнул тот в ответ. — Четыре „лендкрузера-тойота“».

Отец Вильяверде был повергнут в шок. В глазах этого истинного кабальеро двигатель внутреннего сгорания являлся проклятьем. Должно быть,

кто-то мутил воду. Его подозрения пали на отца Флинна.

Примерно месяц спустя он перехватил письмо от департамента по делам аборигенов из Канберры, где выражалась благодарность Совету Бунгари за просьбу выделить «лендкрузер»: вопрос будет рассмотрен.

— Что это еще за Совет Бунгари? — визжал отец Вильяверде.

Флинн скрестил руки, подождал, когда прекратится возмущенная тирада, а потом сказал:

— Мы.

С того дня война сделалась открытой.

В следующую субботу на спортивных соревнованиях, как только отец Вильяверде метнул свое победительное копье, из-за часовни показался Флинн в белой сутане. В руке у него было копье, натертое красной охрой. Он подал знак зрителям отойти подальше и явно без особого усилия подбросил копье высоко в воздух.

Оно приземлилось вдвое дальше, чем копье испанца. Тот пришел в ярость и слег в постель.

Я уже забыл названия тех трех племен, что располагались лагерями вокруг миссии. Отец Теренс написал мне их на бумажке, но я потерял ее. Я запомнил только суть: Племя А было другом

и союзником Племени Б, и оба были кровными врагами людей из Племени В, а то, став изгоем и лишившись притока женщин, находилось на грани вымирания.

Три лагеря были равноудалены от миссии: каждое племя располагалось с той стороны, откуда было ближе до его родного места. Драки начинались лишь после обмена оскорблениями и обвинениями в колдовстве. И все же, по молчаливому уговору, ни одно из племен-союзников не нападало на своего общего врага. Все три племени признавали миссию нейтральной территорией.

Отец Вильяверде потворствовал этим периодическим кровопусканиям: пока дикари упорствуют в своем неведении Евангелия, они обречены драться друг с другом. Кроме того, амплуа миротворца льстило его самолюбию. Заслышав крики, он мчался на место происшествия, вставал между бряцающих копий и с жестом Христа, усмиряющего воды, говорил: «Остановитесь!» — и воины, стушевавшись, виновато расходились по домам.

Главным законником в Племени В был человек с незабываемым именем Наглый Жулик Табаджи. В юности он был хорошим охотником и сопровождал экспедиции рудоискателей по Кимберли. Теперь он ненавидел всех до единого белых и

за тридцать лет ни словом не перемолвился с испанцами.

Наглый Жулик был мужчиной богатырского телосложения; но он состарился, скрючился от артрита и покрылся коростой от кожной болезни. Ноги ему отказали. Он сидел в полутени моей хижины, и собаки лизали ему болячки.

Он понимал, что умирает, и это приводило его в ярость. Он наблюдал, как молодежь в его племени тает на глазах: кто-то уходил, кто-то погибал. Скоро никого не останется — некому будет ни петь песни, ни давать свою кровь для церемоний.

В представлениях аборигенов невоспетая земля — мертвая земля; поэтому, если песни забываются, сама земля обречена умереть. Позволить этому свершиться — страшнейшее из возможных преступлений. С этой-то горькой мыслью Наглый Жулик и решил передать свои песни врагу — и тем самым подарить своему народу вечный мир; разумеется, это было гораздо более мудрое решение, чем попустительство вечной войне.

Он послал за Флинном и попросил его выступить в этом деле посредником.

Флинн начал ходить от лагеря к лагерю, спорить, уговаривать. Наконец решение было сфор-

мулировано. Заминка была только в протоколе.

Наглый Жулик приступил к переговорам. Согласно Закону, передать песни должен был он лично. Вопрос был в том, как это осуществить. Ходить он не мог. От того, чтобы его перенесли на руках, он отказался. Предложение сесть на лошадь он поднял на смех. В конце концов Флинну удалось найти подходящее решение: он временно позаимствовал тачку наколесах у повара-малайца, работавшего в огороде.

Процессия тронулась с места между двумя и тремя часами паляще-знойного синего дня ж во время сиесты, когда какаду молчат, а испанцы храпят в своих кроватях. Возглавлял шествие Наглый Жулик на тачке, в которую впрягся его старший сын. На коленях у старейшины, завернутая в газету, лежала чуринга, которую он сейчас намеревался передать вражескому племени. Остальные шли за ним гуськом.

Потом, за часовней, из кустов вышли двое мужчин — из Племен А и Б — и проводили процессию к месту «сбора».

Флинн шел в хвосте, чуть позади. Глаза у него были полуприкрыты, он производил впечатление человека в трансе. Он прошел совсем близко от отца Теренса, но, похоже, не узнал его.

«Я видел, что он сейчас „не здесь“, — рассказывал мне отец Теренс. — И я понимал, что нам грозит беда. Но все это было очень трогательно. Впервые в жизни мне выпало лицезреть картину мира на земле».

В предзакатную пору одна из сестер милосердия, забредя в заросли, чтобы скоротать путь, услышала гудение голосов и мерное *так-так* бумерангов, которыми стучали, как трещотками. Она побежала докладывать обо всем отцу Вильяверде.

Он помчался туда, чтобы разогнать сборище. Из-за дерева вышел Флинн и преградил ему дорогу.

Потом люди говорили, что Флинн всего лишь схватил нападавшего за запястья и удерживал его на месте. Однако это не помешало отцу Вильяверде строчить письмо за письмом к вышестоящим чинам ордена, заявляя о неспровоцированном нападении и требуя исторгнуть из лона Церкви этого приспешника сатаны.

Отец Субирос советовал ему не накликать приезд начальства. Влиятельные группы, стоявшие на защите аборигенов, и так уже призывали правительство распустить эти миссии. Флинн же не принимал участия в языческом обряде — он

просто выступал миротворцем. А что если слухи об этом просочатся в прессу? Что если выяснится, что два престарелых испанца давно разжигали межплеменную рознь?

Отец Вильяверде неохотно сдался. И в октябре 1976 года, за два месяца до периода дождей, Флинн покинул Бунгари и отправился в Роу-Ривер, чтобы вступить в должность. Его предшественник отказался от встречи с ним и, взяв годичный отпуск, улетел в Европу. Начались дожди — и воцарилась тишина.

Во время Великого поста в Бунгари пришла радиограмма от католического епископа из Кимберли с просьбой подтвердить или опровергнуть слухи о том, что Флинн «сделался туземцем», — на что отец Вильяверде ответил: «Да он всегда был туземцем!»

В первый же день, когда установилась летная погода, епископ полетел вместе с бенедиктинцами на своей «Сессне» в Роу-Ривер, и там они стали свидетелями нанесенного ущерба, «как два политика-консерватора, осматривающие место, где взорвалась бомба террориста».

Часовня находилась в полном беспорядке. Служебные постройки разобрали на дрова и спалили. Загоны для скотины пустовали, всюду валялись

обугленные коровьи кости. Отец Вильяверде изрек: «Нашей работе в Австралии пришел конец».

Флинн тогда перестарался. Он переоценил быстроту, с которой реально распространялось движение за земельные права. Он положился на заверения некоторых деятелей из левого крыла, убежденных в том, что миссии, разбросанные по всей стране, будут переданы в руки чернокожих. Он отказался идти на компромисс. Отец Вильяверде побил его своим козырем.

Эта история затронула Церковь в ее самом слабом месте — в финансовом. Не все знали, что и Бунгари, и Роу-Ривер финансировались из средств, изначально собранных в Испании. Мадридский банк владел этими землями в качестве побочных активов. Чтобы предотвратить любые попытки конфискации, он втихаря продал обе миссии какому-то американскому дельцу, и они оказались поглощены фондами некоей международной корпорации.

Пресса начала кампанию за возврат миссий. В ответ американцы пригрозили закрыть неприбыльную плавильню к северу от Перта — тогда работы лишилось бы около 500 человек. Тут вмешались профсоюзы. Кампания утихла. Аборигенов распустили, а Дэн Флинн — так он теперь

себя называл — поселился в Бруме с одной девушкой.

Ее звали Голди. Среди ее предков были малайцы, койпангеры, японцы, шотландцы и аборигены. Ее отец был ловцом жемчуга, сама она была дантисткой. Перед тем как вселиться к ней в квартиру, Флинн на безукоризненной латыни написал письмо святейшему папе, прося его освободить от принесенных обетов.

Потом пара переехала в Алис-Спрингс. Оба принимали участие в аборигенской политике.

12

Бывший бенедиктинец был окружен полудюжиной людей в самом темном углу сада. Лунный свет заливал его надбровные дуги, само же лицо и бороду скрывала тьма. Его подруга сидела у его ног. Время от времени она выгибала свою длинную красивую шею, склоняя голову ему на бедро, а он щекотал ее пальцем.

Да, молва о том, что характер у него был не сахар, была справедливой. Когда Аркадий сел на корточки возле его стула и объяснил, кто я и чего хочу, до меня донеслось бормотанье Флинна:

— Боже, еще один!

Мне пришлось ждать не меньше пяти минут, прежде чем он соблаговолил повернуть голову в мою сторону. Потом он спросил иронично-любезным тоном:

— Могу я вам чем-нибудь помочь?

— Да, — ответил я, нервничая. — Меня интересуют Тропы Песен.

— Правда?

Он вел себя так обескураживающе, что, казалось, любое твое слово обречено прозвучать как

глупость. Я решил заинтересовать его разными теориями происхождения и эволюции языка.

— Некоторые языковеды считают, — сказал я, — что первым языком человека была песня.

Он поглядел в сторону и погладил бороду.

Тогда я переменил курс и начал рассказывать о том, как цыгане общаются через огромные расстояния, напевая друг другу по телефону тайные стихи.

— Правда?

Прежде чем пройти инициацию, продолжал я, мальчик-цыган должен выучить наизусть все песни своего клана, имена всех своих родичей, а также запомнить сотни и сотни телефонных номеров по всему миру.

— Цыгане, наверное, ловчее всех в мире умеют набирать телефонные номера.

— Я никак не могу понять, — заметил Флинн, — какое отношение к нам имеют цыгане.

— Дело в том, что цыгане, — объяснил я, — тоже считают себя охотниками. Мир — это их охотничьи угодья. Оседлые жители — «сидячая дичь». В языке цыган слово «оседлый» буквально означает «мясо».

Флинн обратил ко мне лицо.

— А знаете, как наш народ называет белого

человека? — спросил он.

— «Мясо», — предположил я.

— А знаете, как у нас называют благотворительный чек?

— Тоже «мясо».

— Принеси-ка сюда стул. Я хочу с тобой поговорить.

Я отыскал стул, на котором сидел до этого, и уселся рядом с Флинном.

— Извини, что я был немножко резок, — сказал он. — Ты бы видел психов, с которыми мне приходится иметь дело. Что будешь пить?

— Пиво, — ответил я.

Еще четыре пива, — сказал Флинн мальчишке в оранжевой рубашке.

Мальчишка поспешил за пивом.

Флинн наклонился и что-то прошептал на ухо Голди. Она улыбнулась, и он заговорил.

Белые люди, начал он, делают типичную ошибку, полагая, что, раз аборигены — скитальцы, у них не может быть никакой системы землевладения. Это сущий бред. Конечно, аборигены не мыслят свою территорию как сплошной кусок земли, обнесенный заборами; для них это скорее неразрывная сеть, или совокупность цепочек, «троп» или «сквозных путей».

— Все наши слова, означающие «страну», сказал Флинн, — одновременно означают «тропа».

Этому есть одно простое объяснение. Большая часть равнинной Австралии представляет собой засушливую местность, покрытую чахлым кустарником, или пустыню, где дожди выпадают лишь изредка, а за одним тучным годом могут последовать семь тощих лет. В таком климате оставаться на одном месте — самоубийство; чтобы выжить, нужно двигаться. «Собственная земля» человека определялась так: «место, где я не должен просить». И все же, чтобы чувствовать себя «дома» в такой местности, нужно точно знать, как из нее уйти. Все надеялись по крайней мере на четыре «выхода» и «пути», которыми можно безопасно воспользоваться в пору беды. Каждому племени — хотело оно того или нет — приходилось налаживать отношения с соседями.

— Например, если у А были фрукты, — объяснял Флинн, у Б — утки, а у В — разработки охры, то существовали четко определенные правила относительно обмена этими товарами, а также четко определенные торговые пути.

То, что белые люди называли «Обходом», на деле являлось чем-то вроде телеграфа и фондовой биржи, позволявшего обмениваться сообщени-

ями людям в буше, которые никогда не видели друг друга, которые, быть может, и не подозревали о существовании друг друга.

— Такая торговля, — продолжал Флинн, — не являлась торговлей в том смысле, в каком понимаете его вы, европейцы. Это не купля-продажа ради выгоды! Наша торговля всегда была симметричным обменом.

У аборигенов было представление о том, что всякое имущество, «добро», может таить в себе некое зло и способно причинить вред своему владельцу, поэтому оно должно постоянно пребывать в движении. «Добро», служившее товаром, не обязательно было съедобным или полезным. Больше всего людям нравилось обмениваться бесполезными вещами — или такими вещами, которыми может легко разжиться каждый: перьями, священными предметами, поясами из человеческих волос.

— Знаю, — прервал его я. — Известны случаи, когда люди обменивались своими пуповинами.

— Я смотрю, вы кое-что читали. Обмен товарами, — продолжил он, — следует рассматривать скорее как некую гигантскую партию вроде шахматной, в которой доской служит весь континент, а игроками выступают все жители. «Товары»

являются знаками людских намерений — снова торговать, снова встречаться, устанавливать границы, вступать в родство через брак, петь, танцевать, делиться ресурсами, делиться идеями.

Какая-нибудь раковина могла переходить из рук в руки, путешествовать от Тиморского моря до Большого Австралийского залива, вдоль «дорог», известных с незапамятных времен. Эти «дороги» непременно проходили мимо источников пресной воды. А источники, в свою очередь, служили обрядовыми центрами, где могли собираться люди из разных племен.

— И устраивать корробори, как вы это называете?

— Это *вы* называете их «корробори», а не мы, — возразил он.

— Верно, — кивнул я. — Так вы хотите сказать, что торговые пути всегда шли вдоль песенных троп?

— Торговый путь *и есть* песенная тропа, — сказал Флинн. — Потому что главным средством обмена являются не вещи, а именно песни. Обмен «вещами» — побочное следствие обмена песнями.

До прихода белых людей, продолжал он, ни один человек в Австралии не был безземельным,

поскольку каждый наследовал в качестве собственности отрывок Песни Предка, а вместе с ним — ту полоску земли, по которой проходила эта Песня. Строчки, которыми владел человек, являлись его «документом», подтверждавшим право собственности на территорию. Он мог одалживать эти строчки другим. Мог и сам занимать чужие стихи. Единственное, чего он не мог, — это продать Песню или избавиться от нее.

Предположим, старейшины из клана Ромбического Питона решили, что пришла пора спеть весь песенный цикл, от начала до конца. Рассылаются гонцы в обе стороны маршрута, созываются все песневладельцы, собираются в Большом Месте. Там каждый «собственник» пропевал свой кусочек Песни, соответствовавший определенному участку странствия Предка. Причем все соблюдали правильную очередность!

— Спеть Песню не в том порядке, — хмуро говорил Флинн, — преступление. Обычно оно карается смертью.

— Понимаю, — сказал я. — Ведь это было бы что-то вроде музыкального аналога землетрясения.

— Хуже, — сердито возразил он. — Это означало бы поломать ход Творения.

Там, где устраивалось Большое Место, продол-

жал он, чаще всего проходили и пересекались маршруты нескольких Сновидений. Поэтому, явившись на свой корробори, ты мог встретить людей из четырех разных тотемных кланов, из самых разных племен, все эти люди принимались обмениваться песнями, танцами, сыновьями и дочерьми, предоставлять друг другу «путевые права».

— Когда побудешь здесь подольше, — обратился ко мне Флинн, — услышишь выражение «обретение ритуального знания».

Это означало лишь то, что человек продолжал свою песенную карту. Он расширял свои возможности, изучая мир посредством песни.

— Представь себе двух аборигенов, — продолжал он, — которые встречаются впервые где-нибудь в пабе в Алис. Один копнет одно Сновидение. Другой — другое. А потом непременно что-нибудь прояснится…

— И это, — вмешался Аркадий, — положит начало красивой забулдыжной дружбе.

Все рассмеялись над этим, кроме Флинна, который продолжал рассказывать.

Следующее, что нужно понять, говорил он, — это то, что каждый песенный цикл перепрыгивает языковые барьеры, не признавая племенных

границ. Сновидение может начинать свой маршрут где-нибудь на северо-западе, под Брумом, затем миновать на своем пути двадцать или больше языков, а заканчиваться где-нибудь у моря под Аделаидой.

— И все равно это будет та же самая песня? — уточнил я.

— У нас в народе, — сказал Флинн, — говорят, что узнают песню по «вкусу» или по «запаху»... Конечно, при этом имеется в виду «мотив». Мотив всегда остается одинаковым, от первых тактов до финальных.

— Слова могут меняться, — снова вмешался Аркадий, — но мелодия остается неизменной.

— Значит ли это, — спросил я, — что юноша, отправляющийся в Обход, может с помощью песни пройти всю Австралию, если он хорошо знает нужный мотив?

— Теоретически — да, — согласился Флинн.

Известен случай, когда один арнемлендец прошагал через весь континент в поисках жены — это было примерно в 1900 году. Он женился на южном побережье и провел свою жену назад, домой, вместе с новообретенным шурином. Там шурин женился на девушке-арнемлендке и увел ее с собой на юг.

— Бедные женщины, — сказал я.

— Практическое применение табу на инцест, — пояснил Аркадий. — Если тебе нужна свежая кровь, ты должен ее поискать.

— Но на практике, — продолжал Флинн, — старейшины посоветовали бы юноше не уходить дальше, чем на две «остановки» на тропе.

— А что это за «остановки»? — спросил я.

«Остановка», пояснил он, это «точка передачи», где песня переходит от тебя к следующему песневладельцу, где она перестает быть твоим предметом опеки и где ты уже лишаешься права одалживать ее кому-нибудь. Ты допел до конца своих строк — и там пролегает граница.

— Понимаю, — сказал я. — Это что-то вроде государственной границы. Дорожные знаки меняют язык, но дорога — все та же.

— Более или менее верно, — согласился Флинн. — Но такое сравнение не передает красоты нашей системы. Здесь же нет границ: есть только дороги и «остановки».

Возьмем, к примеру, такую племенную территорию, как Центральная Аранда. Допустим, что к ней ведут и из нее выходят шестьсот разных Сновидений. В таком случае вокруг нее, по периметру, будет разбросано тысяча двести «точек

передачи». Каждая такая «остановка» некогда была обозначена Предком из Времени Сновидений, а значит, ее местоположение на песенной карте неизменяемо. Но, поскольку все они были сотворены разными Предками, то не существует никакого способа соединить их между собой боговыми линиями, чтобы получилась современная политическая граница.

В аборигенской семье, говорил он, может насчитываться пять родных братьев, каждый из которых принадлежит к своему тотемному клану, и у каждого имеются свои узы верности в пределах и за пределами племени. Разумеется, у аборигенов случаются стычки, вендетты и кровные распри, но они всегда имеют целью возмещение какого-то ущерба или святотатства. Мысль просто так вторгнуться в землю соседа никогда не могла бы прийти им в голову.

— Словом, все это сводится к чему-то вроде птичьей песни, — подытожил я неуверенно. — Птицы ведь тоже обозначают пределы своих территорий с помощью песен.

Аркадий, который слушал, уперев лоб в коленные чашечки, поднял голову и бросил на меня взгляд.

— Я все ждал, когда ты додумаешься до такого

сравнения.

Затем Флинн завершил разговор, коротко обозначив тему, которая давно сбивала с толку многих антропологов, — а именно, затронув вопрос двойного отцовства.

Первые путешественники по Австралии отмечали в своих записках, что аборигены не проводят связи между сексом и зачатием: вот доказательство — если оно требуется — их безнадежно «примитивного» мышления.

Разумеется, это чушь. Абориген прекрасно знает, кто его отец. И все-таки существует нечто вроде параллельного отцовства, которое привязывает его душу к определенному месту, к некоей точке ландшафта.

Считалось, что каждый Предок, когда пел и странствовал по земле, оставлял за собой россыпь «клеточек жизни», или «духов-деток» возле своих следов.

— Что-то вроде музыкальной спермы, — пояснил Аркадий, и снова все рассмеялись: на этот раз — даже Флинн.

Предполагалось, что песня распластана по земле в виде непрерывной цепочки куплетов: по куплету на каждую пару следов Предка, и каждый куплет создан из имен, которые он «рассеял»

на ходу.

— Имя налево и имя направо?

— Да, — ответил Флинн.

Тут нужно было представить себе *уже* беременную женщину, которая бродит себе, занимаясь привычным собирательством. И вдруг, как только она наступает на куплет, в нее вспрыгивает «дух-дитя» — проникает в нее через ноготь на ноге, во влагалище, или через открытую мозоль на ноге, пробирается к ней в матку и оплодотворяет зародыш песней.

— Первый толчок ребенка в животе матери, — сказал Флинн, — и отвечает этому моменту «духозачатия».

Будущая мать запоминает место, где это произошло, и мчится за старейшинами. Затем они изучают местность и устанавливают, какой Предок здесь проходил, и какие именно строки станут личной собственностью ребенка. Они отводят ему «место зачатия», которое совпадает с ближайшим природным ориентиром на песенной тропе. Они клеймят для него чурингу в хранилище чуринг…

Голос Флинна потонул в гуле самолета, пролетевшего совсем низко у нас над головами.

— Американец, — хмуро сказала Мэриан. —

Они прилетают только по ночам.

Американцы построили станцию для сопровождения космических объектов в Пайн-Гэпе, на Макдоннелле. Подлетая к Алис, можно увидеть там огромный белый шар и целую кучу других сооружений. Похоже, никто в Австралии, даже премьер-министр, не знает, что там на самом деле творится. Никто не знает, какие цели у них в Пайн-Гэпе.

— Боже, как это все меня пугает. — Мэриан вздрогнула. — Лучше бы они убрались.

Пилот привел в действие аэродинамические тормоза, и самолет начал медленно снижаться над взлетно-посадочной полосой.

— Уберутся, — сказал Флинн. — Когда-нибудь им придется убраться.

Хозяин дома и его жена уже убрали со столов остатки еды и ушли спать. Я увидел, как с другого конца сада к нам идет Киддер.

— Ну, мне пора, — сообщил он всем нам. — Пора домой, составлять план полета.

Завтра утром он собирался лететь к Айерс-Року — по каким-то делам, касавшимся земельных исков.

— Передавай ему привет от меня, — саркастично сказал Флинн.

— До встречи, приятель. — Это Киддер обратился ко мне.

— До встречи, — отозвался я.

Его блестящий черный «лендкрузер» стоял на подъездной дорожке. Он включил фары, осветив всех людей, остававшихся в саду. Громко завел мотор и задом выехал на улицу.

— Большой Белый Вождь уехал! — прокомментировал Флинн.

— Придурок! — сказала Мэриан.

— Ты несправедлива, — возразил Аркадий. — В глубине души он неплохой парень.

— Я никогда так глубоко не забиралась.

Флинн тем временем наклонился над своей подругой и целовал ее, закрыв ей лицо и шею черными крыльями бороды.

Пора было уходить. Я поблагодарил Флинна. Он пожал мне руку. Я передал ему привет от отца Теренса.

— Как он поживает?

— Хорошо, — ответил я.

— По-прежнему в той лачужке?

— Да. Но говорит, что скоро оттуда уедет.

— Отец Теренс, — проговорил Флинн, — хороший человек.

13

Я уже почти уснул в своем номере мотеля, как вдруг раздался стук в дверь.

— Брю?

— Да.

— Это Брю.

— Я догадался.

— О!

Этот другой Брюс сидел рядом со мной в автобусе из Катерин. Он ехал из Дарвина, где он только что разошелся с женой. Он хотел устроиться где-нибудь дорожным рабочим. Он страшно тосковал по жене. У него было толстое брюхо, и он не блистал особым умом.

В Теннант-Крике он сказал мне: «Мы с тобой могли бы стать приятелями, Брю. Я бы тебя бульдозер водить научил». В другой раз, с еще большей теплотой, он сказал: «Ты пом не из нытиков, Брю». И вот теперь, глубоко за полночь, он стоял за моей дверью и звал меня:

— Брю?

— Что?

— Хочешь пойти куда-нибудь и нажраться?

— Нет.

— О!

— Может, найдем себе красоток, — не унимался он.

— Да неужели? — спросил я. — В такой-то час?

— Ты прав, Брю.

— Ступай спать, — сказал я.

— Ладно, спокойной ночи, Брю.

— Спокойной ночи!

— Брю?

— Ну, что тебе еще?

— Ничего, — ответил он и зашаркал по коридору, волоча резиновые шлепанцы по полу: шлеп… шлеп…

На улице, за моим окном, горел натриевый свет, а с тротуара доносилось чье-то пьяное бормотание. Я повернулся к стене и попытался уснуть, но у меня из головы не шел Флинн и его девушка.

Мне вспомнилось, как мы сидели с отцом Теренсом на его голой скамье и как он сказал: «Надеюсь, у нее мягкий характер».

Флинн, пояснил он, — человек, подверженный буйным страстям. «Если у нее мягкий нрав, с ним все будет хорошо. Суровая женщина способна втянуть его в беду».

«В какую именно беду?» — спросил тогда я.

«В революцию или еще во что-нибудь подобное. Флинну довелось на себе испытать самое нехристианское отношение, и уже одно это могло бы произвести в нем переворот. Но этого не должно произойти, если у его подруги мягкий характер…»

Отец Теренс обрел свою Фиваиду на берегах Тиморского моря.

Он жил в отшельнической лачуге, грубо сработанной из побеленного волнистого листа, среди зарослей пандана на мучнисто-белой песчаной дюне. Стены он обмотал кабелем, чтобы циклон не разметал хлипкую хижину. Над крышей был водружен крест: перекладинами служили два обломка весла, крепко связанные между собой. Здесь он прожил семь лет — с тех пор как закрыли Бунгари.

Я подходил со стороны суши. Я издалека заметил его лачугу, белевшую на дюне между деревьями, прямо под солнцем. Ниже, в загоне, пасся вол-брама. Я прошел мимо алтаря из коралловых пластинок и распятья, подвешенного к ветке.

Дюна взметнулась выше верхушек деревьев. Взбираясь по откосу, я оглянулся назад, в сторону суши, и увидел ровную лесистую равнину. Со

стороны моря дюны были кочковатые, в крапинках водорослей, а вдоль северной линии бухты тонкой лентой тянулись мангровые заросли.

Отец Теренс печатал на машинке. Я позвал его по имени. Он вышел в шортах, потом снова исчез в хижине, снова появился уже в грязной белой сутане. Он удивился, что за упорство заставило меня проделать такой долгий путь по жаре.

— Что ж! — сказал он. — Идите-ка сядьте в тень, а я сейчас вскипячу котелок воды для чая.

Мы сели на скамью, стоявшую позади хибары, в тени. На земле лежали черные резиновые ласты и маска с трубкой. Отец Теренс наломал сухих сучьев, развел костер, и под таганком заплясали языки пламени.

Он был коротышкой с рыжеватыми волосами (вернее, остатками волос), и во рту у него было не так уж много потрескавшихся побурелых зубов. Он обнажил их в неуверенной улыбке. Скоро ему предстоит ехать в Брум, сказал он, чтобы пройти курс терапии от рака кожи.

Он рассказал мне, что в детстве жил при ирландском посольстве в Берлине, где его отец, патриот, втайне разрабатывал способы уничтожить Британскую империю. Темперамент этого человека и подтолкнул его сына к молитвенной

жизни. В Австралию он приехал в 1960-е годы, чтобы присоединиться к цистерцианцам, недавно водворившимся в Виктории.

В это время суток он каждый день печатал: в основном письма друзьям, разбросанным по всему миру. Он давно вел переписку с одним дзен-буддийским монахом из Японии. После этого он читал, затем зажигал лампу и снова читал до глубокой ночи. В ту пору он читал «Элементарные формы религиозной жизни» Дюркгейма — книгу прислал ему один друг из Англии.

— Чистое безумие, — посетовал он. — Это же надо — элементарные формы! Разве у религии могут быть элементарные формы? Кто он был — марксист, что ли?

Он и сам писал книгу. Она должна была стать «учебником бедности». Название он еще не придумал.

Сегодня, сказал он, больше, чем когда-либо раньше, людям необходимо учиться жить без вещей. Вещи вселяют в людей страх: чем больше у них вещей, тем больше им приходится бояться. Вещи имеют свойство приклепываться к душе человека, а потом диктовать ей, как нужно поступать.

Он налил нам чая в две красные эмалирован-

ные кружки.

Чай был темным и обжигающим. Мы помолчали минуту или две, а потом он внезапно нарушил молчание:

— Ну не удивительно ли — жить в нашем удивительном двадцатом веке? Впервые в истории можно не иметь абсолютно ничего.

По правде сказать, у него имелось кое-что из личных вещей в этой халупе, но он собирался в скором времени оставить все это. Он собирался уезжать. Он слишком привязался к своей крошечной хижине, и это причиняло ему боль.

— Есть время для тишины, — сказал он, — и время для шума. Немного шума мне сейчас не повредило бы.

В течение семи лет его духовными проводниками были отцы-пустынники: затеряться в пустыне значило отыскать путь к Богу. Но теперь его куда меньше заботило собственное спасение, чем нужды других людей. Сейчас он собирался отправиться в Сидней, чтобы работать во благо отверженных.

— Я тоже испытываю к пустыне похожие чувства, — признался ему я. — Родина человека — пустыня в Африке. Возвращаясь в пустыню, он заново открывает самого себя.

Отец Теренс зацокал языком и вздохнул:

— Ну надо же, надо же! Вы, я вижу, эволюционист.

Когда я рассказал ему о своем посещении отцов Субироса и Вильяверде, он снова вздохнул и с сильным ирландским акцентом проговорил: «Ох уж эти двое! Поистине, два сапога — пара!» Я расспросил его про Флинна. Он задумался, а потом дал мне взвешенный ответ.

— Флинн, несомненно, человек гениальный, — сказал он. — У него, что называется, девственный разум. Он способен усвоить абсолютно все. Он прекрасно постиг богословие, но мне кажется, он никогда не был верующим. Он никогда не мог совершить скачка в веру. Для этого ему недоставало воображения — и это в каком-то смысле делало его опасным. Он успел нахвататься довольно опасных идей.

— Каких именно?

— Синкретизм, — коротко ответил отец Теренс. — Посещение Рима было ошибкой.

Именно в Риме Флинн возненавидел покровительственное отношение к нему белых священников, старших по званию, и с негодованием понял, как они глумятся над верованиями его народа. К тому времени, как он попал в Бунгари,

он уже имел обо всем собственное мнение.

Церковь, говорил он отцу Теренсу, совершенно неверно рисует себе аборигенов людьми, погрязшими в каком-то жутком лимбе: напротив, их состояние весьма близко к тому, в коем пребывал Адам до грехопадения. Он любил сравнивать понятие «Следы Предка» с изречением Господа Нашего «Я есмь Путь».

— Что мне было делать? — спрашивал меня отец Теренс. — Прикусить язык? Или высказать ему все, что я думаю? Нет. Мне приходилось говорить ему, что, на мой взгляд, внутренний мир аборигенов очень запутанный, очень бессердечный и жестокий. Чем еще можно уменьшить их страдания, как не христианским посланием? Как еще приостановить смертоубийства? Название одного их места в Кимберли означает «Убивай их всех!», и «Убивай их всех!» — один из тех священных центров, из-за которых теперь поднимают столько шума! Нет! Нет! Нет! У этих бедных темнокожих детей есть только две альтернативы: слово Христово — или полиция!

Чернокожие люди ни в чем не виноваты. Просто в течение тысячелетий они оставались отрезанными от остального человечества. Что они знали о Великом Пробуждении, которое

пронеслось по Старому Свету задолго до явления Христа? Что они знали о Дао? Или о Будде? Об учениях Упанишад? Или о логосе Гераклита? Ничего! Да и откуда им было знать? Но вот что они могли сделать, пускай с опозданием, — это совершить скачок в веру. Они могли пойти по стопам Трех волхвов и поклониться беззащитному младенцу Вифлеемскому.

— И вот тут-то, — сказал отец Теренс, — кажется, он перестал меня слушать. Он никогда не мог понять историю про ясли.

Стало уже прохладнее, и мы переместились ко входу в хибару. Над морем строем воздушных айсбергов протянулась линия грозового фронта. Молочно-синие валы глухо ударялись о берег, а над бухтой, почти касаясь крыльями волн, носились крачки, прорезывая шум прибоя высокими, будто металлическими криками. Ветра не было.

Отец Теренс заговорил о компьютерах, о генной инженерии. Я спросил, не скучает ли он иногда по Ирландии.

— Никогда! — Он простер руки к горизонту. — Здесь мне ее не потерять.

Над дверью его лачуги была прибита доска, принесенная океаном, на которой он вырезал «кельтскими» буквами две строки:

Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда;

А Сын Человеческий не имеет где приклонить голову.

Господь, сказал он, провел сорок дней и сорок ночей в пустыне, не строя себе ни дома, ни кельи, но находя себе приют под стенкой колодезя.

— Пойдемте, — поманил он меня. — Я вам кое-что покажу.

Он повел меня по горкам из розоватых морских раковин — навалам племени, некогда жившего здесь. Ярдов через двести он остановился возле сливочного цвета скалы: из-под нее журчала прозрачная вода. Он поднял сутану и принялся плескаться и брызгаться, как мальчишка.

— Ну не чудо ли — вода среди пустыни! — крикнул он мне.

Я нарек это место именем Мерива. [5].

Когда мы возвращались к его хижине, из зарослей пандана высунул голову валлаби и скакнул навстречу отшельнику.

— Мой брат валлаби, — улыбнулся тот.

Он зашел в хижину за корочкой хлеба. Валлаби

---

[5] Примечания: 5

так Господь назвал источник, иссеченный жезлом Моисея из скалы в пустыне — *Прим. перев.*

взял угощение с его ладони, потерся головой о его бедро. Отец Теренс погладил его за ушами.

Я сказал, что мне пора. Он предложил проводить меня и вдоль берега.

Я снял башмаки, связал шнурками между собой и повесил себе на шею, и между пальцами моих босых ног стал набиваться теплый песок. Крабы удирали от нас в сторону, а стаи цапель поднимались вверх, перелетали вперед и снова приземлялись.

По чему он будет скучать, сказал отец Теренс, так это по плаванию. В тихую погоду он мог плавать вдоль рифа с маской целыми часами. Однажды его приметила лодка таможни — и приняла за всплывший труп. «А я-то был в чем мать родила».

Рыба здесь такая ручная, говорил он, что можно подплыть к ней по мелководью совсем близко и даже потрогать. Он знал все их цвета и названия: скаты, губаны, ковровые акулы, бабочка-баронесса, рыба-хирург, скорпена, химера, морской ангел. У каждой рыбины был свой «характер», свои повадки: они напоминали ему лица в дублинской толпе.

Дальше в море, где заканчивался коралловый риф, глубоко в воду уходил темный утес, где одна-

жды из тьмы выплыла тигровая акула и начала кружить вокруг него. Он увидел вблизи ее глаза, челюсти и пять жаберных щелей, но чудовище отвернулось и пропало. Он выплыл на сушу и, растянувшись на песке, затрясся от запоздалого ужаса. На следующее утро, словно некий груз упал с его плеч, он понял, что больше не боится смерти. Он снова проплыл возле того же участка рифа, и снова акула покружила рядом с ним и пропала.

«Не бойся!» — он крепко сжал мою руку.

Грозовой фронт подходил все ближе. Теплый ветер начал подгонять волны.

«Не бойся!» — снова крикнул он мне издалека.

Я обернулся помахать ему и увидел две нечеткие фигуры: человек в развевающейся белой рясе и валлаби с хвостом в форме вопросительного знака.

«Не бойся!» Должно быть, он повторил эти слова в моем сне, потому что утром, когда я проснулся, это были первые слова, какие мне вспомнились.

14

Когда я спустился к завтраку, небо было серым и пасмурным. Солнце было похоже на белый волдырь, а в воздухе чувствовался запах гари. Утренние газеты наперебой рассказывали о пожарах в буше к северу от Аделаиды. Только тогда я догадался, что эти тучи — не тучи, а клубы дыма. Я позвонил друзьям, которые, насколько я догадывался, находились в это время или в зоне пожаров, или где-то поблизости.

— Нет, с нами все в порядке! — Послышался в трубке веселый потрескивающий голос Нин. — Ветер переменился как раз вовремя. Ну, ночка у нас все равно выдалась — волосы дыбом.

Они своими глазами видели охваченную огнем полоску горизонта. Пожар двигался со скоростью 75 км в час, их и огонь разделял сплошной государственный лес. Верхушки эвкалиптов превращались в шаровые молнии, которые разметывал в стороны штормовой ветер.

— Волосы дыбом, — согласился я.

— Это же Австралия, отозвалась моя приятельница, и тут телефонная линия заглохла.

На улице было так душно и влажно, что я снова вернулся в комнату, включил кондиционер и провел остаток дня, читая «Песни Центральной Австралии» Штрелова.

Это была трудночитаемая, бессвязная и невероятно длинная книга, а Штрелов, по общим отзывам, и сам был трудным в общении малым. Его отец, Карл Штрелов, был пастором, ответственным за лютеранскую миссию в Германсбурге, к западу от Алис-Спрингс. Он был одним из той горстки «добрых немцев», которые, создав зону безопасности, сделали больше, чем кто-либо другой, для спасения аборигенов Центральной Австралии от уничтожения людьми британской расы. Это не прибавило им популярности. Во время Первой мировой войны пресса развернула кампанию против этого «гнезда тевтонских шпионов» и против «губительных последствий германизации туземцев».

В младенчестве у Теда Штрелова была кормилица-аранда, и ребенком он бегло говорил на языке аранда. Позже, уже закончив университет, он вернулся к «своему народу» и на протяжении тридцати лет терпеливо заносил в записные книжки — записывал на магнитофонную ленту, снимал на кинопленку песни и религиозные об-

ряды. Его темнокожие друзья просили его сделать это, чтобы их песни не умерли вместе с ними.

Учитывая биографию Штрелова, можно не удивляться тому, что он сделался мишенью для всеобщих нападок: самоучка, стремившийся одновременно к одиночеству и признанию, немецкий «идеалист», шагавший совсем не в ногу с идеалами Австралии.

«Традиции аранда», его более ранняя книга, на много лет опередила свое время: в ней он выдвинул тезис о том, что интеллект «примитивных» народов нисколько не уступает интеллекту современного человека. Это заявление, оставшееся в целом незамеченным читателями-англосаксами, было зато подхвачено Клодом Леви-Строссом, который воспользовался многими догадками Штрелова, когда писал свое «Первобытное мышление».

Затем, уже в преклонном возрасте, Штрелов сделал ставку на одну возвышенную идею.

Он вознамерился доказать, что каждый аспект аборигенской песни имеет свое соответствие в древнееврейской, древнегреческой, древнескандинавской или древнеанглийской словесности, то есть в тех литературах, которые мы, европейцы, почитаем своим наследием. Уяснив

взаимосвязь песни и земли, он захотел добраться до корней самой песни: найти в песне ключ, который помог бы раскрыть тайну человеческого существования. Это было непосильное предприятие. За все свои труды он не получил признательности ни от кого.

В 1971 году, когда вышли в свет «Песни», в придирчивом обзоре на страницах «Таймс литтерари сапплмент» высказывалось замечание, что автору следовало бы воздержаться от обнародования своей «возвышенной поэтической теории». Эта рецензия страшно огорчила Штрелова. Но еще более огорчительными были нападки «активистов», обвинивших его в том, что он якобы украл с целью опубликования песни у невинных, ни о чем не подозревавших старейшин.

Штрелов умер за своим письменным столом в 1978 году, будучи уже сломленным человеком. Его память почтили снисходительной биографией, которую я пролистал в книжном магазине «Пустыня»; она показалась мне совершенно безобразной. Я убежден, что Штрелов был крайне самобытным мыслителем, а его обреченные на одиночество книги — действительно великими.

Около пяти часов я зашел в контору к Аркадию.

— У меня есть для тебя хорошие новости, — сообщил он.

Пришла радиограмма из Каллена — аборигенского поселения километрах в пятистах отсюда, на границе Западной Австралии. Аркадия позвали туда в качестве примирителя.

— Хочешь поехать? — спросил он.

— Конечно.

— Мы можем разделаться с железнодорожными делами за пару дней. А потом отправимся прямо на запад.

Он уже договорился о том, чтобы мне разрешили посетить резервацию для аборигенов. Вечером у него намечалась встреча с кем-то, назначенная уже давно. Поэтому я позвонил Мэриан и спросил, как насчет того, чтобы поужинать.

— Не могу! — ответила она, запыхавшись.

Она уже запирала дверь, когда раздался телефонный звонок. Она сию минуту уезжала в Теннант-Крик, чтобы подобрать женщин для опроса.

— Ну, тогда до завтра, — сказал я.

— До завтра.

Я поужинал в «Полковнике Сандерсе» на Тодд-стрит. Под ослепительными неоновыми лампами мужчина в новехоньком синем костюме пропо-

ведовал перед подростками, видимо, будущими курожарами, с таким видом, словно приготовление цыплят покентуккски — важное религиозное таинство.

Я вернулся к себе в номер и провел вечер наедине со Штреловым и бутылкой бургундского.

Штрелов однажды сравнил изучение аборигенских мифов с проникновением в «лабиринт с бесконечными коридорами и переходами», которые таинственно и непостижимо связаны между собой. Когда я читал его «Песни», мне представлялся человек, который пробрался в этот потаенный мир с черного хода; и ему открылась умственная картина куда более дивная и замысловатая, чем все остальное, виденное им на свете. Рядом с этой картиной все материальные достижения Человека казались просто хламом — и вместе с тем она никак не поддавалась описанию.

Что делает аборигенские песни столь трудными для понимания — так это бесконечное нагромождение подробностей. И все-таки даже не очень въедливый читатель способен заметить в них проблеск нравственного мира — сродни нравственности Нового Завета, — в котором узы родства распространяются на всех живых людей,

на всех его собратьев-животных, охватывают реки, скалы и деревья.

Я продолжал читать. От штреловских транслитераций текстов аранда у кого угодно глаза бы начали косить. Когда я не мог больше прочесть ни строчки, я захлопнул книгу. Веки у меня сделались будто наждачные. Я прикончил бутылку вина и спустился в бар, чтобы выпить бренди.

Возле бассейна сидел какой-то толстяк с женой.

— Добрейшего вам вечера, сэр! — приветствовал он меня.

— Добрый вечер, — поздоровался я.

Я заказал в баре чашечку кофе и двойной бренди, а вторую порцию бренди унес к себе в номер. Начитавшись Штрелова, я сам захотел что-нибудь написать. Я еще не был пьян, нет, но уже сто лет не чувствовал себя таким пьяным. Я вытащил желтый блокнот и засел писать.

В САМОМ НАЧАЛЕ

В Самом Начале Земля была бескрайней и унылой равниной, разлученной с небом и с серым соленым морем и окутанной сумрачным покровом. Не было ни Солнца, ни Луны, ни Звезд. Но где-то очень далеко

обитали небожители — юные равнодушные существа с человеческим обличьем, но с ногами эму. Их золотые волосы сверкали в закатном свете, как паутина. Они не имели возраста и не старились — они извечно существовали в своем зеленом, пышно цветущем Раю за Западными Облаками.

На поверхности Земли виднелись лишь ямы, которым некогда предстояло стать источниками вод. Не было ни животных, ни растений, и только вокруг родников таились мясистые островки материи: комки первосупа — беззвучные, безвидные, бездыханные, беспробудные и бессонные. И каждый такой комок скрывал в себе сущность жизни, или возможность стать человеческим существом.

Между тем под корой Земли мерцали созвездия, светило Солнце, Луна прибывала и убывала, и лежали в дреме все формы живых созданий — алость клиантуса, радужная переливчатость бабочкина крыла, подрагивающие белые усы Старика-Кенгуру: все это ожидало своего часа, как сухим семенам в пустыне

приходится дожидаться блуждающего ливня.

В утро Первого Дня Солнце ощутило потребность родиться. (Тем же вечером должен был наступить черед Звезд и Луны.) Солнце вырвалось на поверхность, залив сушу золотым светом и согрев все ямы, под каждой из которых спало по Предку.

В отличие от Небожителей, эти Предки никогда не были молодыми. Это были хромые, усталые старики с узловатыми конечностями, и в одиночестве они проспали долгие столетья.

И случилось так, что в то Первое Утро каждый заспанный Предок ощутил тепло Солнца, пригревавшего ему веки, и почувствовал, как его тело дает жизнь детям. Человек-Змея почувствовал, что из его пупка выползают змеи. Человек-Какаду почувствовал перья. Человека — Личинку Древесной Моли одолело желание извиваться, Медового Муравья — щекотка, а Жимолость ощутила, как у нее распускаются листья и цветы. Человек-Бандикут почувствовал, что у него из

подмышек лезут детки-бандикуты. И все эти «души живые», каждая зародившаяся самостоятельно, в своем месте, потянулись к дневному свету.

На дне своих ям (теперь они уже наполнялись водой) Предки поднимали сначала одну ногу, потом другую. Они расправляли плечи, разгибали руки, протискивали свои тела через грязь наверх. Их веки разомкнулись — и они увидели, как играют на солнышке их дети.

Грязь отвалилась от их бедер, как плацента — от новорожденного. И подобно тому, как раздается первый крик новорожденного, каждый Предок раскрыл рот и воскликнул: «Я есмь!» «Я — Змея… Какаду… Медовый Муравей… Жимолость…». И это первое «Я есмь», это первородное действо наречения имен, сделалось и отныне навеки стало считаться самой сокровенной и священной строкой песни Предка.

Каждый из Старейшин (теперь все они нежились на солнышке) выставил вперед левую ногу и выкликнул второе имя. Выставил вперед правую ногу и выкликнул

третье имя. Он давал имена источникам, зарослям тростника, эвкалиптам — давал имена направо и налево, называл все вещи, вызывая их к бытию, и вплетал их имена в стихи.

Старейшины обошли с песнями весь мир. Они воспевали реки и горные цепи, соляные озера и песчаные дюны. Они охотились, ели, совокуплялись, танцевали, убивали, и, где бы им ни случилось пройти, везде они рассыпали за собой музыкальные следы.

Они опутали весь мир песенной паутиной. И вот, наконец, когда вся Земля оказалась воспета, они ощутили усталость. Вновь их конечности застыли, их сковало многовековое оцепенение. Некоторые провалились под землю там, где остановились. Другие уползли в пещеры. Кто-то пробрался назад в Вечные Дома — в те первородные ямы, которые и породили их.

Все они ушли «восвояси».

15

На следующее утро тучи рассеялись, а поскольку завтрак в мотеле подавали не раньше восьми, я решил устроить пробежку до ущелья. Воздух уже накалялся. В утреннем освещении горы выглядели бурыми и складчатыми.

По пути я прошел мимо вчерашнего толстяка, который пузом кверху плавал в бассейне. На животе у него виднелся шрам, очертаниями напоминавший отпечаток рыбьего скелета.

— Доброе утро, сэр!

— Доброе утро, — ответил я.

На другой стороне улицы на муниципальном газоне расположилось табором несколько аборигенских семей. Они освежались водой из распылителя для газонов, сидя на таком расстоянии от него, чтобы брызги долетали до них, но не тушили им сигарет. Вокруг слонялись сопливые дети, вымокшие с головы до ног.

Я поздоровался с бородатым мужчиной, который ответил: «Здорово, приятель». Я кивнул его женщине, которая в ответ сказала: «Ступай соси яйца!», прикрыла глаза и засмеялась.

Я прошел мимо бестолковых молодых тел, качавших мускулы в «Развлекательно-оздоровительном центре», потом свернул направо, пошел вдоль реки и остановился прочесть табличку, вывешенную около эвкалиптов-призраков:

Зарегистрированный Священный участок
Сновидения Инджалка (Гусеницы)
Проезд воспрещен
За нарушение штраф $2000.

Там и глядеть-то было не на что — во всяком случае, белому человеку: порванная изгородь из колючей проволоки, беспорядочно лежащие ломкие камни, куча битых бутылок на жесткой траве.

Я пробежался еще немного, добежал до ущелья, но для бега стало уже слишком жарко, и я пошел обратно шагом. Толстяк все еще плавал в бассейне, а рядом с ним плавала и его жена. Волосы у нее были в бигуди, поверх них была натянута розовая морщинистая шапочка.

Я принял душ и уложил вещи. Я брал с собой стопку своих старых записных книжек. Там были записи для моей «кочевнической» книги: ее рукопись я сжег, а вот блокноты сохранил. Некоторые записи я не просматривал уже лет десять. Там была мешанина из почти неразборчивых кон-

спектов, «мыслей», цитат, кратких бесед, путевых заметок, черновиков рассказов… Я взял их с собой в Австралию, потому что надеялся спрятаться где-нибудь в пустыне, подальше от библиотек, от чужих трудов, и свежим взглядом просмотреть все, что там записано.

Когда я вышел из номера, меня остановил светловолосый лохматый юноша в заплатанных линялых джинсах. Лицо у него было красное, он, похоже, очень волновался. Он спросил, не видел ли я паренька-аборигена:

— Такого паренька с растаманской прической?

— Нет, — ответил я.

— Если увидишь, скажи ему: Грэм ждет около фургона.

— Ладно, — сказал я и пошел завтракать.

Я допивал уже вторую чашку отвратительного кофе, когда в столовую вошел тот второй Брюс. Он плюхнул свою каску на мой столик. Я сообщил ему, что уезжаю из города.

— Ну, значит, мы больше не увидимся, Брю, — сказал он угрюмо.

— Может быть, и нет, Брю, — сказал я.

— Ладно, прощай, Брю!

— Прощай! — Я пожал ему руку, и он отправился за своей овсянкой.

Аркадий приехал в девять часов на коричневом «лендкрузере-тойота». На багажной полке лежали четыре запасных колеса и целая батарея канистр. На Аркадии была свежевыстиранная рубашка цвета хаки со следами оторванных капральских нашивок. Он благоухал мылом.

— У тебя щегольской вид, — заметил я.

— Это ненадолго, — ответил он. — Уверяю тебя, это ненадолго;

Я бросил свою сумку на заднее сиденье. Зад машины был заставлен ящиками с прохладительными напитками и «эски». «Эски» — сокращенно от «эскимоса» — представляло собой полистироловый контейнер со льдом, без которого путешествие по пустыне немыслимо.

Мы проехали уже пол-Тодд-стрит, как вдруг Аркадий притормозил, нырнул в книжный магазин «Пустыня» и вскоре вышел, держа в руках пингвиновское издание «Метаморфоз» Овидия.

— Это тебе подарок, — сказал он. — Будет что читать в дороге.

Мы выехали на окраину города, мимо пабов «Bed Shed» и «Territory Wrecking», и остановились возле лавки мясника-ливанца, чтобы купить мяса. Когда мы вошли, сын мясника поднял голову, а потом продолжил точить нож. В течение

следующих десяти минут мы до отказа забивали наши «эски» кусками мяса и сосисками.

— Гостинец для моих стариков, — сказал Аркадий.

— Да это же чертова прорва!

— Погоди, — ответил он. — Вот увидишь: они целую корову могут на ужин слопать.

Купили мы мяса и для одного старого «буши» по имени Хэнлон, который жил бобылем за гленармондским пабом.

Мы поехали дальше, мимо поворота на телеграфную станцию в Олд-Алис, и наконец оказались среди голой, поросшей низким кустарником равнины Бёрт-Плейн.

Дорога представляла собой прямую ленту асфальта, а по обе стороны от нее тянулись полоски рыжей грязи, в которой росли дыни-падди. Дыни эти были размером с крикетные мячи. В Австралию их привезли афганцы — на корм своим верблюдам. Иногда Аркадию приходилось сворачивать в дынные посадки, чтобы уступить дорогу автомобильному поезду, мчавшемуся на юг. У этих поездов было по три трейлера. Они не снижали скорости, а выскакивали прямо из знойно-миражной дали и нахально лихачили прямо посреди шоссе.

Каждые несколько километров мы проезжали мимо ворот скотоводческой станции или мимо насоса с ветряным двигателем, вокруг которого паслась скотина. Нам попадалось много дохлых животных, валявшихся копытами вверх: вздутые от газа трупы клевало воронье. Дожди запоздали на два месяца.

— Маргинальные земли, — пояснил Аркадий.

Почти все лучшие арендаторские участки были скуплены иностранцами — Вестиз, Банкер-Хант и тому подобные. Неудивительно, что жители Северной Территории чувствовали себя обведенными вокруг пальца!

— Страна против них, — продолжал Аркадий: — Политики против них. Многонациональные компании против них. Аборигены и те против них. Пожалуй, только для аборигенов эта земля и хороша?

Он рассказал, как однажды, когда они следовали вдоль песенной тропы неподалеку от Маунт-Уэджа, хозяин выехал им навстречу и, потрясая дробовиком, проорал: «Убери их с моей земли! Убери этих черномазых с моей земли!» Тогда Аркадий, который уже написал пять писем этому человеку, не получив ни одного ответа, изложил ему постановления Закона о земель-

ном праве, согласно которому «традиционным землевладельцам» позволялось посещать свои исконные священные места.

Скотовода это взбесило.

— На моей земле нет никаких священных мест!

— Еще как есть, — возразил один из присутствовавших при этом аборигенов.

— Нет их здесь!

— Да ты сейчас прямо на нем стоишь, приятель.

Дорога делала поворот, огибая русло реки, и на ее дальнем берегу, ближе к востоку, Аркадий показал мне причудливую цепочку светло-коричневых холмов. Они казались картонными декорациями, сооруженными над плоской равниной.

— Видишь вон тот маленький холм? — спросил он.

— Да.

Там виднелся конический холм поменьше, соединенный с остальными низким скальным уступом.

— Там, — сказал он, — железнодорожники хотели прорыть тоннель. Он позволил бы сократить путь по крайней мере на 3 км.

Эти холмы лежали у северного края земли аранда; однако, когда Аркадий разослал сообщения по привычным каналам связи, никто так не заявил о своих правах на этот участок. Он уже был готов заключить, что «владельцев» нет, и тут вдруг к нему в контору заявляется большая толпа аранда… и сообщает, что владельцы — они. Он отвез пятерых из тех людей к холмам, и там они встали с безучастным и жалким видом, выпучив глаза от страха. Он снова и снова спрашивал их: «Что здесь за песни?», или: «Какое здесь проходило Сновидение?» Но они только плотнее сжимали губы и ни слова не говорили.

— Я никак не мог понять, что с ними, — рассказывал Аркадий. — Тогда я объяснил им про тоннель, и это вызвало настоящий переполох. Они все наперебой залопотали: «Черный умрет! Белый умрет! Все люди умрут! Конец Австралии! Конец света! Гибель!»

— Да, ясно было, что тут кроется что-то серьезное, — продолжал Аркадий. — Тогда я обратился к старейшине, который трясся с головы до ног: «Ну что же у вас тут такое?» И он приставил ковшиком руку к моему уху и прошептал: «СИЛА ЛИЧИНОК!»

Песня, которая проходила вдоль линии этих

холмов, рассказывала о Предке из Времени Сновидений, которому не удалось совершить правильный обряд, который поддерживал бы цикл размножения мух в буше. Полчища личинок наводнили равнину Бёрт-Плейн, лишив ее растительности — и она остается голой по сей день. Предок согнал личинок в одно место и снова затолкал их обратно, придавив горным уступом, и с тех пор они продолжили плодиться и плодиться там, под землей. Старик сказал, что, если прорезать в том месте склон, то произойдет гигантский взрыв. Целое облако мух взовьется вверх, накроет всю землю и убьет всех людей и животных ядом.

— Бомба? — догадался я.

— Бомба, — угрюмо кивнул Аркадий. Кое-кто из моих друзей очень многое узнал о Бомбе. *После* того, как ее взорвали.

Перед испытанием британской водородной бомбы в Маралинге [6] армия выставила остерегающие знаки с надписью на английском языке: «Прохода нет!», предназначавшиеся для аборигенов. Не все увидели эти знаки, не все умели читать по-английски.

---

[6] Примечания: 6
11 октября 1956 г. — *Прим перев.*

— Они прошли через него, — сказал Аркадий.

— Через Облако?

— Да, через Облако.

— Сколько же людей погибло?

— Никто не знает, — ответил он. — Все это замяли. Попробуй расспросить Джима Хэнлона.

16

Спустя примерно час мы проехали мимо глен-армондского паба, свернули влево с асфальтированного шоссе, затряслись по грунтовой дороге, а через некоторое время остановились около бывшей скотобазы.

Поблизости, за тамарисками, служившими чем-то вроде заграждения, стояло старое некрашеное жестяное бунгало: серые стены кое-где рыжели ржавчиной, из середины торчала кирпичная труба. Это и был дом Хэнлона.

Во дворе перед входом была выставлена куча пустых бочек для нефтепродуктов и еще куча армейского хлама. Дальше, под скрипучим ветряным насосом, стоял издохший «шевроле», сквозь который росла серебряная трава. К входной двери был приклеен выцветший плакат с призывом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Дверь со скрипом приоткрылась сантиметров на пятнадцать. За ней стоял Хэнлон.

— В чем дело, а? — трескучим голосом проговорил он. — Никогда голого мужика не видели, что ли? Ну, входите, парни!

Для человека, которому перевалило за семьдесят, Хэнлон выглядел очень даже неплохо. Он был костляв, с подтянутыми мышцами. Короткая плоская голова росла на журавлиной шее. Он то и дело поглаживал свои седые волосы, остриженные ежиком. У него был перебитый нос, очки в стальной оправе и громкий гнусавый голос.

Мы сели, он остался стоять. Он серьезным взглядом уставился на свои гениталии, почесал в паху и похвастался нам, что недавно переспал с аптекаршей в Теннант-Крике.

— Неплохо для семидесяти трех лет! — он снова оглядел себя. — Причиндалы в рабочем состоянии! Полон рот зубов! Что еще нужно старику?

— Ничего, — сказал Аркадий.

— Верно, самодовольно ухмыльнулся Хэнлон.

Он обмотал себе пузо полотенцем и достал три бутылки пива. Я заметил, что правая рука у него сухая.

Внутри домика было жарко, как в печке. Зной беспрепятственно проникал через крышу, и скоро рубашки на нас взмокли от пота. Наружная комната представляла собой Г-образный коридор, в конце которого стояла старая эмалированная ванна. Была еще кухня и стол со стульями.

Он показал нам газетные вырезки, пришпи-

ленные к стенам: забастовка в Калгурли, череп Ленина, усы дядюшки Джо, красотки из «Плейбоя». Он поселился здесь тридцать лет назад с женщиной, которая потом ушла от него. Он продал свою землю и жил теперь на пособие.

Стол был застелен красной клеенкой. Полосатая кошка облизывала тарелку.

— Брысь, дрянь такая! — Хэнлон занес кулак, и кошки след простыл. — Какими судьбами, ребята?

— Едем в земли кайтиш, — ответил Аркадий. — С людьми Алана Накумурры.

— Землемерный отчет, да?

— Да.

— Священные места, да?

— Да.

— Священная чушь собачья! Организация — вот что нужно этим ребятам!

Он подбросил вверх пробки от пивных бутылок, потом высморкался в руку и тщательно размазал сопли по низу своего стула. Заметил, что я смотрю на него. Тоже стал смотреть на меня.

Он ударился в воспоминания о Калгурли, о том, как он был официальным членом партии перед Второй мировой войной.

— У него спроси! — он ткнул в Аркадия. —

Спроси у этого парня, и он тебе расскажет мою биографию!

Он прошлепал в дальнюю комнату, где стояла кровать, и, порывшись среди старых газет, откопал книгу в тускло-красном клеенчатом переплете. Он снова сел рядом с нами, поправил очки и прислонился спиной к спинке стула.

— А теперь, — возгласил он, делая вид, что раскрывает книгу наобум, — теперь почитаем Евангелие от Отца Нашего Маркса. Уж простите старику богохульства! На сегодня, что за день сегодня, черт побери? Четверг… Так я и думал! Число не имеет значения… Страница 256… Ну, и что же тут написано?

В чем же тогда состоит отчуждение труда? Во-первых, в том, что труд является внешним по отношению к работник, т. е. не принадлежит его жизни: своим трудом он не утверждает, а отрицает самого себя; чувствует себя не довольным, а несчастным; не развивает свои физические и умственные способности, а, напротив, разрушает свое тело и губит свой ум…

— Нет ничего лучше, чем несколько строчек из Маркса перед едой! — улыбнулся Хэнлон. — Подстегивает интеллект и улучшает пищеварение! Вы ели, ребята?

— Ели, — ответил Аркадий.

— Ну, тогда еще раз поедите вместе со мной.

— Нет, Джим, правда. Мы не можем.

— Еще как можете.

— Мы опоздаем.

— Опоздаете? А что такое «поздно» и что такое «рано»? Важный философский вопрос!

— Мы опоздаем на встречу с девушкой по имени Мэриан.

— Вот это уже не философский вопрос! — сказал он. А кто, черт возьми, эта Мэриан?

— Моя давняя приятельница, — ответил Аркадий. — Работает в Земельном совете. Она поехала за женщинами кайтиш. Мы договорились встретиться в Миддл-Боре.

— Мэриан! Девица Мэриан! — Хэнлон зачмокал губами.

Спускается в Миддл-Бор со свитой прекрасных дам. Знаешь что — они могут и подождать. Ступай-ка, неси мясо, парнишка!

— Только если быстро, Джим, — смягчился Аркадий. — У нас есть час, но не больше.

— *Дай мне… дай мне… лишь час… лишь час… с тобою…*

У Хэнлона сохранились остатки приличного баритона. Он взглянул на меня.

— Да не смотри на меня так! — огрызнулся Хэнлон. — Я в на стоящих хорах пел.

Аркадий пошел вынимать мясо из машины.

— Значит, ты писатель, да? — спросил меня Хэнлон.

— В некотором роде.

— Ты хоть один день в своей жизни честно вкалывал, а? — Его голубые глаза слезились. Глазные яблоки были опутаны сплошной красной сеткой.

— Стараюсь, — ответил я.

Он выбросил вперед свою сухую руку. Она казалась багровой и восковой одновременно. Мизинец отсутствовал. Он поднес эту руку к моему лицу, будто клешню.

— Знаешь, что это такое? — спросил он.

— Рука.

— Рука труженика!

— Мне приходилось работать в поле, — сказал я. — И рубить лес.

— Лес? Где же это?

— В Шотландии.

— Какой лес?

— Ель… Лиственницу…

— Очень убедительно! А какой пилой?

— Электрической.

— Какой марки, болван?

— Уже не помню.

— Совсем неубедительно, — заключил он. — Что-то я тебе не верю.

Аркадий протиснулся через дверь, он нес куски мяса. Белым полиэтиленовый пакет был закапан кровью. Хэнлон взял пакет открыл и понюхал.

— Ага! Вот так-то! — усмехнулся он. — Наконец-то настоящее красненькое мясцо!

Он встал, зажег газовую конфорку, вылил на сковороду немного масла из старой банки из-под краски и положил жариться три куска.

— Эй, ты! — обратился он ко мне. — Подойди сюда, потолкуй с поваром.

Жир уже зашкворчал, и он начал ворочать мясо лопаткой, чтобы не пригорало.

— Значит, книжку пишешь?

— Пытаюсь, — ответил я.

— А почему бы тебе не писать твою книжку прямо здесь? Мы бы с тобой вели поучительные беседы, а?

— Почему бы нет, — неуверенно произнес я.

— Арк! — крикнул Хэнлон. — Последи-ка минутку за мясом, а, малыш? Я покажу этому книжнику квартиру. Эй! Пойдем-ка со мной!

Он сбросил полотенце на пол, натянул шорты и всунул ноги и шлепанцы. Я вышел вслед за ним

на солнечный свет. Ветер усилился, теперь он взметал вдоль дороги рыжие клубы пыли. Мы прошли сквозь заросли тамарисков и подошли к скрипучему эвкалипту, под которым стоял караван.

Он открыл дверь. Внутри пахло какой-то дохлятиной. Окна были опутаны паутиной. На постели лежало скомканное рваное и грязное белье. Кто-то пролил томатный соус на стол, и вокруг пятна роились муравьи.

— Уютное гнездышко! — защебетал Хэнлон. — Умеренная плата! А дерево можно смазать, если тебе скрип будет мешать.

— Очень мило, — сказал я.

— Но все-таки недостаточно мило, да?

— Я этого не говорил.

— Зато подумал! — прошипел он. — Конечно, здесь можно все обеззаразить. Можно и тебя заодно обеззаразить!

Он с шумом захлопнул дверь и поплелся обратно в свой дом.

Я некоторое время послонялся по двору, а когда снова вошел в дом, бифштекс был готов. Хэнлон вдобавок пожарил шесть яиц и уже собирался подавать все это на стол.

— Обслужи сначала Его Светлость! — сказал

он Аркадию.

Он отрезал три ломтя хлеба и поставил на стол бутылку с соусом. Я ждал, когда он сядет. Стояла невыносимая жара. Я поглядел на кусок мяса и на яичные желтки.

Хэнлон, казалось, целую минуту буравил меня взглядом, а потом сказал:

— А ну-ка запускай свои паршивые клыки в этот бифштекс!

Мы ели молча.

Хэнлон придерживал свой бифштекс сухой рукой, а здоровой рукой нарезал его на кубики. У его ножа было зазубренное лезвие и пара загнутых зубцов на кончике.

— Да что он о себе воображает? — обратился он к Аркадию. — Кто просил его совать сюда свой сопливый аристократский нос?

— Ты и просил, — сказал Аркадий.

— Я? Ну, тогда я совершил ошибку.

— Никакой я не аристократ, — сказал я.

— Но все равно слишком аристократичен для моего маленького ленча! «Ленч»! Так это называют у вас в Померанглии! Ленч у королевы! А? Что?

— Джим, прекрати, — сказал Аркадий. Ему было явно не по себе.

— Ну, я же лично его не хотел обидеть, — сказал Хэнлон.

— Уже что-то, — заметил я.

— Да уж, — согласился он.

— Расскажи ему про Маралингу, — попросил Аркадий, чтобы сменить тему разговора. — Расскажи ему об Облаке.

Хэнлон поднял здоровую руку и щелкнул пальцами, как кастаньетами.

— Облако! Да-да, сэр! Облако! Облако ее Величества. Облако сэра Энтони-вознесшегося-в-Рай! Бедный сэр Энтони! Он так мечтал о своем облаке! Чтобы потом говорить русскому в Женеве: «Гляди, старина, у нас тоже есть Облако!» Забыв, разумеется, о том, что существуют такие вещи, как климатическая переменчивость…! *Даже* в Австралии! Забыв о том, что ветер может подуть не в том направлении! И вот он вызывает Боба Мензиса [7] и говорит ему: «Боб, мне нужно мое Облако прямо сейчас! Сегодня!» «Но ветер…» возражает ему сэр Боб. «Да что ты мне про ветер, — упирается сэр Энтони. — Я же сказал — сейча!» И вот они запускают это устройство — как мне нравится слово «устройство»! — и Облако, вместо того,

---

[7] Примечания: 7

премьер-министр Австралии в 1949–1966 г. — *Прим. перев.*

чтобы улететь в море и отравить рыб, прилетело вглубь суши и отравило нас! А там они его потеряли! Потеряли эту хрень над Квинслендом! И все-таки сэр Энтони потолковал-таки потом с товарищем Никитой, мило так поболтал с ним об Облаке: «Да, товарищ, это правда. И у нас тоже есть, есть-таки Облако. Правда, мои люди там ненадолго потеряли его из виду! Ну, распылили притом горсточку аборигешек…»

— Хватит, — твердо сказал Аркадий.

Хэнлон понурил голову.

— А, черт! — сказал он, потом воткнул вилку в очередной кусочек мяса и отправил его в рот.

Все молчали до тех пор, пока Хэнлон не рыгнул и не сказал:

— Прошу прощения!

Он отпихнул от себя тарелку.

— Не могу доесть эту хрень, — сказал он.

Его лицо приобрело гипсовый оттенок. Рука затряслась.

— Тебе нехорошо? — спросил Аркадий.

— У меня загиб кишки, Арк.

— Тебе нужно ко врачу.

— Был я у врача. Меня хотят резать, Арк.

— Сочувствую, — сказал я.

— Я не дам себя резать. Верно, а?

— Нет, — сказал Аркадий. — Пожалуй, тебе лучше согласиться.

— Ну, может, я и соглашусь, — жалобно всхлипнул Хэнлон.

Прошло еще пять минут. Аркадий поднялся и бережно обнял старика за плечи.

— Джим, — сказал он с нежностью, — прости, но, боюсь, нам уже пора. Тебя никуда не надо подвезти?

— Нет, — ответил тот. — Я здесь остаюсь.

Мы уже двинулись к выходу.

— Останьтесь еще ненадолго, — попросил Хэнлон.

— Нет, нам правда пора ехать.

— Жаль, ребята, лучше бы вы еще остались. Мы бы хорошо время провели.

— Мы еще приедем, — сказал я.

— Приедете? — Хэнлон оживился. — Когда?

— Через пару дней, — сказал Аркадий. — Когда с делами управимся. А потом мы поедем в Каллен.

— Извини, что я на тебя так налетел, — сказал мне Хэнлон. У него дрожала губа. — Вечно на помов налетаю!

— Ничего страшного, — сказал я.

Снаружи зной только усилился, а ветер почти стих. В загоне перед домом парил орел с кли-

новидным хвостом, слегка касаясь колышков ограды. Увидев нас, эта красивая, блестящая птица с бронзовыми перьями улетела прочь.

Я сделал попытку пожать Хэнлону руку. Он не отнимал ее от живота. Мы сели в «лендкрузер».

Вы могли бы сказать мне спасибо за бифштексы, крикнул он нам вдогонку.

Он пытался вернуться к своему прежнему колкому тону, но видно было, что он напуган. По щекам у него текли слезы. Он отвернулся. Ему было невыносимо видеть, как мы отъезжаем.

17

На воротах лагеря Скалл-Крик висела табличка, грозившая штрафом в $2000 каждому, кто пронесет спиртное на территорию аборигенского поселения. Поверх этой надписи кто-то накорябал белым мелом: «Чушь собачья!» Мы заехали сюда, чтобы забрать старейшину кайтиш по имени Тимми. Он приходился родственником по материнской линии Алану Накумурре и знал все Сновидения вокруг станции Миддл-Бор.

Я снял цепь с ворот, и мы подъехали к беспорядочному скоплению блестящих жестяных крыш, проглядывавших сквозь выбеленную траву. На окраине поселения ребятня скакала на батуте, а неподалеку стояла большая коричневая металлическая коробка без окон — по словам Аркадия, местная лечебница.

— Потом ее кто-то назвал «Машиной смерти», — сказал он. — Теперь к ней никто и близко не подходит.

Мы припарковали машину под двумя эвкалиптами-призраками, рядом с маленьким беленым домиком. В ветвях щебетали певчие птицы. Две

полногрудые женщины — одна в просторном зеленом платье — лежали на крыльце и спали.

— Мэвис, — позвал Аркадий.

Ни одно из толстых храпящих созданий не шевельнулось.

За деревьями, выстроившись вокруг рыжего земляного пустыря, стояло около двадцати хибар: это были полуцилиндры из волнистого листа, открытые с одной стороны, как загоны для свиней. Там, в тени, лежали или сидели на корточках люди.

Ветер швырял туда-сюда обрывки картона и пластмассы, вся территория сверкала осколками стекла. Там и сям скакали блестящие черные вороны, моргали желтыми глазами и клевали старые консервные банки из-под тушенки; потом их прогнали собаки.

Один малыш, узнав Аркадия, закричал: «Арк! Арк!» — и уже через несколько секунд нас со всех сторон обступила толпа голых ребятишек, оравших: «Арк! Арк! Арк!» Их светлые волосы смотрелись как стерня на черноземном поле. Уголки глаз у них были облеплены мухами.

Аркадий взял двоих мальчишек на руки. Третий запрыгнул ему на спину, а остальные цеплялись за ноги. Он трепал их по головам,

пожимал протянутые руки. Потом, распахнув багажник «лендкрузера», он принялся раздавать детворе напитки и леденцы.

Одна из толстух приподнялась, села, отбросила с лица спутанные космы, зевнула, протерла глаза и сказала:

— Это ты, Арк?

— Привет, Мэвис! — ответил он. — Как дела сегодня?

— В порядке, — она снова зевнула и встряхнулась.

— А где Тимми?

— Спит.

— Я хочу взять его в буш.

— Сегодня?

— Сейчас, Мэвис. Сейчас!

Мэвис с усилием встала и, неуклюже переваливаясь, отправилась на поиски мужа. Но Тимми сам услышал шумиху на улице и уже стоял на пороге лачуги.

Это был бледный, костлявый, немного смахивавший на черта старик с бородой как дым. Один глаз у него был затянут трахомой. На голове у него была коричневая фетровая шляпа, надетая набекрень, а вокруг шеи повязан красный платок. Он был таким тощим, что штаны постоянно

сваливались и ему приходилось то и дело подтягивать их. Он помахал пальцем Аркадию и испустил сдавленный смешок.

Аркадий-поставил детей на землю и достал из машины фотоальбом со снимками, сделанными в прошлой экспедиции. Потом уселся на ступеньках рядом с Тимми, и Тимми принялся листать альбом с неистовой сосредоточенностью ребенка, с головой погрузившегося в сказку.

Я сидел позади них и глядел по сторонам. Приставучая белая сука, больная маститом, настырно совала морду мне в промежность.

Аркадий обнял старика и спросил:

— Ну, так ты едешь с нами сегодня?

— Гостинец есть? — спросил Тимми.

— Гостинец есть.

— Хорошо.

Мэвис плюхнулась рядом с нами. Она снова опустила космы себе на лицо, так что теперь виднелась только выпяченная растрескавшаяся нижняя губа.

Аркадий перегнулся к ней и спросил:

— А ты тоже едешь, Мэвис? С нами будут Топси и Глэдис из Кертис-Спрингз.

— Не-а! — недовольно пробурчала она. — Я теперь никуда не езжу. Тут сижу все время.

— Без выходных и праздников?

Она фыркнула.

— Ну, иногда мы ездим в Теннант-Крик. У меня родня там. Моя мать оттуда. Там еще большая скважина возле речки. Знаешь это место?

— Пожалуй, — неуверенно сказал Аркадий.

— Земля людей Билли-Боя, — сказала Мэвис, поднявшись с видом изможденного достоинства, будто утверждая свое право на существование. — Прямо рядом со станцией Мак-Клуэн.

— Так ты не поедешь с нами в Миддл-Бор?

— Не могу, — фыркнула она.

— А что тебе мешает?

— У меня нет шлепанцев, — она выставила босую ногу, предлагая Аркадию осмотреть ее мозолистую, в трещинах, подошву. — Никуда не могу пойти без шлепанцев. Нужно найти шлепанцы.

— Возьмите мои! — предложил ей я. — У меня есть запасная пара.

Я пошел к машине и достал свою единственную и последнюю пару зеленых резиновых шлепанцев. Мэвис выхватила их у меня так, словно это я украл их у нее. Она надела их, тряхнула головой и потопала за котелком и одеялом для Тимми.

— Благодетель сэр Уолтер! — проговорил Арка-

дий и усмехнулся.

Тимми тем временем посасывал из картонной пачки яблочный сок. Он отставил пачку, поправил на себе шляпу, потом снова присосался к соку и наконец задумчиво спросил:

— А как насчет Большого Тома?

— А он здесь?

Конечно здесь.

— А он захочет поехать?

— Конечно захочет.

Мы подошли к хибаре с навесом и подпорками, где росли дыни-пади. Под ним спал Большой Том. Рубашки на нем не было. Его мерно дышавшее пузо покрывали завитушки волос. Собака залаяла, и он проснулся.

— Том, — обратился к нему Аркадий, — мы сейчас едем в Миддл-Бор. Хочешь поехать с нами?

— Конечно поеду, — улыбнулся тот.

Он выполз из своего убежища, нацепил коричневую рубашку, шляпу и объявил, что готов ехать. Его жена Руби, высокая худая женщина со смущенной улыбкой, покрыла голову зеленым крапчатым платком и тоже объявила, что готова отправиться в путь.

Я еще никогда не видел, чтобы двое женатых людей так быстро собирались в дорогу.

Теперь нас стало шестеро, и внутри «лендкрузера» воцарился сложный и странный запах.

По пути к воротам мы проехали мимо долговязого юноши со светлыми волосами, заплетенными в крысиные косички, и рыжеватой бородой. Он лежал, вытянувшись во весь свой рост, на красно-бурой земле. На нем была оранжевая футболка, линялые красные джинсы, а на шее — раджнишевские четки. Вокруг него на корточках сидели четыре или пять чернокожих женщин. Похоже, они массировали ему ноги.

Аркадий нажал на гудок и помахал ему рукой. Тот почти кивнул в ответ.

— Это еще кто? — спросил я.

— Это Крейг, — ответил он. — Он женат на одной из этих женщин.

18

Возле отеля «Бёрнт-Флэт», где мы остановились, чтобы залить бак бензина, патрульный полицейский снимал показания о человеке, найденном мертвым на дороге.

Жертва, сообщил он нам, — белый мужчина лет двадцати с лишним, отщепенец. Многие автомобилисты видели его последние три дня — он то слонялся вдоль шоссе, то куда-то пропадал.

— А теперь от него одно кровавое месиво осталось. Пришлось лопатой от асфальта отскребать. Дальнобойщик принял его за дохлого кенгуру.

«Несчастный случай» произошел в пять утра, но тело — вернее, то, что оставил от него автомобильный поезд, — к тому времени уже часов шесть как было холодным.

— Похоже, кто-то подбросил его на шоссе, — заключил полицейский.

Он был подчеркнуто вежлив и любезен. Адамово яблоко ходило вверх-вниз в вырезе его рубашки цвета хаки. Он просил нас войти в его положение: задать нам пару вопросов — его долг. Задави кто-нибудь черномазого в Алис-Спрингс

— и хоть бы кому дело. Но белого человека!..

— Так где вы были вчера в одиннадцать вечера, ребята?

— В Алис, — ответил Аркадий ровным голосом.

— Большое спасибо. — Чиновник коснулся краешка своей шляпы. — Нет необходимости вас дольше задерживать.

Все это он говорил, глядя внутрь машины и не сводя глаз с наших пассажиров. Пассажиры, в свой черед, делали вид, что его не существует, и неотрывно смотрели в окно на равнину.

Полицейский направился к своей машине с кондиционером. Аркадий нажал на звонок, чтобы его вышли обслужить. Позвонил второй раз. Потом третий. Никто так и не вышел.

— Похоже, нам придется немного подождать, — заметил Аркадий.

— Похоже на то, — согласился я.

Было три часа дня, и все постройки плавились от зноя. Отель был выкрашен в ирисочный цвет, а на волнистой крыше жирными, но уже осыпающимися буквами было написано: БЁРНТ-ФЛЭТ [8]. Под верандой размещался вольер с волнистыми

---

[8] Примечания: 8

название *Burnt Flat* можно перевести и как «Выжженная равнина» и как «Сгоревшя вартира» — *Прим. перев.*

попугайчиками и розеллами. Окна номеров были заложены досками, а вывешенная табличка гласила: «Заведение продается».

Хозяина звали Брюс.

— Прибыли резко упали, — пояснил Аркадий, — после того как он лишился права торговать спиртным.

Раньше Брюс зарабатывал золотые горы, но потом законы о торговле спиртным изменились: теперь торговцам запрещалось продавать аборигенам крепкие напитки.

Мы стали ждать.

Подъехала пожилая пара на караване, и, когда муж нажал на звонок обслуживания, дверь бара распахнулась, и вышел мужчина в шортах с тяжело дышащим бультерьером на поводке.

У Брюса ноги были чудовищного размера, рыжие волосы, отвислые ягодицы и овальный подбородок. На предплечьях у него красовались татуированные русалки. Он привязал собаку, которая затявкала на наших пассажиров. Он смерил взглядом Аркадия и пошел обслуживать пожилую пару.

После того как мужчина из каравана расплатился, Аркадий обратился к Брюсу очень вежливым тоном:

— Будьте любезны, канистру бензина.

Брюс отвязал собаку и вразвалку зашагал туда, откуда пришел.

— Свинья, — сказал Аркадий.

Мы снова стали ждать.

Полицейский наблюдал за происходящим из своей машины.

— Рано или поздно нас должны обслужить, — сказал Аркадий. — Этого требует закон.

Десять минут спустя дверь снова отворилась, и по ступенькам спустилась женщина в синей юбке. У нее была короткая стрижка и ранняя седина. Она только что готовила пирог: к ногтям пристало тесто.

— Не обращайте внимания на Брюса, — вздохнула она. — Он сегодня как бешеный.

— Только сегодня? — улыбнулся Аркадий. Женщина сгорбила плечи и глубоко вздохнула.

— Зайди внутрь, — сказал мне Аркадий, — если хочешь ознакомиться с местным колоритом.

А у нас есть время?

— Можем подождать, — сказал он. — Ради расширения твоего кругозора.

Женщина закусила губу и издала неловкий смешок.

— Может, купить им чего-нибудь выпить? —

вызвался я.

— Купи, — сказал Аркадий. — А мне пива.

Я просунул голову через окно и спросил наших спутников, что они будут пить. Мэвис заказала апельсиновый сок, но потом передумала и попросила апельсин с манго. Руби выбрала яблочный, Большой Том — грейпфрутовый сок, а Тимми — кока-колу.

— И «Фиолетовую Крошку», — прибавил он. «Фиолетовая Крошка» — это большая конфета в шоколадной глазури.

Аркадий расплатился с женщиной за бензин, и я последовал за ней в бар.

— Когда будешь выходить, — крикнул он мне вдогонку, — погляди направо от выключателя.

Внутри группка дорожных строителей играла в дартс, а работник станции, выряженный в западную одежду, скармливал монетки музыкальному автомату. На стенах красовалось множество полароидных снимков: изображались там голые толстяки и множество длинных воздушных шаров. Надпись гласила: «Кредит — как секс. Одним он достается. Другим — нет». На «средневековом» свитке изображался карикатурный силач, а «древнеанглийским» шрифтом было начертано:

Да, хоть я прохожу
Долиной Смертной Тени,
Я Зла не убоюсь,
Ибо я, Брюс, есмь
Подлейший сукин сын в Долине.

Рядом с бутылками «Саузерн-Камфорт» стояла старинная бутыль, доверху наполненная желтой жидкостью и снабженная ярлыком: «Настоящая С.-Т. Джиновая Бормотуха». Я стал ждать.

Я услышал, как Брюс сообщает кому-то из посетителей, что он купил себе местечко в Квинсленде, где «еще можно называть черномазого черномазым».

В бар вошел механик-телеграфист, с которого ручьями лился пот, и заказал два пива.

— Я слышал, у вас тут авария на дороге произошла, и виновник скрылся?

— Ага! — Брюс оскалил зубы. — Свежее мясо!

— Что-что?

— Я говорю, свежее съедобное мясо!

— Съедобное?

— Белый человек, — Брюс высунул язык и грубо расхохотался. Я с удовольствием отметил, что механик нахмурился и ничего не ответил.

Потом дверь снова открылась, зашел товарищ

механика и сел на барный табурет. Это был худощавый молодой абориген-полукровка с веселой, самоуничижительной усмешкой.

— Черным сюда нельзя! — Брюс повысил голос, чтобы перекричать игроков в дартс. — Ты меня слышал? Я сказал: «черным сюда нельзя!»

— Я не черный, — ответил полукровка. — У меня просто проблемная кожа.

Брюс рассмеялся. Дорожные рабочие тоже рассмеялись, а полукровка стиснул зубы и продолжал улыбаться. Я наблюдал за тем, как крепко сжимают его пальцы банку с пивом. Потом Брюс обратился ко мне тоном принужденной вежливости:

— Вы так далеко от дома. Что прикажете?

Я перечислил напитки.

— И «Фиолетовую Крошку», — вспомнил я.

— И «Фиолетовую Крошку» для английского джентльмена!

Я ничего на это не сказал и расплатился.

По дороге к выходу я поглядел направо от выключателя и увидел в обоях дырку, пробитую пулей. Вокруг отверстия красовалась позолоченная рамка с небольшой латунной бляшкой такие бляшки обычно прибивают под трофеями вроде оленьих рогов или засушенных рыб, — с

надписью: «Майк — 1982».

Я раздал аборигенам напитки, и они взяли их, даже не кивнув.

— Ну, и кто был этот Майк? — спросил я, когда мы снова тронулись.

— Майк и сейчас есть, — сказал Аркадий. — Раньше он был барменом у Брюса.

Был такой же, как сегодня, знойный летний день, и четверо парней-пинтупи, возвращаясь из миссии Балго, остановились здесь, чтобы купить бензина и выпивки. Они были очень уставшими и возбужденными, и старший парень, увидев бутылку с «Джиновой Бормотухой», сказал что-то оскорбительное. Майк отказался обслуживать их. Тогда тот парень схватил пивной стакан, прицелился в бутылку, но промахнулся. Майк взял 22– калиберную винтовку Брюса — Брюс всегда держал ее наготове под прилавком, — и стал стрелять поверх голов парней.

— Так, во всяком случае, — сказал Аркадий, — он утверждал на суде.

Первая пуля вышла из основания черепа задиристого парня. Вторая пробила стену справа от выключателя. Третья, для полноты картины, угодила в потолок.

— Естественно, — продолжал Аркадий тем же

бесстрастным тоном, — соседи пожелали внести вклад в судебные расходы бедняжки бармена. Они устроили гала-концерт и пригласили топлесс-шоу из Аделаиды.

— А Майк вышел сухим из воды?

— Самозащита.

— А как же свидетели?

— Со свидетелями-аборигенами, — сказал Аркадий, — не всегда легко найти общий язык. Например, они отказываются слышать, как покойника называют по имени.

— Они что — вообще отказываются давать показания?

— Они очень затрудняют судебное преследование.

19

На развилке с указателем на Миддл-Бор мы повернули направо и поехали на восток по пыльной дороге, которая тянулась параллельно скалистому эскарпу. Дорога вздымалась и опускалась, проходя сквозь чащу кустарников с серыми листьями, а светлоперые ястребы сидели на кольях ограждений. Аркадий старательно объезжал глубокие колеи и ямы.

Недалеко от дороги, справа, показалось обнажение породы — выветренная глыба песчаника с отдельно стоящими остроконечными «башнями» высотой метров в шесть с половиной. Я понял, что это — место Сновидения, и ткнул Большого Тома в ребра.

— Кто это тут? — спросил я.

— Маленький такой. — Он согнул указательный палец, изображая шевелящуюся личинку.

— Древесная моль?

Он энергично замотал головой и, жестом показав, что отправляет личинку себе в рот, сказал:

— Меньше.

— Гусеница?

— Да! — просиял он и, в свой черед, ткнул меня в ребра.

Дорога вела к белому дому в зарослях деревьев, за которыми были разбросаны другие постройки. Это и была станция Миддл-Бор. На поле, поросшем белой, как скелет, травой, паслись гнедые лошади.

Мы вывернули налево и поехали по более узкой дороге, пересекли ручей и остановились у ворот моего второго по счету аборигенского лагеря. Это место выглядело менее мрачным, чем Скалл-Крик. Здесь было меньше битых бутылок, меньше собак с гноящимися ранами, да и у детей был куда более здоровый вид.

Хотя была уже добрая середина дня, большинство людей в лагере все еще спали. Под деревом сидела женщина и перебирала какие-то плоды или ягоды. Когда Аркадий поздоровался с ней, она опустила голову и уставилась на свои пальцы ног.

Мы стали пробираться мимо лачуг, двигаясь зигзагом между порослями колючек к бесколесному корпусу фургона «фольксвагена». Над дверью был натянут зеленый брезент, а из пластмассового шланга сочилась вода на участок, засаженный арбузами. У фургона на цепи сидела

остромордая охотничья собака.

— Алан? — громко позвал Аркадий, пытаясь перекричать собачий лай.

Никакого ответа.

— Алан, ты здесь?…Боже мой, — чуть слышно пробормотал он, — надеюсь, он не ушел опять.

Мы еще немного подождали, и из-за края брезента высунулась длинная черная рука. Через некоторое время вслед за рукой показался жилистый седобородый мужчина в светло-сером котелке, грязных белых штанах и малиновой рубашке с узором из гитар. Он был бос. Он шагнул на солнечный свет, поглядел сквозь Аркадия и величаво склонил голову.

Собака продолжала лаять, и он пнул ее.

Аркадий заговорил с ним на уолбири. Старик выслушал его, опять склонил голову и ушел обратно за брезентовую занавески.

— Похож на Хайле Селассие, — заметил я, когда мы отошли от вагончика.

— Только еще благороднее.

— Гораздо благороднее, — согласился я. — Он поедет, да?

— Наверное.

— Он умеет говорить по-английски?

— Умеет, но не любит. Английский — не самый

любимый его язык.

Народ кайтиш, рассказал Аркадий, имел несчастье жить вдоль Сухопутной телеграфной линии и потому рано вошел в контакт с белым человеком. Они быстро научились изготовлять ножи и наконечники копий из фарфоровых изоляторов. Чтобы положить этому конец, им решили преподать хороший урок. И кайтиш отомстили своим убийцам.

По пути сюда мы проезжали мимо придорожной могилы телеграфиста, который, умирая от раны, нанесенной копьем, успел отбить прощальную записку жене в Аделаиду. Это случилось в 1874 году. Полицейские репрессии продолжались до 1920-х годов.

Когда Алан был еще юношей, у него на глазах расстреляли его отца и братьев.

— Ты говорил, он один остался в живых?

— Из его клана — да, — сказал Аркадий. — В этой части страны.

Мы сели спиной к спине, прислонившись к стволу эвкалипта, и стали наблюдать за тем, как лагерь пробуждается. Мэвис и Руби отправились в гости к своим подругам. Большой Том задремал, а Тимми сидел, скрестив ноги, и улыбался. Земля здесь была высохшей и растрескавшейся,

и в сантиметрах от моих башмаков плотным неуклонным ручейком ползли муравьи.

— Где же Мэриан, черт возьми? — вдруг сердито сказал Аркадий. — Она уже несколько часов назад должна была приехать. Ладно, давай чаю выпьем.

Пока Аркадий распаковывал чай и кое-какую снедь, я принес из чащи хвороста и разжег костер. Он вручил Тимми булочку с ветчиной, тот мгновенно проглотил ее и попросил еще одну, а потом, с видом человека, привыкшего к тому, чтобы ему прислуживали, протянул мне свой котелок.

Вода уже почти закипала, когда в лагере внезапно начался страшный переполох. Женщины завизжали, собаки и дети попрятались, и мы увидели, как в нашу сторону несется столб малиново-бурой пыли.

Приближаясь, этот ураган ревел и трещал; засасывал листья, ветки, ошметки пластмассы, бумаги и кусочки металлического листа, вихрем поднимая их в небо, а потом снося над лагерем в сторону дороги.

Миг или два паники — и все снова успокоилось.

Через некоторое время к нам подошел мужчина средних лет о голубой рубашке. Шляпы на нем

не было. Жесткая седая щетина на голове была одинаковой длины с щетиной на подбородке. Своим открытым, улыбчивым лицом он напомнил мне моего отца. Он присел на корточки и стал ложками сыпать сахар в свою кружку. Аркадий говорил. Мужчина все выслушал, потом что-то ответил тихим шепотом, одновременно чертя какие-то рисунки пальцем на песке.

Потом он ушел куда-то в сторону жилого фургончика Алана.

— Кто это? — спросил я.

— Племянник старика, — ответил Аркадий. — Он же — его «ритуальный ассистент».

— Чего он хотел?

— Проверить нас.

— Мы прошли проверку?

— Думаю, он еще наведается к нам.

— Когда?

— Скоро.

— Хотел бы я понять, что это за «ритуальные ассистенты»!

— Это непросто.

Дым от костра летел прямо на нас, зато отгонял мух.

Я достал блокнот и положил себе на колени.

Вначале, сказал Аркадий, нужно усвоить еще

два аборигенских понятия: *кирда* и *кутунгурлу*.

Старик Алан — *кирда*: иначе говоря, он является «владельцем», или «боссом», той земли, которую мы собираемся осматривать. Он отвечает за ее сохранность, за то, чтобы ее песни пелись, а нужные ритуалы совершались вовремя.

А мужчина в голубом — *кутунгурлу* Алана, его «ассистент» или «помощник». Он принадлежит к другому тотемному клану и приходится Алану племянником — настоящим или «символическим», не важно — с материнской стороны. Само слово «кутунгурлу» означает «утробный родственник».

— Значит, у «ассистента», — уточнил я, — и у «босса» всегда разные Сновидения?

— Всегда.

Каждый из них пользуется соответствующими обрядами гостеприимства в земле другого, и оба, условно говоря, работают в одной команде, стремясь сохранить эти обряды. То обстоятельство, что «босс» и «ассистент» редко бывают людьми одного возраста, обеспечивает преемственность ритуальных знаний, которые продолжают рикошетом переходить от поколения к поколению.

В прежние времена европейцы думали, что «босс» и впрямь — «босс», а «ассистент» — его под-

чиненный. Оказалось, что это весьма ошибочное представление. Сами аборигены иногда переводили слово *кутунгурлу* как «полицейский»: это куда точнее определяло характер его взаимоотношений с *кирда*.

— «Босс», — продолжал Аркадий, — ни шагу сделать не может без разрешения «полицейского». Возьмем, к примеру, Алана. Племянник сказал мне, что они оба очень озабочены тем, что строительство железной дороги разрушит важное священное место — место, где навеки почил Предок-Ящерица. Но решать, стоит ли им ехать вместе с нами или нет, будет не Алан, а он.

Волшебство такой системы, добавил он, состоит в том, что ответственность за землю возложена в конечном итоге не на ее «хозяина», а на представителя соседнего клана.

— И наоборот? — спросил я.

— Разумеется.

— Значит, война между соседями становится делом крайне затруднительным?

— Она обречена на крах, — сказал он.

— Как если бы Америка и Россия вдруг согласились обменяться своими внутренними политиками…

— Тсс! — прошептал Аркадий. — Они идут.

20

Человек в голубом медленным шагом шел через заросли колючек. Алан следовал за ним, отставая на пару шагов, нахлобучив котелок на лоб. На лице у него была маска ярости и самообладания. Он сел рядом с Аркадием, скрестил ноги и положим на колени свою двадцатидвушку.

Аркадий развернул землемерную карту, придавил концы камнями от ветра. Стал указывать на различные холмы, дороги, скважины, ограждения — и на возможный путь, по которому идет железная дорога.

Алан глядел на карту с хладнокровием генерала на встрече в генштабе. Время от времени он вопросительно протягивал палец к какой-нибудь точке на карте, потом убирал его.

Я поначалу принял это представление за игру: мне даже в голову не приходило, что старик распознает местность, обозначенную на карте. Но потом он расставил указательный и средний пальцы буквой V и стал прикладывать их, как циркуль, к карте, одновременно быстро и беззвучно шевеля губами. Как потом объяснил мне

Аркадий, он отмерял Песенную тропу.

Алан принял сигарету у Большого Тома и закурил, продолжая хранить молчание.

Через несколько минут подкатил раздолбанный грузовик, в кабине сидело двое белых мужчин, а у откидного борта, сгорбившись, сидел черный скотовод. Водитель — худой, морщинистый человек с бакенбардами, в засаленной коричневой шляпе, вышел и поздоровался за руку с Аркадием. Это был Фрэнк Олсон — владелец станции Миддл-Бор.

— А это, — показал он на своего молодого спутника, — мой партнер, Джек.

На обоих были шорты, грязные фуфайки и ботинки для пустыни без шнурков, на босу ногу. Ноги были в струпьях, царапинах от колючек и укусах насекомых. Поскольку у обоих был довольно мрачный и решительный вид, Аркадий сразу занял оборонительную позицию. Но в этом не было необходимости. Все, что хотел знать Олсон, — это где пройдет железнодорожная линия.

Он присел на корточки над картой.

— Дай-ка я гляну, что там эти паршивцы затевают, — сердито сказал он.

За последние две недели, рассказал он нам, бульдозеры расчистили широкую полосу буша

и вплотную подошли к южным границам его владений. Если они будут продолжать двигаться по линии водораздела, они разрушат его систему дренажа.

Однако намеченная на карте линия делала в том месте поворот и загибалась на восток.

— Фу! — выдохнул Олсон, сдвинул шляпу на затылок и вытер ладонью пот. — Никто меня, конечно, не ставил в известность.

Он заговорил о падении цен на говядину, о засухе, о повсеместных падежах скотины. В удачный год выпадало 300 мм осадков. В этом году пока было 200 мм. Если уровень снизится до 175 мм, ему придется бросать свое дело.

Аркадий попросил разрешения разбить лагерь возле одной из его запруд.

— Я-то не возражаю! — ответил Олсон, заведя глаза в сторону Алана и подмигнув. — Ты лучше Босса спроси.

Старик не шевельнул ни мускулом, но сквозь волны его бороды проглянула легкая улыбка.

Олсон встал.

— Ладно, еще увидимся, — сказал он. — Заходите завтра на чай.

— Зайдем, — сказал Аркадий. — Спасибо.

Вечером в воздухе установилась золотая тиши-

на, когда мы вдруг завидели вдалеке над дорогой полоску пыли. Это была Мэриан.

Она сидела за баранкой своего старого «лендровера». Проехав мимо лачуг, она припарковалась метрах в сорока пяти от нашего костра. Из машины протиснулись две дородные женщины — Топси и Глэдис, а за ними показалось еще четыре женщины постройнее. Они выпрыгнули на землю, стряхнули с себя пыль и начали разминать руки и ноги.

— Ты опоздала! — ласково пожурил Мэриан Аркадий.

У нее щеки впали от усталости.

— Ты бы на моем месте тоже опоздал! — рассмеялась она.

Покинув Алис-Спрингс, она проехала 430 км; лечила мальчика от укуса скорпиона; давалаа лекарство малышу от дизентерии; выдергивала у старейшины нарывающий зуб; зашивала женщину, избитую мужем; зашивала ее мужа, избитого шурином.

— А теперь, — сказала она, — я умираю от голода.

Аркадий принес ей французскую булочку и кружку чая.

Он забеспокоился, не слишком ли она устала,

чтобы продолжать путь.

— Мы можем переночевать здесь, — сказал он.

— Нет уж, спасибо, — возразила она. — Давай лучше выбираться отсюда.

На ней было все то же скромное платьице с цветочным узором. Она уселась на передний бампер, расставила ноги и вгрызлась во французскую булочку. Я пытался с ней заговорить, но она смотрела как-то сквозь меня и улыбалась улыбкой женщины, занятой женскими делами.

Она осушила кружку до дна и вернула ее Аркадию.

— Еще десять минут, — сказала она. — А потом поедем.

Она ушла обливаться под гидрантом в женской части лагеря. Потом вернулась, вырисовываясь силуэтом на фоне солнца, с головы до ног мокрая: мокрое платье прилипло к груди и бедрам, а волосы вились золотыми змейками. Без преувеличения можно было сказать, что она была вылитая мадонна Пьеро [9]: легкая скованность движений делала ее еще более привлекательной.

Ее обступила толпа молодых матерей. Мэриан

---

[9] Примечания: 9

Пьеро дела Франческа (1416–1492) — *Прим. перев.*

стала обнимать их малышей, вытирать им сопли и грязные попки. Она поглаживала их, подбрасывала вверх-вниз, потом возвращала матерям.

Что же это за удивительные австралийские женщины? Но чему они такие сильные и довольные жизнью, тогда как множество мужчин кажутся совершенно опустошенными? Я снова попытался с ней заговорить, но она снова отпугнула меня вялой улыбкой.

— Что это с Мэриан? — спросил я у Аркадия, когда мы снова укладывали пожитки в машину. — Похоже, я что-то не то сделал.

— Не волнуйся, — сказал он. — Она всегда такая, когда ее женщины рядом.

Если ее женщины увидят, что она точит лясы с незнакомцем, то решат, что она — болтушка, и ничего ей не станут рассказывать.

— Да, — сказал я. — Теперь понятно.

— Пошли, ребята! — позвал Аркадий мужчин, сидевших вокруг костра. — Мы едем дальше.

21

«Лендкрузер» подпрыгивал и качался, двигаясь по двойной колее пыльной дороги, и кусты, как щетки, терлись об нижнюю часть его рамы. Алан с Тимми сидели впереди, у Алана торчала вверх зажатая между колен винтовка. Мэриан с женщинами ехала за нами следом, не отставая. Мы пересекли песчаную вымоину, и там пришлось включить привод на четыре колеса. Наше появление взбесило черную лошадь: она заржала и галопом умчалась прочь.

Впереди лежала открытая лесистая местность. Деревья образовывали темные полоски тени над травой, а эвкалипты-призраки, казалось, плыли над землей в этот оранжевый вечерний час, как воздушные шары, бросившие якоря.

Алан поднял руку, давая Аркадию знак остановиться, просунул свою двадцатидвушку в окно и выстрелил в какой-то куст. Из укрытия вырвались самка кенгуру с детенышем и вприпрыжку понеслись прочь, сверкая белыми ляжками на фоне серых кустарников.

Алан выстрелил снова и еще раз. Потом они с

человеком в голубом выскочили из машины и побежали за ними следом.

— Большой рыжий кенгуру, — сказал Аркадий. — Они приходят сюда на водопой на закате.

— Он попал?

— Думаю, что нет, — сказал он. — Гляди-ка, они назад идут.

Первой над травой показалась шляпа Алана. Рубашка человека в голубом была разорвана на плече, он в кровь расцарапался об колючки.

— Не повезло, старик, — сказал Аркадий Алану.

Алан снова взвел винтовку и уставился в окно.

Солнце освещало верхушки деревьев, когда мы доехали до ветряного насоса рядом с какими-то заброшенными загонами для скота. Раньше здесь было поселение. Кое-где валялись кучи сгнивших серых дров, стоял остов дома животновода. Из насоса вода била в два круглых оцинкованных бака, напор был хороший.

На бортиках баков сидела целая стая розовых какаду, не меньше сотни. Завидев наше приближение, эти птицы с розовыми хохолками взвились в небо; изнанка их крыльев была цвета лепестков шиповника.

Мы все сгрудились вокруг корыта-поилки, ста-

ли умываться и набирать воду в канистры.

Я нарочно избегал Мэриан, но она подошла сзади и ущипнула меня за зад.

— Начинаешь усекать правила, да? — усмехнулась она.

— Сумасшедшая!

Земля к востоку представляла собой плоскую, бездревесную пустошь, начисто лишенную растительности. Алан поднимал палец, показывая на одинокую возвышенность на горизонте. Было почти темно, когда мы доехали до маленького скалистого холма. Между камнями пробивались вверх белые колоски спинифекса в оперении цветов и черный пух безлиственных кустов малли.

Этот холм, сказал Аркадий, и есть место последнего успокоения Предка-Ящерицы.

Мы разделились на две группы, разойдясь на расстояние, на котором можно было бы перекликаться. Мужчины сели в круг, разложив рядом с собой свои пожитки, и начали переговариваться приглушенными голосами. Пока Аркадий распаковывал вещи, я пошел собирать хворост.

Я уже разжег костер, использовав в качестве трута кору и траву, как вдруг из женского лагеря донеслись звуки переполоха. Все визжали и кричали, и в свете их костра я различил фигуру

Мэвис, которая прыгала туда-сюда и показывала на землю.

— Что стряслось? — крикнул Аркадий Мэриан.

— Змея! — весело крикнула она в ответ.

Это был всего лишь змеиный след на песке, но и этого оказалось достаточно, чтобы у женщин началась истерика.

Мужчины тоже забеспокоились. Первым вскочил на ноги Большой Том, за ним остальные. Алан снова взвел винтовку. Остальные вооружились палками; принялись изучать песок; начали переговариваться хриплым эмоциональным шепотом и размахивать руками, будто плохие актеры в шекспировской драме.

— Не обращай внимания, — сказал Аркадий. — Они просто выпендриваются. И все-таки я, пожалуй, буду спать на крыше «лендкрузера».

— Трусишка! — сказал я.

Себе я соорудил для ночлега «змеенепроницаемую» подстилку, привязав все четыре угла к кустам, так что ее края были приподняты сантиметров на тридцать над уровнем земли. Потом я начал готовить ужин.

Огонь разгорелся слишком сильно, чтобы можно было изжарить мясо, не подпалив его: я и сам чуть не обуглился. Алан взирал на происходящее

с невозмутимым спокойствием. Остальные тоже ни словом не поблагодарили меня за еду, только молча передавали тарелки назад — за добавкой. Наконец, насытившись, они вновь принялись совещаться.

Знаешь, кого они мне напоминают? — сказал я Аркадию.

— Банкиров в зале заседаний.

— Ну, это недалеко от истины, — согласился он. — Они же решают, как сделать так, чтобы дать нам как можно меньше.

Мясо было подгоревшим и жестким, да и после обеда у Хэнлона у нас почти не было аппетита. Мы убрали остатки еды и сели в круг к старикам. Свет от костра выхватывал из темноты их лица. Взошла луна. Мы едва различали очертания холма.

Мы немного посидели молча, а потом Аркадий, улучив момент, повернулся к Алану и тихо обратился к нему по-английски:

— Ну, так что за история связана с этим местом, старик?

Алан по-прежнему глядел на огонь и не дрогнул ни мускулом. Кожа плотно обтягивала его скулы и блестела. Потом, едва заметным движением, он наклонил голову к человеку в голубом — тот

встал и начал мимически представлять (вставляя слова на пиджине) странствия Предка-Ящерицы.

Это была песня о том, как Ящерица и его молодая жена пришли с севера Австралии к Южному морю, и как южанин соблазнил жену Ящерицы и подсунул вместо нее замену, с которой тот отправился домой.

Не знаю, какой именно вид ящерицы он изображал — был ли он «бородатой» или «земляной» ящерицей, или одной из взъерошенных, сердитых ящериц с воротниками на шее. Знаю только то, что человек в голубом был самой правдоподобной ящерицей, какую только можно себе вообразить.

Он был самцом и самкой, соблазнителем и соблазненной. Он был сладострастником, он был рогоносцем, он был утомленным путником. Он топорщил свои ящеричные лапы, потом замирал и задирал голову. Он поднимал нижнее веко, прикрывая радужную оболочку, и выбрасывал вперед свой ящеричный язык. Он чудовищно раздувал шею, изображая ярость; наконец, когда ему пришло время умирать, он принялся выгибаться и извиваться, и его движения делались все слабее и слабее, как у Умирающего Лебедя.

И вот его челюсти сомкнулись: это был конец.

Человек в голубом махнул рукой в сторону холма и победным голосом рассказчика, поведавшего лучшую из всех мыслимых историй, прокричал:

— Там… Он теперь там!

Все это представление длилось не больше трех минут.

Смерть ящерицы тронула и опечалила нас. Но Большой Том и Тимми катались со смеху с самого эпизода обмена женами и еще долго продолжали гикать и хихикать после того, как человек в голубом сел на место. Даже сдержанное и красивое лицо Алана осветилось улыбкой. Потом все они, один за другим, зевнули, разложили свои пожитки, свернулись поудобнее и уснули.

— Похоже, ты им понравился, — опять сказал Аркадий. — Так они по-своему поблагодарили тебя за ужин.

Мы включили фонарь-«молнию» и уселись на складные стулья подальше от костра. То, чему мы стали свидетелями, пояснил Аркадий, разумеется, было не настоящей песней Ящерицы, а всего лишь декоративным фасадом, или изложением, которое представляют чужакам. В настоящей песне перечислялись и назывались бы все источники, из которых пил Человек-Ящерица, каждое

дерево, из которого он вырезал себе копье, каждая пещера, в которой он ночевал, покрывая длинное расстояние всего своего пути.

Аркадий понимал пиджин куда лучше моего. С его слов я записал такой вариант этой истории:

> Ящерица и его жена отправились к Южному морю. Его жена была молода и красива, и кожа у нее была намного светлее, чем у мужа. Они шли по болотам и рекам, а потом остановились у холма, у этого самого холма в Миддл-Боре — и заночевали там. Утром они проходили мимо места привала Динго, где мать кормила целый выводок щенят. «Ага! — сказал Ящерица. — Я запомню этих щенков, а потом съем их».
>
> Муж с женой продолжили путь. Они прошли мимо Уднадатты, мимо озера Эйр и наконец вышли к морю возле Порт-Огасты. С моря дул пронизывающий ветер, Ящерица замерз и начал дрожать. Он заметил неподалеку, на мысу, костер, вокруг которого грелись какие-то южане, и сказал жене: «Ступай к этим людям и попроси у них головешку».

Она пошла. Но один из южан, воспылав вожделением к ее светлой коже, совокупился с ней — и она согласилась с ним остаться. Он высветлил собственную жену, вымазав ее с головы до ног желтой охрой, и отправил ее с головешкой к одинокому путнику. Лишь когда охра осыпалась, понял Ящерица, что его провели. Он затопал ногами. Он раздулся от злости, но, так как он был пришельцем в чужой далекой земле, он был бессилен отомстить обидчику. И он жалко поплелся домой с женой-уродиной, которую ему подсунули. По дороге он остановился, чтобы убить и съесть щенков Динго, но от них у него сделалось несварение, и он захворал. Дойдя до холма в Миддл-Боре, он лег на землю и умер…

И там, как и сказал нам человек в голубом, он лежит до сих пор.

Мы с Аркадием еще посидели, размышляя над этой легендой об антиподной Елене. Расстояние отсюда до Порт-Огасты по прямой составляло примерно 1700 км: вдвое длиннее — прикинули мы, — чем от Трои до Итаки. Мы попытались

представить себе такую «*Одиссею*», где имелось бы по стиху на каждый поворот и изгиб десятилетнего странствия героя.

Я взглянул на Млечный Путь и сказал:

— Это все равно что пытаться сосчитать все звезды.

Многие племена, продолжал Аркадий, говорят на языке своих ближайших соседей, так что трудностей общения при пересечении границы не существует. Загадка же заключается в том, как человек из Племени А, живущий на одном конце Песенной тропы, услышав несколько тактов из песни, которую поет Племя Х, не зная при этом ни слова на языке Х, немедленно определяет, о какой земле идет речь в песне.

— О Боже! — сказал я. — Ты хочешь сказать, что старик Алан знает песни земли, которая лежит в полутора тысячах километров отсюда?

— Скорее всего, знает.

— Хоть никогда там не бывал?

— Ну да.

Над этой проблемой сейчас трудятся один или два этномузыковеда, добавил он. Пока же мы сами можем устроить себе маленький воображаемый эксперимент.

Предположим, мы разыскали где-нибудь непо-

далеку от Порт-Огасты певуна, который знает песню Ящерицы. Предположим, мы упросили его напеть слова песни и записали его голос на магнитофон, а потом проиграли запись для Алана в земле кайтиш. Скорее всего, он бы немедленно узнал мелодию — точно так же, как мы мгновенно узнаем «Лунную сонату», — но смысл слов, конечно, остался бы для него непонятным. И все же он бы очень внимательно прислушивался к музыкальному строю песни. Быть может, он попросил бы нас повторить несколько тактов. А потом он бы вдруг синхронно запел свои слова поверх чужой «белиберды».

— Свои слова — про землю, которая находится у Порт-Огасты!

— Да, — сказал Аркадий.

— И что, такое бывает?

— Бывает.

— Но как, черт возьми, такое возможно?

Никто точно не знает, сказал он. Есть люди, которые объясняют это телепатией. Сами аборигены рассказывают, что их певуны в состоянии транса проносятся вдоль Песенной тропы. Но возможно и еще одно, еще более поразительное, объяснение.

Независимо от слов мелодический строй песни

описывает природу той земли, по которой эта песня проходит. Так, если Человек-Ящерица плетется по соляным ямам озера Эйр, то можно ожидать непрерывного ряда бемолей, как в «Похоронном марше» Шопена. Если же он скакал вверх-вниз по эскарпам Макдоннелла, то мы услышали бы перемежающиеся арпеджио и глиссандо, как в «Венгерских рапсодиях» Листа.

По-видимому, определенные музыкальные фразы, определенные сочетания нот описывают поведение ног Предка. Например, одна фраза означает «соляную яму», другие — «русло ручья», «колючки», «песчаный холм», «куст мульги», «бугристый камень», и так далее. Опытный певун, прислушавшись к последовательности таких фраз, быстро сосчитает, сколько раз его герой переходил реку, забирался на гребень горы, — и сумеет вычислить, как далеко он продвинулся вдоль Песенной тропы и до какого именно места.

— Прослушав несколько тактов, — объяснял Аркадий, — он сможет сказать: «Это Миддл-Бор» или «Это Уднадатта» — где его герой совершил действие X, Y или Z.

Так значит, — спросил я, — музыкальная фраза — это ключ к карте?

— Музыка, — ответил Аркадий, — это банк памяти, который позволяет не заблудиться в мире.

— Мне понадобится некоторое время, чтобы переварить эту мысль.

— У тебя в запасе целая ночь, — улыбнулся он. — Со змеями!

Во втором лагере все еще горел огонь, и до нас долетали звуки женской трескотни и смеха.

— Спокойной ночи, — сказал он.

— Спокойной ночи.

— Никогда я так не развлекался, — сказал Аркадий, — как с моими стариками.

Я попытался уснуть, но не смог. Земля под моим спальным мешком была жесткой и комковатой. Я пробовал сосчитать звезды вокруг Южного Креста, но все время возвращался мыслями к человеку в голубом. Кого-то он мне напоминал. Какого-то другого человека, который изображал почти такую же историю, тоже очень похоже подражая повадкам животного. Однажды в Сахеле я наблюдал, как танцоры представляют прыжки антилоп и аистов. Но докапывался я до какого-то другого воспоминания.

И вдруг я вспомнил: Лоренц!

22

В тот день, когда я познакомился с Конрадом Лоренцем, он работал в своем саду в Альтенберге, городке на Дунае, недалеко от Вены. Из степи задувал горячий восточный ветер. Я приехал к нему, чтобы взять интервью для газеты.

«Отец этологии» оказался хрящеватым мужчиной с седой бородой лопатой, с арктически-синими глазами и лицом, порозовевшим от солнца. Его книга «Об агрессии» возмутила либеральные умы по обе стороны Атлантики — и явилась подарком для «консерваторов». Его враги раскопали одну полузабытую работу, опубликованную в 1942 году году — год «окончательного решения», — в которой Лоренц ставил теорию инстинкта на службу расистской биологии. В 1973 году он получил Нобелевскую премию.

Он познакомил меня с женой. Она отложила свою корзинку для прополки и сдержанно улыбнулась из-под полей соломенной шляпки. Мы вежливо побеседовали о трудностях разведения фиалок.

— Мы с женой, — сказал Лоренц, — знаем друг

друга с раннего детства. Помню, мы играли в игуанодонов вон в тех кустах.

Он повел меня к дому — пышному необарочному особняку, построенному его отцом-хирургом еще в старые добрые времена Франца-Иосифа. Когда он открыл входную дверь, оттуда вырвалась целая свора поджарых дворняжек коричневого окраса. Все они норовили поставить лапы мне на плечи и лизнуть меня в лицо.

— Что это за собаки такие? — удивился я.

— Ублюдки! — хмуро пробормотал Лоренц. — Я бы весь приплод уничтожил. Видите вон ту чау-чау, вон там? Отличное животное! Внучка волка! Моя жена водила ее по всем лучшим производителям чау-чау в Баварии, подыскивая ей пару для случки. Она отвергла их всех… а потом взяла и совокупилась со шнауцером!

Мы расположились у него в кабинете, где стояла белая фаянсовая печка, аквариум с рыбами, игрушечный поезд и клетка с ухающей майной. Мы приступили к обзору его биографии.

В возрасте шести лет он уже читал книги об эволюции и сделался убежденным дарвинистом. Позже, будучи студентом в Вене, он специализировался в сравнительной анатомии уток и гусей: тогда-то он и понял, что они, как и все прочие

животные, наследуют целые «блоки» или «парадигмы» инстинктивного поведения, которые содержатся в их генах. Брачный ритуал дикого селезня — готовый «эпизод пьесы». Самец машет хвостом, трясет головой, наклоняется вперед, выгибает шею — совершает последовательность движений, которые, раз начавшись, уже разворачиваются по предсказуемому сценарию. Они — такая же неразрывная часть его птичьего естества, как перепонки на лапах или блестящая зеленая голова.

Лоренц осознал и то, что эти «фиксированные формы действия» менялись в ходе естественного отбора и, должно быть, когда-то играли жизненно важную роль в выживании видов. Следовательно, их можно подвергнуть научному измерению, как измеряют, например, анатомические изменения, наблюдаемые между ближайшими родственными видами.

— Вот так я и пришел к этологии, — сказал Лоренц. — Никто меня не наталкивал на эти мысли. Я думал, что это само собой разумеется, что это понимают все психологи: я ведь был еще ребенком и очень уважал других людей. Я даже не понял, что стал одним из первооткрывателей.

«Агрессия», по определению Лоренца, является

инстинктом, присущим животным и человеку и побуждающим их искать соперников своего же вида и драться с ними — хотя не обязательно убивать. Функция агрессии — обеспечивать равномерное распределение вида по среде его обитания, а также передачу генов «достойнейших» особей следующему поколению. Воинственное поведение — не реакция, а «побуждение» или стремление, и оно, подобно побуждениям голода или полового влечения, имеет свойство накапливаться и выливаться или на «естественный» предмет, или, если такого не находится, на «козла отпущения».

В отличие от человека, дикие звери редко дерутся до смерти, Они скорее превращают в «ритуал» свои ссоры, демонстрируя друг другу зубы, оперение, шрамы или издавая крики. Чужак разумеется, если это был более слабый чужак — распознает эти отпугивающие знаки и удаляется без лишнего шума.

Так, волку, который признает свое поражение, достаточно лишь подставить противнику свой затылок — и победителю уже не обязательно доводить до конца демонстрацию своего превосходства.

Лоренц объявлял свою книгу «Об агрессии»

сборником сведений, накопленных опытным натуралистом, который многое знал о драках у животных и видел много войн между людьми. В войну он служил хирургом на русском фронте. Он провел несколько лет в советских лагерях для военнопленных и пришел к заключению, что человек — «опасно агрессивный» вид. Война как таковая является для него коллективным выбросом загнанных вглубь драчливых «побуждений»: такое поведение сослужило ему неплохую службу в тяжелую пору первобытной эры, но оно же таило в себе смертельную угрозу в век водородной бомбы.

Наше пагубное упущение, или Грехопадение, утверждал он, состоит в том, что мы изобрели себе «искусственное оружие» вместо того, чтобы развивать естественные средства обороны. Следовательно, как вид, мы оказались лишены сдерживающего инстинкта, который не позволяет «профессиональным хищникам» истреблять своих собратьев.

Я ожидал увидеть в Лоренце старомодно-учтивого человека, закосневшего в своих убеждениях, человека, который, восхищаясь упорядоченностью и разнообразием животного царства, решил отрезать себя от болезненного и хаотичного

мира человеческих взаимоотношений. Я не мог ошибаться сильнее. Передо мной был человек, запутавшийся не меньше остальных, который, невзирая на свои былые убеждения, испытывал почти детское желание делиться с другими восторгами своих открытий, исправлять фактические ошибки или же неверные нюансы.

Он оказался великолепным мимом. Он мастерски перевоплощался в любую птицу или рыбу, в любого зверя. Когда он изображал галку, стоящую на нижней ступени в иерархии «порядка клевания», он сам становился несчастной галкой. Он становился парой диких гусей, которые сплетались шеями, исполняя «торжественный обряд». А изображая сложные брачные игры чиклид из своего аквариума — в которых «рыба-Брун-Хильда» отвергала робкие ухаживанья партнера, но преображалась в жеманную и чересчур покорную барышню, как только в аквариуме появлялся настоящий самец, — Лоренц по очереди Превращался в «Брюнхильду», в слабака и в тирана.

Он сетовал на то, что его превратно толкуют люди, которые выносят из его теории агрессии оправдание бесконечным войнам.

— Это просто клевета, — говорил он. — «Агрессивность» не обязательно имеет целью навредить

соседу. Она может служить всего лишь «отгоняющим» поведением. Можно добиться того же самого, просто выражая неприязнь к своему соседу. Просто говорите: «*Уоч!*» и уходите прочь, когда он квакает в ответ. Так поступают лягушки.

Две поющие лягушки, продолжал он, забираются друг от друга как можно дальше, исключая периоды икрометания. То же самое относится к белым медведям, у которых, к счастью для них самих, популяция немногочисленная.

— Белый медведь, — сказал он, — может позволить себе отойти от своего собрата подальше.

Точно так же в Ориноко были индейцы, которые подавляли племенную вражду с помощью «ритуального» обмена дарами.

— Но, позвольте, — встрял тут я, — ведь такой «дарообмен», несомненно, не является ритуалом для подавления агрессии. Это и есть агрессия, возведенная в ритуал. Насилие разражается только тогда, когда нарушается равноценность этих даров.

— Да, да, — с энтузиазмом согласился Лоренц. — Конечно, конечно.

Он достал карандаш из стола и протянул его мне.

— Если я дарю вам вот это, — сказал он, — то

я этим говорю: «Я хозяин этой территории». Но это также означает: «У меня есть территория, и я не угрожаю твоей». Мы всего-навсего обозначаем границы. Я говорю вам: «Я кладу свой дар вот здесь. Я не иду дальше». Потому что, если я положу свой дар слишком далеко, это уже будет нанесением оскорбления.

— Понимаете, территория, — добавил он, — это не обязательно земля, на которой вы кормитесь. Это место, на котором вы обитаете… где вам известны все укромные уголки и потайные щели… где вы наизусть знаете все укрытия… где вы остаетесь непобедимым для преследователя. Я изучал это даже на примере колюшек.

И тут он устроил незабываемое представление, изображая двух сердитых колюшек-самцов. Каждый был неукротим в центре своей собственной территории. Но оба делались все более боязливыми и уязвимыми, удаляясь от него. Они беспокойно сновали туда-сюда, пока не находили место равновесия, а потом соблюдали дистанцию. Ведя свой рассказ, Лоренц скрещивал руки под подбородком и растопыривал пальцы, изображая колючки колюшек. Он менял окраску жабр. Он бледнел. Он раздувался и сдувался, делал выпады и обращался в бегство.

Вот этого-то бессильного, отступающего самца колюшки, которого изображал Лоренц, и напомнил мне здесь, в Миддл-Боре, Человек-Ящерица, обманутый муж, который удалился от родной земли и упустил красавицу-жену.

23

Проснувшись утром, я обнаружил, что лежу посреди ярко-синей подстилки, а солнце уже высоко. Старики на завтрак снова захотели мяса. За ночь лед в «эски» растаял, и куски говядины плавали в кровавой воде. Мы решили приготовить их, прежде чем они совсем раскиснут.

Я раздул вчерашние угли, снова развел костер, а Аркадий тем временем совещался с Аланом и с человеком в голубом. Он показал им на карте, что железная дорога пройдет по крайней мере в трех километрах от Скалы-Ящерицы, и выудил из них неохотное согласие. Затем он показал им следующий участок земли, отрезок длиной около 38 км, куда собирался ехать дальше.

Почти все утро наши автомобили медленно пробирались по пересеченной местности на север. Солнце было ослепительным, а растительность — выжженной и безрадостной. К востоку земля ухудшалась и поднималась навстречу гребню светлых песчаных холмов. Долину, лежавшую посередине, покрывала непрерывная серебристо-серая чаща безлиственных в этом

сезоне деревьев мульга, издалека походившая на низко стелющийся туман.

Все было неподвижным, лишь дрожали вдалеке теплые воздушные потоки.

Мы все время проезжали следы пожаров. Кое-где от кустарника остались лишь торчавшие вверх, закаленные огнем острые колючки, протыкавшие нам шины, когда мы наезжали на них. У нас спустило три шины, у Мэриан в «лендровере» — две. Всякий раз, как мы останавливались, чтобы поменять колеса, в глаза нам летели пыль и пепел. Женщины выпрыгивали из машины и радостно отправлялись искать в буше лакомства.

Мэвис пребывала в очень возбужденном настроении, ей хотелось как-нибудь отблагодарить меня за шлепанцы. Она схватила меня за руку и потащила к вялому зеленому кусту.

— Эй! Куда это вы? — окликнул нас Аркадий.

— Хочу угостить его бананами, — крикнула Мэвис в ответ. — Он никогда не видел бананов, какие растут у нас в буше, — но бананы, когда мы до них добрались, совсем скукожились.

В другой раз они с Топси погнались за вараном, но рептилия оказалась куда проворнее их. Наконец Мэвис нашла кустик со спелыми ягодами соланума и стала сыпать их мне целыми при-

горшнями. Они и видом, и вкусом напоминали незрелые помидоры черри. Я съел несколько штук, чтобы порадовать Мэвис, и она сказала: «Ну, вот», протянула свою пухлую руку и погладила меня по щеке.

Всякий раз, как что-нибудь в пейзаже хотя бы чуть-чуть напоминало «признак», Аркадий тормозил и спрашивал старика Алана: «Это что такое?» или «Здесь все пусто?».

Алан пристально смотрел в окно на свои «владения».

Около полудня мы доехали до эвкалиптовых зарослей: это был единственный клочок зелени посреди пустыни. Неподалеку на поверхность выходил песчаник — скала метров шести в длину, едва возвышавшаяся над уровнем земли. Она была обозначена на аэросъемке и являлась одним из трех одинаковых обнажений пород, лежавших в ряд вдоль горной цепи.

Аркадий сказал Алану, что инженер, возможно, захочет начать здесь добычу камня для судового балласта. Возможно, он захочет взорвать эту скалу динамитом.

— Ну, так что, старик? — спросил он.

Алан ничего не отвечал.

— Здесь никакой истории нет? Ничего?

Тот молчал.

— Значит, эта земля пуста?

— Нет. — Алан глубоко вздохнул. — Дети.

— Чьи дети?

— Дети, — повторил он — и тем же усталым голосом начал рассказывать историю о Детях.

Во Время Сновидений Человек-Бандикут, Акука, и его брат охотились вдоль этого горного хребта. Была засушливая пора года, и их мучил чудовищный голод и жажда. Все птицы и звери разбежались. Деревья растеряли все свои листья и по этой земле пронеслись пожары.

Охотники всюду искали живность, какую можно было бы у бить у и вот у уже на последнем издыхании, Акука заметил бандикута, удирающего в свою нору. Брат остерег его у напомнив, что запрещено убивать своих собратьев, что это табу. Но Акука ослушался его.

Он вытащил бандикута из норы, убил его копьем, ободрал его, съел и немедленно ощутил судороги в животе. Живот у него раздувался и раздувался, пока не лопнул, и тогда из него выскочила целая

толпа Детей, которые сразу закричали, что хотят пить.

Умирая от жажды, Дети отправились к северу от Синглтона, а потом к югу, к Тейлор-Крику, туда, где сейчас плотина. Они набрели на болотце, но выпили всю воду и вернулись к тем трем скалистым выходам породы. Эти скалы и были теми Детьми, которые сбились в кучу, когда ложились умирать, хотя и получилось так, что они еще не умерли.

Их дядя, брат Акуки, услышал их крики и попросил своих западных соседей, чтобы те вызвали дождь. И с запада принесся дождь (те обширные серые заросли мульги были грозой, которая потом превратилась в деревья). Тогда Дети снова пошли прежним путем на юг. Переходя ручей неподалеку от Скалы-Ящерицы, они упали в воду и «растворились».

То место, где Дети «вернулись восвояси», называлось *Акверкепентье*, что означало «далеко странствующие дети».

Когда Алан закончил свой рассказ, Аркадий мягко сказал ему:

— Не печалься, старик. Все будет хорошо. Никто не тронет этих Детей.

Алан огорченно замотал головой.

— Разве ты не рад?

Нет. Он не был рад. Эта проклятая железная дорога ничем и никогда не порадует его; что ж, по крайней мере за Детей можно было не бояться.

Мы поехали дальше.

— Австралия, — медленно проговорил Аркадий, — это страна заблудившихся Детей.

Еще через час мы оказались у северной границы станции Миддл-Бор. Теперь у нас осталась только одна запасная шина для «лендкрузера», поэтому, чтобы не рисковать, мы решили возвращаться не той же дорогой, а окольным путем. Старая грунтовая дорога шла оттуда на восток, а потом поворачивала на юг и проходила позади Аланова поселения. В конце маршрута мы должны были пересечься с железнодорожниками.

Землю вдоль намеченной линии будущих путей уже расчищали. Экскаваторы прорезали рвом заросли мульги, и вдаль тянулась полоса перелопаченной земли шириной в сотню ярдов.

Старики с жалким видом смотрели на множество поваленных деревьев.

Мы остановились поговорить с чернобородым

великаном. Росту в нем было больше двух метров, и казалось, сам он сделан из бронзы. Голый по пояс, в соломенной шляпе и в шортах, он молотком забивал в землю маркировочные столбы. Через час или два он уезжал отсюда в Аделаиду — в отпуск.

— О Господи, — сказал он. — Вы бы знали, как я рад отсюда выбраться!

От дороги ничего не осталось. Наши машины едва ползли, барахтаясь и увязая в рыхлой рыжей земле. Трижды нам приходилось вылезать и толкать их. Аркадий совсем измотался. Я предложил сделать небольшой привал. Мы свернули в сторону, в пятнистую тень деревьев. Повсюду торчали муравейники, заляпанные птичьим пометом. Аркадий достал кое-какие съестные припасы, а вместо навеса растянул подстилку, на которой я спал ночью.

Мы думали, что наши старики, как всегда, окажутся голодными. Но они, с хмурым видом сбившись в кучу, отказывались есть и разговаривать: судя по выражениям их лиц, они явно испытывали страдание.

Мэриан с женщинами расположились на отдых под другим деревом. Женщины тоже сделались молчаливыми и угрюмыми.

Поднимая клубы пыли, мимо проехал желтый бульдозер.

Аркадий улегся на землю, накрыл голову полотенцем и вскоре захрапел. Я подложил под голову свой кожаный рюкзак, прислонился к стволу дерева и принялся листать «Метаморфозы» Овидия.

Миф о превращении Ликаона в волка вмиг перенес меня в тот ветреный весенний день в Аркадии, когда я глядел на известняковую вершину самой горы Ликаон и различал в ней очертания припавшего к земде царя-зверя. Я читал о Гиацинте и Адонисе; о Девкалионе и Потопе; о том, как из теплого нильского ила были сотворены «зародыши всяческой твари». И мне вдруг пришло в голову — теперь, когда я столько узнал о Песенных тропах, — что, пожалуй, вся классическая мифология представляет собой пережитки гигантской «песенной карты»; что все эти странствия богов и богинь, пещеры и священные источники, сфинксы и химеры, все эти мужчины и женщины, превращенные в соловьев или воронов, в звуки эха или цветы-нарциссы, в камни или звезды, — всё это вполне можно толковать с точки зрения тотемической географии.

Наверное, я и сам незаметно задремал, потому

что, когда я очнулся, на лице у меня сидели мухи, а Аркадий звал:

— Вставай. Пора ехать.

Мы приехали в Миддл-Бор за час до заката. «Лендкрузер» не успел еще как следует остановиться, когда Алан и человек в голубом открыли двери, вышли и, даже не кивнув, зашагали восвояси. Большой Том пробормотал что-то вроде: железная дорога — «это плохо».

Аркадий выглядел подавленным.

— Черт! — сказал он. — И зачем это все нужно?

Он винил себя в том, что дал им увидеть экскаваторы.

— Но ты же не виноват, — возразил я.

— Все равно.

— Они бы рано или поздно это увидели.

— Уж лучше бы без меня.

Мы освежились водой из шланга, и я начал воскрешать наше вчерашнее кострище. Подошла Мэриан, уселась на отпиленный пенек и принялась распутывать волосы. Потом они с Аркадием сравнили свои записи. Женщины рассказали ей о Песенной тропе, которая называется «Две Плясуньи», но она нигде не пересекается с будущей железной дорогой.

Мы взглянули в сторону и увидели процессию

женщин и детей, возвращавшихся с поисков пищи. Младенцы мирно покачивались в складках материнских платьев.

— Никогда не услышишь их плача, — заметила Мэриан, — пока мать продолжает двигаться.

Она невольно затронула одну из моих любимых тем.

— А если младенцы такие непоседы, — сказал я, — то отчего с возрастом мы так успокаиваемся?

Она вскочила на ноги.

— Ты напомнил, что мне пора ехать.

— Сейчас?

— Сейчас. Я обещала Глэдис и Топси, что сегодня вечером они будут дома.

— А им нельзя остаться здесь? — спросил я. — Неужели нельзя нам всем переночевать здесь?

— Тебе можно, — ответила она, игриво высунув язык. — А мне нельзя.

Я поглядел на Аркадия, и тот пожал плечами, как бы говоря: «Если она что-то вобьет себе в голову, то ее никакая сила не удержит». Через пять минут она уже собрала всех женщин и, весело помахав нам, укатила.

— Это не женщина, — сказал я, — а настоящий Крысолов!

— Черт возьми! — ответил Аркадий.

Он напомнил мне об обещании заглянуть к Фрэнку Олсону.

К входной двери станционной постройки с шарканьем вышла крупная женщина с обветренной кожей, всмотрелась в нас сквозь занавеску от мух, а потом открыла.

— Фрэнк уехал в Глен-Армонд, — сообщила она. — По срочному делу! С Джимом Хэнлоном стало плохо!

— Когда? — спросил Аркадий.

— Прошлой ночью, — ответила женщина. — Свалился в пабе без чувств.

— Надо собирать ребят и ехать, — сказал он.

— Да, думаю, нам лучше съездить, — согласился я.

24

Бармен в глен-армондеком мотеле рассказал, что Хэнлон заявился сюда вчера около девяти вечера и стал хвастаться, что сдал свой караван одному англичанину, «джентльмену-литератору». Желая отпраздновать такую важную сделку, он выпил пять двойных виски, упал и ударился головой об пол. В надежде, что к утру он протрезвеет, его отнесли в комнату неподалеку. Среди ночи какой-то дальнобойщик услышал его стоны, и его нашли снова на полу, где он держался за живот, а рубаха на нем была изорвана на полоски.

Позвонили его приятелю, Фрэнку Олсону, и тот отвез его в Алис. К одиннадцати часам утра он уже лежал на операционном столе.

— Поговаривают о закупорке, — нравоучительным тоном заметил бармен. — Обычно это означает одно.

В баре был платный телефон. Аркадий позвонил в больницу. Дежурная сестра сообщила, что с Хэнлоном все в порядке, он сейчас спит.

— Так что же с ним было? — спросил я.

— Она не сказала.

Сам бар был сделан из бывших деревянных железнодорожных шпал. Наверху висела табличка с предупреждающей надписью:

«ВЫНОСИТЬ СПИРТНОЕ ЗАПРЕЩЕНО».

Я взглянул на картину на стене. Акварель изображала фантазию художника на тему проектируемого «Глен-армондского мемориального комплекса динго». Слово «мемориальный» относилось к той собаке динго, которая то ли съела, то ли все-таки не съела младенца Азарию Чемберлена. Проект предусматривал возведение фигуры динго из стекловолокна, высотой метров в восемнадцать, со спиральной лестницей, поднимающейся между передними лапами, и рестораном с темно-красным интерьером у нее в брюхе.

— Невероятно, — заметил я.

— Да нет, — возразил Аркадий. — Забавно.

Напротив остановился ночной автобус на Дарвин, и бар заполнился его пассажирами. Среди них были немцы, японцы, англичанин с розовыми коленками и типичные жители Территории. Они поедали пироги и мороженое, пили, выходили помочиться, снова возвращались к выпивке. Автобус стоял пятнадцать минут. Потом водитель крикнул, что отправляется, и все гурьбой

пошли на выход, так что в баре остались одни завсегдатаи.

В дальнем конце зала толстый ливанец играл в пул с тощим светловолосым молодым человеком, у которого было бельмо на одном глазу и который силился с заиканьем объяснить, что системы родства у аборигенов «оч… оч… очень… запу… запу…бб…блин-запутанные!» У барной стойки крупный мужчина с багровым родимым пятном на шее методично посасывал виски сквозь гнилые зубы и разговаривал с тем самым патрульным полицейским, которого мы накануне встречали возле «Бёрнт-Флэта».

Теперь полицейский был в джинсах, с золотой цепочкой на шее и в чистой белой фуфайке. Без униформы он казался более щуплым. Руки были тонкими и белыми выше линии манжет. Его немецкая овчарка, привязанная к табурету, лежала неподвижно и не сводила глаз с аборигенов, навострив уши и высунув язык.

Полицейский обратился ко мне:

— Что будете пить?

Я колебался.

— Ну, так чем вас угостить?

— Виски с содовой, — сказал я. — Спасибо.

— Со льдом?

— Со льдом.
— Значит, вы писатель, да?
— Быстро разносятся вести.
— А что пишете?
— Книги, — ответил я.
— Публиковались?
— Да.
— Научная фантастика?
— НЕТ!
— Когда-нибудь удавалось написать бестселлер?
— Никогда.
— А я вот мечтаю написать бестселлер.
— Замечательно.
— Вы не поверите, какие истории мне приходится иногда выслушивать.
— Поверю.
— Невероятные истории! — произнес он тонким, обидчивым голоском. — Они все у меня вот здесь.
— Где — здесь?
— В голове.
— Надо еще уметь перенести это все на бумагу!
— У меня уже есть отличное название.
— Это хорошо.
— Хотите, скажу, какое?

— Ну, если хотите.

Он разинул рот и уставился на меня.

— Да вы шутите, приятель! Это же надо — чтобы я выдал свое название! А может, вы его украдете? Название уже денег стоит.

— Тогда вы должны хранить его в тайне.

— Название, — сказал он прочувствованно, — способно сотворить или погубить книгу.

Вспомним Эда Мак-Бейна! «Расплата убийцы»! Вспомним «Город акул»! Или «Сожжение Эдема»! Или «Собачий день»! Отличные названия. Он оценивал денежное выражение своего названия в 50 ООО американских долларов. С названием вроде этого можно снять отличное кино. Даже без книги!

— Даже без сюжета? — вставил я.

— Может, и так, — кивнул он.

В Америке, сказал он, названия продают за миллионы. Нет, он-то не собирается перепродавать свое название киношникам. Название и сюжет — одно целое.

— Нет, — он задумчиво покачал головой. — Я бы не хотел их разлучать.

— И не надо.

— А может, мы могли бы работать вместе? — вдруг предложил он.

Он набросал картину этого творчески-делового союза. Он предоставляет название и историю. А я пишу книгу, потому что у него, как у полицейского, недостаточно досуга, чтобы писать.

— Чтобы писать, нужно время, — согласился я.

— Ну, так что — пойдет?

— Нет.

Он был заметно разочарован. Он еще не был готов сообщить мне название, однако, чтобы раздразнить мой аппетит, предложил познакомить меня с сюжетом. Сюжет этой невероятной истории начинался с того, что автомобильный поезд насмерть раздавил аборигена.

— Ну и?

— Ладно, сейчас скажу, — сказал он.

Он облизал губы. Решение далось ему с большим трудом.

— «Мешок для тела», — сказал он.

— «Мешок для тела»?

Он прикрыл глаза и улыбнулся.

— Я еще никому не рассказывал, — сказал он.

— Но почему «Мешок для тела»!

— Ну, мешок, в который засовывают мертвое тело. Я же сказал история начинается с задавленного чернокожего на шоссе.

— Я слышал.

— Ну, что — нравится? — спросил он взволнованно.

— Нет.

— Я про название.

— Я понял, что про название.

Я заговорил с человеком с багровым родимым пятном, который сидел слева от меня. Во время войны он оказался в Англии, под Лестером. Он воевал во Франции, а потом женился на девушке из Лестера. Жена приехала вместе с ним в Австралию, но потом вместе с их ребенком вернулась в Лестер.

Он уже слышал, чем мы занимаемся — осматриваем священные места.

— Знаешь, что лучше всего сделать с этими священными местами? — спросил он, растягивая слова.

— Что?

— Динамитом взорвать!

Он усмехнулся и отсалютовал стаканом аборигенам. Когда он пил, его родимое пятно вибрировало.

Один из аборигенов, очень худой, с виду типичный деревенщина с копной спутанных волос, оперся обоими локтями на стол и прислушивался.

— Священные места! — не унимался человек с пятном. — Да если сосчитать всё, что они называют священными местами, то окажется, что в Австралии триста чертовых миллиардов священных мест!

— Примерно так, приятель! — отозвался тот худой абориген.

Справа от меня Аркадий разговаривал с полицейским. Они оба раньше жили в Аделаиде, в пригороде Сент-Питерс. Они даже ходили в одну школу, у них был один учитель математики. Только полицейский был на пять лет старше Аркадия.

— Мир тесен, — изрек он.

— Это верно, — подтвердил Аркадий.

— А зачем ты с ними возишься? — полицейский обратил большой палец в сторону аборигенов.

— Потому что они мне нравятся.

— Да мне они тоже нравятся, — ответил тот. — Нравятся они мне! Мне нравится наводить у них порядок. Но они не такие, как мы.

— И в чем же они не такие?

Полицейский снова облизал губы, звучно втянул воздух между зубами.

— Устроены иначе, — сказал он наконец. — У них не такие мочевыводящие пути, как у белого

человека. Другая мочевая система! Поэтому они и пить не умеют!

— Откуда вы знаете?

— Это доказано, — ответил полицейский. — Научно доказано.

— Кем?

— Не помню.

Должно существовать два разных закона о потреблении спиртного, продолжал он: один — для белых и другой — для черных.

— Вы так думаете? — спросил Аркадий.

— Штрафовать человека за то, что у него более крепкая мочевая система? — от негодования полицейский повысил голос. Это же несправедливо. Это неконституционно!

Его овчарка заскулила, и он потрепал ее по голове.

Ну, а где другая мочевая система, там конечно же и другое серое вещество. Мозг аборигенов, заявил полицейский, отличается от мозга арийцев. У них лобные доли более плоские.

Аркадий сузил глаза до татарских щелок. Теперь он уже по-настоящему разозлился.

— Да, они мне нравятся, — повторил полицейский. — Я никогда и не говорил, что они мне не нравятся. Но они же как дети! У них детский

разум.

— А с чего вы это взяли?

— Они неспособны к прогрессу, заявил тот. — Вот поэтому вы все, борцы за их права, и неправы. Вы же мешаете прогрессу! Вы помогаете им уничтожить белую Австралию.

— Позвольте вас чем-нибудь угостить? — вмешался я.

— Нет, спасибо! — рявкнул тот. Лицо его гневно подрагивало. Я заметил, что ногти у него обкусаны до мяса.

Аркадий помолчал секунду-другую, справляясь с приступом раздражения, а потом начал объяснять, медленно и доходчиво, что лучше всего судить об интеллектуальных способностях человека можно по его умению оперировать словами.

По нашим меркам, сказал он, многие аборигены — просто лингвистические гении. Разница лишь во взглядах на мир. Белые беспрестанно изменяют мир, чтобы он отвечал их сомнительным представлениям о будущем. Аборигены же вкладывают все силы в то, чтобы сохранить мир таким, каким он был. Чем же это хуже?

У полицейского отвисла челюсть.

— Ты — не австралиец, — заявил он Аркадию.

— Еще какой австралиец!

— Ничего подобного. Я чую, что ты не австралиец.

— Я родился в Австралии.

— Это еще не делает тебя австралийцем, — заносчиво возразил тот. — У меня пять поколений предков жило в Австралии. А твой отец где родился?

Аркадий немного помолчал, а потом со спокойным достоинством ответил:

— Мой отец родился в России.

— Ну вот! — полицейский поджал губы и повернулся к человеку с родимым пятном. Что я тебе говорил, Берт? Помми, да еще и комми!

25

Ночью небо заволокло, и утро было пасмурным и душным. Мы позавтракали в баре мотеля яичницей с беконом. Жена хозяина приготовила нам сэндвичей для пикника и дала нам лед для «эски». Аркадий снова позвонил в больницу.

— По-прежнему не хотят говорить, что с ним такое, — сказал он, положив трубку. — Боюсь, плохи дела.

Мы стали раздумывать, ехать ли нам обратно в Алис, но, поскольку сделать мы все равно ничего не могли, мы решили поспешить в Каллен. Аркадий развернул на столе карту. Дорога туда, прикинул он, займет два дня. Мы поедем напрямик, переночуем в Попанджи, а потом поедем дальше в Каллен.

Женщина, которая пила кофе за соседним столиком, случайно услышала, о чем мы говорим, и извиняющимся тоном спросила, не будем ли мы случайно проезжать мимо Ломбарди-Даунз.

Аркадий взглянул на карту.

— Это нам по пути, — сказал он. — Хотите, чтобы мы вас подвезли?

— Ах, нет! — Женщина поморщилась. — Нет, нет. Я не собираюсь туда ехать. Я просто подумала, не можете ли вы передать туда кое-что. Письмо от меня.

Это была нескладная, потрепанная молодая женщина с тусклыми волосами и неподвижными янтарными глазами. Она выговаривала слова, как воспитанная леди. На ней было желтоватое платье с длинными рукавами.

— Оно уже написано, — сказала она. — Вас это не затруднит? И сейчас принесу его, если вы не…

— Конечно, мы захватим его, — сказал Аркадий.

Женщина куда-то убежала, вернулась, тоже бегом, запыхавшись, с письмом. Она положила его на стол и порывисто отбросила от себя. Потом начала теребить крошечное золотое распятие на шее.

— Оно для Билла Малдуна, — сказала она, не сводя глаз с имени на конверте. — Он управляющий станцией в Ломбардии. Это мой муж. Попросите кого-нибудь передать ему письмо. Но если вы увидите его самого… если он спросит, не видели ли вы меня… скажите ему, что у меня все в порядке.

Она выглядела хрупкой, жалкой и больной.

— Не волнуйтесь, — сказал я. — Обязательно передадим.

— Спасибо, — ответила она сдавленным голосом и села допивать свой кофе.

Три часа мы ехали по скучной равнине. Ночью прошли дожди и прибили пыль к дороге. Мы видели вдалеке нескольких эму. Поднимался ветер. Мы заметили, что на одиноко стоящем дереве что-то болтается. Это оказался огромный вязаный игрушечный мишка в синих штанишках и в красной шапочке. Кто-то вспорол ему горло, и оттуда вылезала набивка из растительного пуха. Под деревом из натертых охрой сучков был выложен крестик с перекладинами, связанными веревкой из волос.

Я поднял крест и протянул Аркадию.

— Это дело рук аборигенов, — сказал он. — Я бы на твоем месте не стал его трогать.

Я бросил крест и вернулся в машину. Небо впереди темнело.

— Вполне возможно, — сказал Аркадий, — что нас накроет гроза.

Мы свернули возле знака, указывавшего поворот на Ломбарди-Даунз. Через милю дорога уклонялась в сторону, огибая конец взлетной полосы. На жужжащем ветру горизонтально

колыхался оранжевый флюгер, и на некотором расстоянии от нас в воздух поднялся небольшой самолет.

Владелец этой станции владел и авиалинией.

Ферма находилась в развалившемся белом доме, видневшемся среди низкорослых деревьев, но ближе к взлетной полосе стоял еще один дом, поменьше, из кирпича, а рядом с ним — открытый ангар. В ангаре помещалась коллекция винтажных аэропланов и машин, принадлежавшая владельцу фермы. Рядом с «тайгер-мотом» стоял «форд» модели «Т» и сельскохозяйственный грузовик от «роллс-ройса»; его деревянные борта были выкрашены в коричневый цвет с черной каймой.

Я рассказал Аркадию любимую байку моего отца — про «роллс-ройс» и овцевода-миллионера.

— Выходит, не так уж это далеко от истины, — заключил я.

В дверях показалась неряшливо одетая женщина в домашнем халате в зеленую крапинку. Ее светлые волосы были накручены на бигуди.

— Вы кого-то ищете, ребята? — поинтересовалась она.

— Билла Малдуна, — ответил я, силясь перекричать ветер. — У нас для него письмо.

— Билла сейчас нет, — сказала она. — Заходите, я вам кофе сварю.

Мы вошли в грязную кухню. Аркадий положил письмо на стол, на красную клетчатую клеенку, рядом с кипой женских журналов. Мы сели. На стене висела покосившаяся картина маслом, изображавшая Айерс-Рок. Женщина взглянула на почерк на конверте и пожала плечами. Она была разлучницей.

Пока кипела вода в чайнике, она развернула полусъеденную большую конфету, откусила от нее чуть-чуть, снова завернула и слизнула с губ шоколад.

— Боже, какая скукотища! — сказала она.

Владелец станции прилетел на выходные из Сиднея, сказала она, поэтому Малдуна вызвали по делу. Она налила нам по чашке кофе и снова сказала, что умирает от скуки.

Мы уже собирались уходить, когда пришел Мадлун — атлетически сложенный краснолицый мужчина, одетый с головы до ног во все черное: шляпа, ботинки, джинсы и рубаха, расстегнутая до пупа — всё было черным. Он подумал, что мы пришли по делу, и пожал нам руки. Заметив письмо, он сразу же побледнел и стиснул зубы.

— Убирайтесь, — сказал он нам.

Мы ушли.

— Какой невежа, — сказал я.

— Пастушья этика, — заметил Аркадий. — Она на весь мир одна.

Через полчаса мы проехали по решетке для скотины, отмечавшей конец Ломбарди-Даунз. Мы удачно избежали ливня и теперь наблюдали за косыми полосами дождя, которые сносило ветром в сторону дальних холмов. Потом мы выехали на дорогу из Алис в Попанджи.

По обочинам шоссе валялось множество брошенных машин, чаще всего перевернутых, посреди куч битого стекла. Мы притормозили около ржавого синего «форда», возле которого сидела на корточках чернокожая женщина. Капот был открыт, а на крыше часовым стоял голый маленький мальчик.

— Что у вас случилось? — высунулся из окна Аркадий.

— Свечи, — ответила женщина. — Уехал за новыми свечами.

— Кто?

— Он.

— Куда?

— В Алис.

— Давно?

— Три дня назад.

— С вами тут все в порядке?

— Да, — фыркнула женщина.

— У вас есть вода и прочее?

— Да.

— Хотите сэндвич?

— Да.

Мы вручили женщине и мальчику три сэндвича. Они схватили их и стали с жадностью поедать.

— Так вы уверены, что все в порядке, а? — настаивал Аркадий.

— Да, — кивнула женщина.

— Мы можем вас в Попанджи отвезти.

Она раздраженно мотнула головой и махнула рукой, чтобы мы ехали дальше.

В обед мы пересекли ручей, в русле которого росли красные камедные деревья. Хорошее место для пикника. Мы начали осторожно проезжать через отполированные водой валуны и лужицы со стоячей желтой водой, на поверхности которых плавали опавшие листья. К западу простиралась серая, лишенная деревьев земля, по ней пробегали тени от облаков. Здесь не было ни скотины, ни решеток, ни насосов: эти места были слишком засушливыми для разведения

скота. Коровьи лепешки остались позади, и здесь больше не было мух.

Мы подошли к одному из камедных деревьев, и оттуда с пронзительными, точно скрип ржавых дверных петель, криками вылетела стая черных какаду и уселась на поваленное дерево неподалеку. Я надел очки и рассмотрел ярко-красные перышки, которые сверкали у них под хвостами.

Мы устроили пикник в тени. Сэндвичи оказались несъедобными, так что их пришлось выбросить воронам. Но еще у нас было с собой сухое печенье, сыр, маслины, банка сардин и пять банок пива в придачу.

Мы заговорили о политике, о литературе, и в частности о русской. Аркадий признался, что очень странно ощущать себя русским в стране, где царят англо-саксонские предрассудки. Попробуй провести вечер в комнате, заполненной сиднейскими «интеллектуалами», — и все они в конце концов начнут обмусоливать какое-нибудь малозначительно событие времен первой Штрафной Колонии.

Он окинул взглядом расстилавшиеся вокруг нас просторы.

— Как жаль, что мы сюда первыми не пришли, — вздохнул он.

— «Мы» — это русские?

— Не только русские, — покачал он головой. — Славяне, венгры, даже немцы. Любой народ, который привык к широким горизонтам. Такая огромная страна — а досталась островитянам! Они никогда ее не понимали. Они же боятся простора.

— Мы, — добавил он, — гордились бы ею. Любили бы ее такой, какая она есть. И, думаю, мы бы так легко ее не распродали.

— Да, — сказал я. — Почему же австралийцы, живя в стране с огромнейшими природными ресурсами, продолжают распродавать их иностранцам?

— Да они что угодно готовы продать, — пожал плечами Аркадий.

Потом он сменил тему разговора и спросил, не случалось ли мне когда-нибудь во время путешествий общаться с охотничьими племенами.

— Один раз случалось, — ответил я. — В Мавритании.

— А где это?

— В Западной Сахаре. Это было даже не охотничье племя — скорее охотничья каста. Они назывались немади.

— А охотились на кого?

— На сернобыков и антилоп мендес.

В городе Валата, где некогда находилась столица империи Альморавидов, а теперь лишь беспорядочной кучей стояли кровавого цвета дворы, я провел целых три дня, докучая губернатору просьбами разрешить мне встретиться с немади.

Губернатор, мрачный ипохондрик, стосковался по собеседнику, с которым можно было бы поделиться воспоминаниями о студенческой юности в Париже или поспорить о некоторых аспектах la pensee maotsetungienne [10]. Его любимыми словечками были tactique и technique, но, стоило мне заговорить о немади, он издавал ломкий смешок и мурлыкал: «Это запрещено».

За обедом лютнист с розовыми пальцами услаждал нас музыкой, пока мы ели кускус, а губернатор с моей помощью восстанавливал в памяти расположение улиц Латинского квартала. Из его дворца (если только можно назвать дворцом четырехкомнатный дом из сырцового кирпича) мне было видно крошечное белое пятнышко — шатер немади, манивший меня с холма.

---

[10] Примечания: 10
философия Мао Цзедуна (фр.) — *Прим. перев.*

— Зачем вам встречаться с этими людьми? — кричал на меня губернатор. — Валата — да! Валата — историческое место! Но эти немади — ничтожество. Это грязный народ.

Они не только грязные, они — настоящее национальное бедствие. Они гяуры, идиоты, воры, паразиты, лжецы. Они едят запрещенную пищу.

— А их женщины, — добавил он, — шлюхи!

— Но красавицы? — спросил я, чтобы поддразнить его.

Он выбросил руку из складок своих синих одеяний.

— Ага! — Он стал грозить мне пальцем. — Теперь я знаю! Теперь я все понимаю! Но, позвольте мне доложить вам, юный англичанин, что у этих женщин — страшные болезни. Неисцелимые болезни!

— А я слышал иное, — не сдавался я.

На третий вечер, что мы проводили вместе, когда я уже начал стращать его именем министра внутренних дел, я увидел по некоторым признакам, что он уже начинает смягчаться. На следующий день за обедом он сказал, что я могу отправиться к немади, но при условии, что меня будет сопровождать полицейский, и при условии, что я никоим образом не буду поощрять

их к охоте.

— Они не должны охотиться, — проревел он. — Вы меня слышите?

— Я вас прекрасно слышу, — ответил я. — Но они же — охотники. Они занимались охотой задолго до Пророка. Что им еще делать, как не охотиться?

— Охота, — тут губернатор с менторским видом сложил пальцы, — запрещена законами нашей Республики.

Несколькими неделями раньше, роясь в литературе о кочевниках Сахары, я наткнулся на отчет о немади, опиравшийся на сведения одного швейцарского этнолога, который относил их «к самым обделенным людям на планете».

Предполагалось, что их насчитывается около трехсот человек и что они скитаются группами человек по тридцать вдоль края Эль-Джуфа, незаселенного сектора Сахары. В отчете говорилось, что у них светлая кожа и голубые глаза; они были отнесены к восьмой и самой низшей ступени мавританского общества — к «изгоям пустыни», — ниже харратинов, которые были черными полевыми рабами в оковах.

Немади не признавали пищевых запретов и не питали почтения к исламу. Они питались саран-

чой и диким медом, а также кабанятиной — когда им удавалось убить дикого кабана. Иногда они добывали пропитание у кочевников, сбывая им *тичтар* — сушеное антилопье мясо, которое измельчают и добавляют в кускус, чтобы придать ему привкус дичи.

Еще эти люди подрабатывали тем, что вырезали каркасы сидений и плошки для молока из древесины акации. Они утверждали, что являются законными хозяевами этой земли и что мавры украли ее у них. Поскольку мавры обращались с ними как с париями, им пришлось уйти подальше от городов.

Что касается их происхождения, то, возможно, они являлись потомками мезолитического охотничьего населения. Почти не вызывало сомнений то, что они и были теми самыми «мессуфитами», один из которых — слепой на один глаз, полуслепой на второй — в 1357 году водил по пескам Ибн-Баттуту. «Здешняя пустыня, — писал этот путешественник, объездивший весь мир, — красивая и ослепительная, и душа обретает здесь отдохновение. В изобилии водятся антилопы. Их стада проходят так близко от нашего каравана, что мессуфиты охотятся на них стрелами и загоняют собаками».

К 1970-м годам из-за любителей поохотиться, разъезжая на «лендроверах» с винтовками дальнего боя, поголовье сернобыков и антилоп мендес не просто перестало изобиловать: эти животные оказались на грани вымирания. Правительство наложило полный запрет на охоту, который распространился и на немади.

Немади, зная, что сами они настолько же кротки, насколько жестоки и мстительны мавры, и зная, что именно скотоводство ведет к жестокости, не захотели им заниматься. В их любимых песнях говорилось о побегах в пустыню, где они будут дожидаться лучших времен.

Губернатор рассказывал мне, как однажды он и его коллеги купили для немади целый гурт в тысячу коз. «Тысяча коз! — не унимаясь, кричал он. — Вы представляете, сколько это? Множество коз! И как вы думаете, что они сделали с этими козами? Начали их доить? Какое там! Они съели их! Съели всю эту прорву! Ils sont im-be-ciles!» [11].

Полицейский, к моей радости, относился к немади с симпатией. Он называл их brave gens [12] и говорил мне, по большому секрету, что гу-

---

[11] Примечания: 11
Они сла-бо-умн-ые (фр.) — Прим. перев.

[12] Примечания: 12
Смельчаки (фр.) — Прим. перев.

бернатор «не в своем уме».

Подойдя к белому шатру, мы сначала услышали смех, а потом показалась группа немади, человек двенадцать, взрослые с детьми. Они отдыхали в тени акации. Среди них не было ни больных, ни грязных. Все выглядели безупречно.

К нам подошел поздороваться их предводитель.

— Махфульд, — произнес я его имя и пожал ему руку.

Его лицо было мне знакомо по фотографиям того швейцарского этнографа: плоское, сияющее лицо в обрамлении василькового цвета тюрбана. За двадцать лет он почти не состарился.

Среди людей, отдыхавших под акацией, было несколько женщин и один косолапый негр. Был там и дряхлый синеглазый калека, который передвигался на руках. Главным охотником был мужчина с квадратными плечами; выражение лица у него было одновременно суровое и безоглядно-веселое. Он строгал из колоды каркас для сиденья, а в колено ему тыкалась мордой его любимая собака — гладкошерстный пегий терьер, похоже, «джек-рассел».

Слово «немади» означает «повелитель собак». Рассказывают, что собаки едят даже тогда, когда

их хозяева голодают; их выучке позавидовал бы любой цирк. Свора состоит из пяти псов — «царя» и четырех его вельмож.

Охотник, выследив стадо антилоп и приблизившись к месту, где они пасутся, залегает вместе со своими собаками за пологим откосом дюны и внушает им, на какое животное они должны наброситься. По его знаку «царь» срывается с места, мчится вниз по склону и впивается в морду антилопе, а остальные собаки хватают ее за ноги — по одной на каждую. Один удар ножом, быстрая молитва, испрашивающая прощения у антилопы, — и охота окончена.

Немади презирают огнестрельное оружие: его применение — святотатство. А поскольку они верят, что душа убитого зверя находится в его костях, они почтительно погребают их, чтобы кости не осквернили собаки.

— Антилопы были нашими друзьями, — сказала одна из женщин с ослепительной белой улыбкой. — Теперь они ушли далеко, далеко. Теперь нам ничего не остается — только смеяться.

Они все как один взорвались смехом, когда я спросил про губернаторских коз.

— А если вы нам купите козу, — сказал главный охотник, — мы ее тоже убьем и съедим.

— Хорошая идея, — сказал я полицейскому. — Давайте купим им козу.

Мы перешли через ближайший вади и подошли к скотоводу, который поил там свой скот. Я заплатил чуть больше, чем он запросил за годовалого козленка, и охотник повел его к лагерю. Булькающий звук, раздавшийся из-за куста, возвестил о том, что его жизнь оборвалась и что на ужин будет мясо.

Женщины смеялись, отбивали тамтам на старых жестяных тазах и пели нежную воркочущую песню, благодарившую иноземца, подарившего им мясо.

Известна одна история про мавританского эмира, который, сведенный с ума улыбкой женщины-немади, похитил ее, нарядил в шелка — и с тех пор ни разу не видел ее улыбки до того дня, когда она сквозь решетку своей темницы не заметила мужчину-немади, который шел по базару. Надо воздать эмиру должное: он отпустил ее.

Так в чем же, спросил я у женщин, секрет их знаменитой улыбки?

— Мясо! — весело воскликнули они, все, как одна, обнажив белые зубы. — Это мясо дарит нам такие красивые улыбки. Мы жуем мясо — и обязательно улыбаемся.

В маленькой белой палатке, сшитой из полосок суданского хлопка, жила старуха с двумя собаками и кошкой. Звали ее Лемина. Она была очень старой еще в ту пору, когда сюда приезжал швейцарец, а было это двадцать лет назад. Полицейский сказал, что ей больше ста лет.

Высокая и прямая, в синих одеждах, она прошла между колючими кустарниками к предмету всеобщих восторгов.

Махфульд поднялся, чтобы поздороваться с ней. Старуха была глухой и немой. Они стояли на фоне темнеющего неба и жестикулировали, изъясняясь на языке знаков. Кожа у старухи была белая, как бумажная салфетка. Глаза под капюшонами век были мутными. Улыбнувшись, она воздела морщинистые руки в мою сторону и издала какую-то длинную птичью трель.

Ее улыбка продолжалась добрых три минуты. Потом она повернулась, сорвала веточку акации и пошла обратно в свою палатку.

Среди этих светлокожих людей негр смотрелся диковинкой. Я поинтересовался, как он к ним попал.

— Он был одинок, — ответил Махфульд. — Вот он и прибился к нам.

Тогда полицейский объяснил мне, что чужой

мужчина может пристать к немади, а вот женщина — никогда. И все же, поскольку их численность так мала, а ни один уважающий себя чужак не станет навлекать на себя позор, беря жену из «низших», то их женщины всегда выискивают «свежую белую кровь».

Одна из молодых матерей, серьезная и миловидная молодая женщина в синем капюшоне, кормила грудью младенца. Эта была жена охотника. На вид ей можно было дать лет двадцать пять; однако, когда я упомянул имя швейцарского этнографа, ее муж улыбнулся и, указав рукой на жену, сказал: «У нас и от него есть один».

Он отложил свои плотницкие принадлежности и свистнул куда-то в сторону второго лагеря. Через минуту-другую из-за кустов появился гибкий юноша с бронзовой кожей и мерцающими зелеными глазами. В руке у него было копье, а возле ног — две собаки. На нем был только кожаный набедренный лоскут. Его светло-рыжеватые волосы были острижены, образуя нечто вроде петушиного гребня. Завидев европейца, он сразу опустил веки.

Он молча уселся между матерью и приемным отцом. Их можно было бы принять за Святое Семейство.

Когда я закончил свой рассказ, Аркадий не стал делать никаких замечаний, просто встал и сказал:

— Нам пора ехать.

Мы зарыли в землю мусор и пошли обратно к машине.

— Может, тебе это покажется глупым, — сказал я, пытаясь добиться от него хоть какой-то реакции, — но я до сих пор живу с улыбкой той старухи.

Эта улыбка, сказал я, стала для меня словно весточкой из Золотого Века. Она научила меня начисто отвергать любые попытки доказать, что человек гадок по природе. Мысль о возвращении к «первобытной простоте» ничуть не наивна, не антинаучна и не оторвана от действительности.

— Отречение, — подытожил я, — даже сейчас может принести плоды. Еще не поздно.

— С этим я согласен, — сказал Аркадий. — Если у мира вообще есть будущее, то это будущее аскетическое.

26

В полицейском участке в Попанджи две девушки-аборигенки в грязных платьях в цветочек стояли у конторки и приносили клятвы перед ответственным чиновником. Чтобы они могли подать прошение о социальном пособии, нужна была его официальная печать. Их приход оторвал его от упражнений со штангой.

Он взял руку более высокой девушки и положил ее на Библию.

— Вот так, — сказал он. — А теперь повторяй за мной. Я, Рози…

— Я, Рози…

— Клянусь Всемогущим Богом…

— Клянусь Всемогущим Богом…

— Достаточно, — сказал он. — Теперь ты, Мёртл.

Полицейский потянулся за рукой второй девушки, но та скривилась и выдернула ее.

— Давай, милочка, — сказал он вкрадчивым голосом. — Нечего изображать недотрогу!

— Ну, давай, Мёртл, — сказала ее сестра.

Но Мёртл яростно мотала головой и держала

руки за спиной, крепко сцепив их. Потом Рози удалось разжать указательный палец сестры и пригнуть его к переплету Библии.

— Я, Мёртл… — подсказал полицейский.

— Я, Мёртл… — повторила она таким голосом, как будто эти слова душили ее.

— Ладно, — сказал он. — Хватит.

Он шлепнул печати на их бланки с заявлениями и поставил на каждой печати свою размашистую подпись. За ним на стене висели портреты королевы и герцога Эдинбургского. Мёртл, посасывая большой палец, вытаращила глаза на бриллианты королевы.

— Ну, чего тебе еще надо? — спросил полицейский.

— Ничего, — ответила Рози за сестру.

Девушки убежали, проскакав мимо флагштока по мокрому от дождя газону. Дождь лил весь день. Они зашлепали по лужам в сторону мальчишек, гонявших футбольный мяч.

Полицейский был коротышкой с красным лицом, коротковатыми ногами и почти неправдоподобно могучими мускулами. С него градом струился пот, а морковно-рыжего цвета кудри липли ко лбу. На нем было короткое льдисто-голубого цвета трико с атласным отливом. Грудные

мышцы были на столько массивными, что майку распирало, и по бокам от лямок торчали соски.

— Привет, Арк, — поздоровался он.

— Ред, — сказал Аркадий, — познакомься с моим другом Брюсом.

— Рад познакомиться, Брюс, — сказал Ред.

Мы стояли у окна из листового стекла и глядели на пустой горизонт. Земля была залита водой, она затопила несколько аборигенских лачуг сантиметров на тридцать или выше. Жители этих домов забросили все свои пожитки на крыши. В воде плавал мусор.

Неподалеку, чуть к западу, стояло старое двухэтажное здание — дом прежнего управляющего, который теперь был отведен под нужды общины. Крыша была на месте, полы и очаги — тоже. Но стены, оконные рамы и лестницы давно были изрублены на дрова.

Мы посмотрели сквозь этот «рентгеновский» остов дома на желтый закат. И на нижнем, и на верхнем этажах виднелись темные фигуры, сидевшие в кругу и гревшиеся вокруг дымного костра.

— Им начхать на стены! — сказал Ред. — Но любят, когда есть крыша от дождя.

Аркадий рассказал ему, что мы едем в Каллен.

— Небольшая размолвка между Титусом и людьми Амадеуса.

— Да, — кивнул Ред. — Я кое-что слышал.

— А кто этот Титус? — спросил я.

— Увидишь, — сказал Аркадий. — Увидишь.

— Я сам туда на следующей неделе поеду, — сказал Ред. — Мне нужно съездить туда поискать грейдер.

Кларенс Джапальджаррайи, калленский председатель, занял в Попанджи грейдер, чтобы проложить дорогу от поселения до водоема.

— Это было почти девять месяцев назад, — сказал Ред. — А теперь этот хрен моржовый говорит, что потерял его.

— Потерял грейдер? — расхохотался Аркадий. — Господи, как же можно потерять грейдер?

— Ну, если кто-то и способен потерять грейдер, — сказал Ред, — так это Кларенс.

Аркадий спросил, какая дальше дорога. Ред потеребил пряжку своего пояса-бандажа.

— Все будет в порядке, — сказал он. — В четверг Коротышка Джонс чуть не увяз там в сильную грозу. Но Рольф с Уэнди проезжали по этой дороге вчера, а сегодня прислали радиограмму о том, что доехали благополучно.

Он неловко переминался с ноги на ногу. Видно

было, что ему не терпится вернуться к своим штангам.

— Последний вопрос, — сказал Аркадий. — Ты не видел старика Стэна Тджакамарру? Мы хотели захватить его с собой. Он в неплохих отношениях с Титусом.

— Кажется, Стэн отправился в Обход, — ответил Ред. — Они там целую неделю обряды совершали. Тут был настоящий кавардак. Ты лучше у Лидии спроси.

Лидия была одним из здешних школьных учителей. Мы отправляли ей радиограмму, предупреждая о своем приезде.

— До скорого, — сказал Ред. — Она сегодня еду готовит.

Полицейский участок в Попанджи размещался в низком бетонном здании, поделенном на три равные части: в одной было государственное учреждение, во второй — квартира для полицейского, а в третьей — комната, где Ред толкал штангу. Во дворе позади здания находилась тюрьма.

В зале для спортивных занятий было окно во всю стену, а сами штанги были того же ядовито-голубого цвета, что и трико Реда. Мы увидели, как он вошел. Он лег на скамью для жима и схва-

тился за перекладину. Один маленький мальчик свистнул своим товарищам, и те, бросив мяч, помчались голыми к окну и принялись орать, делать смешные рожицы и расплющивать носы об стекло.

— Одно из редких зрелищ на Территории, — сказал Аркадий.

— Да уж, — согласился я.

— Он неплохой малый, этот Ред, — продолжал он. — Ну, немножко любит дисциплину. На языках аранда и пинтупи он говорит не хуже туземцев. По правде говоря, он немного чокнутый. Угадай-ка с первого раза, какая у него любимая книга.

— Даже представить себе не могу.

— Ну, угадай!

— «Пособие для качков»?

— Холодно.

— Ну, сдаюсь.

— «Этика» Спинозы.

27

Лидию мы нашли в школьном классе, где она пыталась восстановить подобие порядка: тетради, банки с красками, пластмассовые алфавиты, книжки с картинками были разбросаны по партам или валялись на полу, растоптанные грязными ногами. Она подошла к двери.

— О Господи! — воскликнула она. — Ну что мне делать?

Это была умная, одаренная женщина лет сорока с небольшим — разведенка с двумя сыновьями. Ее седоватые волосы были пострижены челкой, из-под которой спокойно смотрели карие глаза.

Она была так умна и настолько привыкла подниматься выше любой неприятности, что просто отказывалась признаваться — и себе, и другим, — что нервы ее на грани истощения и срыва.

Во время урока она вышла из класса, чтобы ответить на звонок матери из Мельбурна: та заболела. Когда Лидия вернулась, то оказалось, что ребятишки запустили руки в банку с зеленой краской и размазывали ее по стенам.

— Хорошо еще, на этот раз они не нагадили на

парты, — вздохнула она. — Бывало и такое!

Ее сыновья, Ники и Дэвид, играли своими чернокожими друзьями в школьном дворе. В одних трусах, перепачканные с ног до головы, они раскачивались, как обезьянки, на надземных корнях фигового дерева. Ники, вне себя от возбуждения, кричал матери непристойности и высовывал язык.

— Я тебя утоплю, — крикнула она ему в ответ.

Стоя в дверях, она вытянула руки вперед, словно для того, чтобы не дать нам войти, а потом сказала:

— Входите же. Входите. Я сама не своя.

Она остановилась посреди класса: хаос будто парализовал ее.

— Давайте устроим костер, — предложила она. — Единственное, что можно придумать, — запалить костер и все это сжечь.

— Сжечь, а потом начинать все сначала.

Аркадий принялся утешать ее, говоря с теми гулкими русскими интонациями, которые он обычно приберегал для женщин, когда нужно было их успокаивать. Потом Лидия подвела нас к листу фибрового картона, к которому были пришпилены рисунки ее учеников.

— Мальчишки рисуют лошадей и вертолеты, —

сказала она.

— Но чтобы они хоть раз нарисовали дом? Никогда! Только девочки рисуют дома… и цветы.

— Любопытно, — сказал Аркадий.

— Вы на эти поглядите, — улыбнулась Лидия. — Забавно, правда?

Это была пара рисунков пастелью: на одном изображалось Чудище-Эму со свирепыми когтями и клювом. Другой изображал волосатого «Обезьяночеловека» с полной пастью клыков и сверкающими желтыми глазами, похожими на автомобильные фары.

— А где Грэм? — неожиданно спросил Аркадий.

Грэм был помощником Лидии. Это был тот самый юноша, с которым я столкнулся в Эллисе, когда выходил из мотеля.

— Ой, даже не говори мне про Грэма! — содрогнулась Лидия. — Я знать ничего не хочу про Грэма. Если еще кто-нибудь опять произнесет имя «Грэм», я за себя не ручаюсь.

Она сделала очередную отчаянную попытку навести чистоту на одной из парт, но потом остановилась и сделала глубокий вдох.

— Нет, — сказала она. — Бесполезно! Лучше я завтра утром этим займусь.

Она заперла двери, кликнула своих мальчишек и заставила их надеть футболки с «Космическими Пришельцами». Ноги у них были босые. Они неохотно поплелись за нами следом, но по дороге росло столько колючек, а на земле валялось столько битого стекла, что мы решили понести ребят на закорках.

Мы прошли мимо лютеранской часовни, уже три года как заколоченной. Потом прошли мимо Общинного центра — металлического синеватого ангара. Снаружи на нем была нарисована карикатурная процессия медовых муравьев. Изнутри доносились звуки музыки «кантри-энд-вестерн». Евангелическое собрание было в самом разгаре. Я спустил Дэвида на землю и заглянул в ангар.

На сцене стоял бледный абориген-полукровка в тугих белых брюках клеш и блестящей алой рубашке. Косматую грудь украшали золотые цепи. Арбузное брюшко смотрелось на нем совсем неуместно, будто его прилепили по ошибке. Проповедник раскачивался на высоких каблуках, всячески старался «завести» довольно сварливого вида паству.

— О-кей, — мурлыкал он. — Ну давайте же! Давайте все вместе! Давайте пропоем хвалу Иисусу!

На экране для слайдов строчка за строчкой появлялись слова песни-молитвы:

Иисус — это сладкое имя пою
Сладок он сам, будто мед по устам
Потому я его так люблю…

— Ну, теперь видишь, — сказал Аркадий, — с чем приходится соперничать некоторым из нас.

— Какая пошлость, сказал я.

Лидия с сыновьями жила в обшарпанном сборном доме из трех комнат, который стоял в тени железного дерева. Она бросила портфель на кресло.

— А теперь, — вздохнула она, — мне еще предстоит встреча с кухонной раковиной.

— Нет, давай мы с ней встретимся, — возразил Аркадий. — А ты пока отдохнешь, полежишь.

Он сбросил игрушки с тахты и подвел к ней Лидию. На кухне громоздилась грязная посуда, накопившаяся за три дня, и всюду ползали муравьи. Мы отскребли жир от алюминиевых кастрюль и вскипятили чайник. Я нарезал мясо и лук для жаркого. За вторым чайником чая Лидия пришла в себя и начала очень разумно рассказывать о Грэме.

Грэм приехал в Попанджи сразу после педагоги-

ческого колледжа в Канберре. Ему было двадцать два года. Он был невинен и нетерпим, у него была совершенно обезоруживающая улыбка. Впрочем, он мгновенно делался невыносимым, если кто-то называл его «ангелом».

Грэм жил музыкой, а ребята-пинтупи — прирожденные музыканты. Почти первое, что он сделал, приехав сюда, — основал Оркестр Попанджи. Он умыкнул звуковую аппаратуру с умирающей радиостанции в Алис. Репетировали они в бывшем кабинете хирурга, где до сих пор в неприкосновенности сохранились все электрические провода.

Сам Грэм был барабанщиком. Было двое гитаристов — сыновья Альберта Тджакамарры. Клавишником был толстяк, называвший себя «Дэнни-Кенгуру». Вокалистом — и звездой — был худой, как плеть, шестнадцатилетний мальчишка, Мик «Длинные Пальцы».

Мик носил растаманские косички и был потрясающим имитатором. Минут пять посмотрев видеозапись, он запросто «косил» под Боба Марли, Хендрикса или Заппу. Но самое классное зрелище получалось, когда он закатывал свои сладкие, как сироп, глаза, растягивал свой огромный, пухлый рот в улыбку — и «превращался» в

своего тезку, самого Джаггера.

Путешествуя и ночуя в Грэмовом фургоне-«фольксвагене», оркестр разъезжал с концертами по поселениям от Юэндуму до Эрнабеллы и наведывался даже в такую даль, как Балго.

Они исполняли погребальную песнь о полицейских расстрелах, которая называлась «Баллада о Бэрроу-Крик». У них был оптимистичный номер, называвшийся «Або-Раста», и другой, еще более жизнеутверждающий, направленный против нюханья бензина. Они выпустили кассету, затем семидюймовую пластинку, а потом записали хит.

«Дедова Страна» стала главной песней движения «аутстейшн». Тема ее была вечной: «На запад, парень! На запад!» Подальше от городов и правительственных лагерей. Подальше от алкоголя, клея, гашиша, героина, тюрьмы. Прочь, на простор!

Назад в пустыню, откуда прогнали деда. Рефрен «Людские толпы… Людские толпы…» имел немного литургическое звучание, почти как «Хлеб небесный… Хлеб небесный», — и приводил публику в неистовство. На рок-фестивале в Алис, когда они исполняли эту песню, белобородые старики-аборигены прыгали и скакали вместе с

малыми детьми.

Промоутер из Сиднея отвел Грэма в сторонку и стал соблазнять его трепом о шоу-бизнесе.

Грэм вернулся к своей работе в Попанджи, но мыслями, похоже, он был не там. Ему представлялось, как его музыка обойдет всю Австралию и весь остальной мир. Он мечтал сняться в главной роли в «дорожном фильме». Вскоре он уже читал Лидии лекции о доходах агентов, о правах на звукозапись и правах на киносъемку. Она выслушивала его молча, с дурными предчувствиями.

Она ревновала — и была слишком честна, чтобы в этом не признаться. Она по-матерински заботилась о Грэме, кормила его, ставила заплаты на его джинсы, наводила порядок у него в доме и выслушивала его пламенные идеалистические речи.

Что ей нравилось в нем больше всего — это его серьезность. Он был человеком дела — в отличие от ее бывшего мужа, который вначале собирался «работать во благо аборигенов», а потом сбежал в Бондай. А чего она больше всего боялась — это того, что Грэм тоже уедет.

То, что она была одинокой, бездомной и безденежной женщиной, которой нужно воспитывать двоих мальчишек, все время боясь, что прави-

тельство урежет фонды и ее уволят, — всё это переставало иметь значение, когда рядом был Грэм.

Боялась она и за самого Грэма. Иногда он пропадал на много дней, вместе со своими черными друзьями «уходя в буш». Она никогда не выспрашивала у него подробностей, но подозревала — как раньше подозревала своего мужа в употреблении героина, — что Грэм впутался в аборигенские «дела».

Наконец он сам не выдержал и во всем признался. Он описывал песни и пляски, кровопускание и священные рисунки.

Он рассказал ей, как его разукрасили с ног до головы белыми и охряными полосками.

Она предупреждала его, что дружба аборигенов никогда не бывает «чистой». Они ведь всегда смотрят на белых как на «средство». Раз он стал «одним из них», ему придется делиться с ними всем.

— Они отберут у тебя «фольксваген», — сказала ему она.

Он повернулся к ней с насмешливо-презрительной улыбкой и ответил:

— Думаешь, я расстроюсь?

Другие страхи она держала при себе. Она опа-

салась, что, раз ты повязан, то повязан навсегда: неважно, вступил ли ты в тайное общество или в шпионскую организацию, — отныне за каждым твоим шагом будут наблюдать. В Гроте Эйландте — месте, где она работала до этого, — она знала одного молодого антрополога, которого посвятили в обрядовые тайны. Потом, когда он опубликовал эти тайны в своей диссертации, его стали преследовать мигрени и депрессии — и он смог жить лишь за пределами Австралии.

Лидия уговаривала себя не верить всяким историям про обречение смерти «указанием костью» и про колдунов, которые песнями навлекают на человека погибель. Однако у нее была мысль, что аборигены с их устрашающим бездействием, тем не менее держат Австралию за глотку. Была какая-то жуткая сила в этих с виду пассивных людях, которые простое сидели, наблюдали, ждали и манипулировали чувством вины белого человека.

Однажды, после того как Грэм отсутствовал целую неделю, она спросила его напрямую:

— Так ты хочешь учить — или не хочешь?

Он сложил руки.

— Хочу. Да, — ответил он с невероятным нахальством. — Но не в школе, которой заправляют

расисты.

Она раскрыла рот от изумления, хотела уже заткнуть уши, но он неумолимо продолжал говорить. Образовательная программа, заявил он, систематически стремится уничтожить культуру аборигенов и силком затащить их в рыночную систему. Что нужно аборигенам — это земля, земля и снова земля, — ступать на которую не имеет права ни один европеец.

Он разглагольствовал еще долго. Лидия почувствовала, как ответ уже вертится у нее на языке. Она понимала, что не следует произносить этих слов, но они сорвались непроизвольно:

— В Южной Африке всему этому уже придумали название — апартеид!

Грэм вышел из ее дома. С того дня разрыв был полным. Теперь непрерывный *«бам-бам»*, долетавший по вечерам оттуда, где репетировал оркестр, казался ей чем-то грозным и зловещим.

Она могла бы доложить о его поведении начальству. Она могла бы сделать так, чтобы его уволили. Вместо этого она взвалила на себя всю его работу и сама повела оба класса. Иногда, приходя в класс, она видела на доске выведенные мелом слова: «Лидия + Грэм = любовь».

Однажды рано утром, глядя, как солнечный

свет растекается по простыне, из прихожей вдруг донесся голос Грэма. Он смеялся с Ники и Дэвидом. Лидия закрыла глаза, улыбнулась и снова задремала.

Потом она услышала, как он гремит посудой на кухне. Он вошел к ней с чашкой чая, уселся на краешек кровати и выложил новость.

— Успех! — сообщил он.

«Дедова Страна» заняла третье место в национальном хит-параде. Их приглашали выступать в Сиднее, в «The Place». Их имена будут напечатаны крупными буквами на афишах, все перелеты и проживание в гостинице будут оплачены.

— О! — удивилась она и снова откинула голову на подушку.

— Я за тебя рада. Ты заслужил. Правда, заслужил. На все сто.

Грэм согласился выступить на первом концерте в Сиднее 15 февраля — и, торопясь подписать контракт, не подумал как следует.

Он забыл — или сделал вид, что забыл, — что в феврале начинаются дожди и что февраль — это месяц инициаций. Он забыл о том, что его друг Мик должен был пройти обряд посвящения в клан бандикутов. И у него совершенно вылетело из головы, что он, Грэм, в момент бравады согла-

сился пройти посвящение вместе с Миком.

Обряды инициации во всем мире представляют собой символическую битву, в которой юноша — дабы доказать свою мужественность и «пригодность» к браку — должен обнажить свои половые органы, подставив их челюстям кровожадного людоеда. Нож человека, совершающего обрезание, заменяет собой клык этого хищного чудовища. У аборигенов Австралии ритуалы, связанные с достижением половой зрелости, включают в себя также «укус в голову»: старейшины глодают черепа юношей или колют их заостренными наконечниками. Иногда юноши сами выдирают себе ногти и потом приклеивают их на место собственной кровью.

Обряд совершается втайне, в месте Сновидения, вдали от посторонних глаз. После него, на сборище, которое из-за боли делается незабываемым, в головы посвященных-новичков вдалбливают строки священных песен; новички все это время сидят, скорчившись, над тлеющими углями сандалового дерева. Считается, что дым от сандалового дерева оказывает анестезирующее действие, помогая ранам быстрее заживать.

Если юноша откладывает обряд посвящения, он рискует оказаться в безжизненном, бесполом

«лимбе»: вовсе отказаться от него было до недавних пор делом неслыханным. Все действо может тянуться неделями, если не месяцами.

Лидия не вполне четко представляла себе, что происходило дальше. Грэм, по всей видимости, сходил с ума от тревоги, боясь, что они пропустят первый концерт; Мик же закатил ему страшный скандал, обвиняя Грэма в предательстве.

Наконец все пришли к компромиссу: Грэм подвергнется только символическим «надрезам», а Мику будет позволено сократить период изоляции. Он будет возвращаться в Попанджи, чтобы репетировать с оркестром, но каждый день будет проводить по нескольку часов со старейшинами, на сходках. Кроме того, он обещал не уезжать раньше чем за два дня до концерта.

Поначалу все шло как по маслу, и 7 февраля, как только Мик снова смог ходить, они с Грэмом возвратились в поселение. Погода была сырой и знойной, но Мик все-таки репетировал в облегающих синих джинсах. В ночь на 9 февраля он проснулся от кошмара и обнаружил, что рана чудовищно загноилась.

Вот тогда Грэм запаниковал. Он погрузил всю звуковую аппаратуру и всех музыкантов в свой «фольксваген» и до зари укатил в Алис.

Наутро Лидия, проснувшись, увидела, что ее дом осаждает разъяренная толпа. Аборигены обвиняли ее в том, что она укрыла беглецов или помогла улизнуть; некоторые потрясали копьями. Преследователи, отправившиеся в погоню за Миком, набились в два вагона. Я сообщил Лидии, что видел Грэма, более или менее невменяемого, рядом с мотелем.

— Ну, что еще остается, — сказала она, — как не видеть во всем этом смешную сторону?

28

В восемь мы уже снова ехали по дороге, под покровом низко нависшей тучи. Дорога неслась вперед двумя параллельными колеями, полными красноватой воды. Кое-где нам приходилось проезжать по огромным лужам, из которых островками торчали низкие кустарники. Перед нами летел большой баклан, молотя по поверхности воды крыльями. Мы проехали через место, поросшее дубами пустыни, которые являются разновидностью казуарины и больше похожи на кактусы, чем на дубы. Они тоже стояли в воде. Аркадий заметил, что ехать дальше — безумие, но мы продолжали ехать. Грязная вода хлюпала уже внутри машины. Я стискивал зубы всякий раз, как колеса начинали буксовать, но потом мы снова вырывались вперед.

— Вот так я однажды чуть не утонул, — сказал я, — в ливневом паводке в Сахаре.

Около полудня мы заметили грузовик Коротышки Джонса. Он возвращался из Каллена, куда отвозил запас продовольствия на неделю.

Он затормозил и высунулся из кабины.

— Привет, Арк! — поздоровался он. — Хочешь глоточек виски?

— Не откажусь.

Он передал бутылку. Мы сделали по паре глотков и вернули ему бутылку.

— Я слышал, ты едешь с Титусом встречаться?

— Да.

— Удачи тебе.

— Он на месте, я надеюсь?

— На месте, на месте, не волнуйся.

Коротышка Джонс был седоватым зеленоглазым человеком с чудовищными бицепсами и «легкой чернинкой». На нем была рубашка из красной шотландки. Левая половина его лица представляла собой сплошной желтый рубец. На трейлере он вез караван, который отправляли для модернизации в Алис. Он вышел, чтобы проверить прочность веревок. Ноги у него были необыкновенно короткими — ему пришлось повиснуть на одной руке, спускаясь из кабины, прежде чем мягко приземлиться.

— Удачной вам высадки, — помахал он нам. — Худшее вы уже проехали.

Мы двинулись дальше по какому-то безбрежному озеру.

— А что у него с лицом? — спросил я.

— Его укусил коричневый король, — ответил Аркадий. — Года четыре назад. Он спустился поменять колесо, а вокруг шпинделя свернулась эта гадина. Он выжил, но вокруг раны начался рак.

— О Боже! — сказал я.

— Коротышка просто так не сдается!

Через пару часов мы увидели стадо верблюдов, которые мокли под ливнем, а потом сквозь туман мы начали различать круглую выпуклость горы Каллен, возвышавшуюся над равниной. Когда мы подъехали ближе, гора из серой сделалась багряной: такой оттенок принял промокший красный песчаник. Через милю-другую показался эскарп из вертикально торчащих многогранных утесов, которые с одного конца поднимались в виде пика, а потом, к северу, постепенно сходили на нет.

— Это, — сказал мне Аркадий, — гора Либлер.

В седловине между этими двумя горами и находилось поселение Каллен.

Мы проехали вдоль полевого аэродрома, мимо караванов белых советников, и подъехали к зданию из оцинкованного листа. Рядом стоял бензонасос. Солнце уже вышло из-за туч, сделалось жарко и липко. Свора псов грызлась из-за груды отбросов. Кругом не было видно ни души.

Среди буша было разбросано несколько лачуг,

но большинство пинтупи предпочитало жить в ветроломах колючек. Кое-где сушилось белье.

— И кто бы мог подумать, — сказал Аркадий, — что это — процветающая община с населением в четыреста душ?

— Что-то не похоже, — сказал я.

Магазин был заперт.

— Лучше пойдем разыщем Рольфа.

— А кто этот Рольф?

— Рольф Нихарт, — сказал он. — Сам увидишь.

Он направил «лендкрузер» к каравану, стоявшему за деревьями. В сарае поблизости урчал генератор. Аркадий обошел лужи и постучал в дверь.

— Рольф! — позвал он.

— Кто там? — отозвался какой-то сонный голос.

— Арк!

— А! Великий Благодетель собственной персоной!

— Ну, хватит.

— Твой покорный слуга.

— Открывай.

— Одетым или раздетым?

— Одетым! Маленькое чудовище.

Покопавшись несколько минут, Рольф показал-

ся на пороге каравана: безукоризненно чистый и опрятный, будто только что с пляжа в Сен-Тропе, в обрезанных джинсах и полосатой блузе французского моряка. Он был миниатюрного сложения, росту в нем было не больше метра сорока пяти. Нос у него был с заметной горбинкой, но поразительнее всего был цвет глаз — однородно-янтарный, золотисто-песочный янтарный; сами глаза спокойные и насмешливые; прическа en brosse [13], очень французская; кожа — загорелая, блестящая, без единой морщинки, без единого прыщика или пятнышка. А когда он раскрыл рот, то обнажился ряд сверкающих треугольных зубов, как у молодой акулы.

Это был управляющий магазином.

— Входите, — сказал он церемонно.

Внутри каравана было негде повернуться из-за книг: это были в основном романы, стоявшие на полках и лежавшие стопками на полу; в твердых и мягких переплетах; английские и американские романы; романы на французском и немецком языках; переводы с чешского, испанского, русского; нераспечатанные свертки из книжной лавки «Тотем»; кипы номеров Nouvelle

---

[13] Примечания: 13
Ежиком (*фр.*) — *Прим. перев.*

Revue Framaise и New York Review; литературные журналы; журналы, посвященные переводной литературе, досье, папки, картотеки…

— Садитесь! — сказал Рольф, как будто было куда садиться. Когда мы наконец расчистили для себя место, Рольф налил нам по чашке кофе из кофеварки эспрессо, закурил «голуаз» и начал отрывистыми, рублеными фразами ругать всю современную художественную литературу. Одно за другим крупные имена падали на плаху этого литературного палача, он немного забавлялся с ними, а потом казнил одним-единственным слогом: «Дрянь!»

Американцы — «зануды». Австралийцы «инфантильны». Латиноамериканцы «выдохлись». Лондон — «помойная яма», Париж ничуть не лучше. Единственное место, где пишутся мало-мальски приличные книги, — это Восточная Европа.

— При условии, — пригвоздил он, — что они сидят там! Затем он стал изливать свой яд на издателей и литагентов.

Наконец Аркадий не выдержал.

— Послушай, маленькое чудовище. Мы очень устали.

— Да, вид у вас усталый, — согласился Рольф. —

И грязный.

— Где мы будем ночевать?

— В симпатичном караване с кондиционером.

— В чьем караване?

— Предоставленном в ваше распоряжение калленской общиной. С чистым постельным бельем, прохладительными напитками в холодильнике…

— Я спросил — чей это караван?

— Гленов, — ответил тот. — Глен туда еще не въехал. Глен был общинным советником.

— А где сам Глен?

— В Канберре, — ответил Рольф. — На конференции. Тупица! Он выскочил из каравана, прыгнул в «лендкрузер» и направился к новехонькому, весело раскрашенному каравану, стоявшему в сотне ярдов поодаль. Под веткой эвкалипта-призрака была устроена полотняная душевая кабина с насосом, под которой стояли две емкости с водой.

Рольф приподнял крышку и опустил туда палец.

— Еще теплая, — сказал он. — Мы ждали вас раньше.

Он вручил Аркадию ключ. Внутри каравана были приготовлены полотенца, мыло, простыни.

— Ну, располагайтесь, — сказал Рольф. — Потом загляните ко мне в магазин. Мы закрываемся в пять.

— А как Уэнди? — спросил Аркадий.

— Влюблена в меня, — ухмыльнулся Рольф.

— Обезьяна!

Аркадий занес кулак, словно собираясь двинуть ему, но Рольф уже соскочил вниз по ступенькам и несся прочь, легкомысленно перепрыгивая кусты.

— Кто это? Объясни-ка мне, — попросил я Аркадия.

— Я всегда говорю людям: Австралия — страна чудес, — сказал тот.

— Во-первых, сколько ему лет? — настаивал я.

— Может, девять, а может, девяносто.

Мы приняли душ, переоделись, улеглись отдыхать, и тогда Аркадий вкратце рассказал все, что он знал о Рольфе.

Со стороны отца он вел свой род от немцев из долины Баросса — от восьми поколений пруссаков, солидных лютеран с солидными деньгами, которые представляли собой наиболее крепко укорененную белую общину в Австралии. Матерью его была француженка, которая оказалась в Аделаиде во время войны. Рольф был «три-

лингвом» — с детства говорил по-английски, по-немецки и по-французски. Он получил грант и отправился учиться в Сорбонне. Он написал диссертацию по структурной лингвистике, а позже работал «культурным корреспондентом» в сиднейской газете.

И опыт этой работы привил ему такую ненависть к прессе, к хозяевам прессы и к средствам массовой информации в целом, что когда его подруга Уэнди предложила ему вместе затеряться в глуши, в Каллене, то он согласился при одном условии: у него будет сколько угодно времени для чтения.

— А Уэнди? — спросил я.

— О, она серьезный лингвист. Она собирает материал для словаря пинтупи.

К концу первого года жизни в Каллене, продолжал Аркадий, Рольф уже дочитался до одурения, и тут подвернулась вакансия заведующего местным магазином.

Предыдущий заведующий, еще один псих по имени Брюс, сочтя себя аборигеннее самих аборигенов, совершил роковую ошибку — затеял ссору с раздражительным стариком по имени Уолли Тджангапати, и бумеранг Уолли раскроил ему череп.

К сожалению, одна щепка дерева мульги, толщиной с иголку или даже тоньше, ускользнула от глаз рентгенолога в Алис-Спринте и проникла в мозг Брюса.

— Это затронуло, — сказал Аркадий, — не только речевые, но и нижние телесные функции.

— А почему Рольф согласился на эту работу?

— Из упрямства, — ответил он.

— А чем он вообще занимается? — спросил я. — Он сам что-то пишет?

Аркадий нахмурился.

— Я бы на твоем месте его об этом не спрашивал, — сказал он. — Мне кажется, это больная тема. Думаю, издатели отвергли его роман.

После часовой сиесты мы прогулялись до медпункта, где находился радиотелефон. Эстрелья, медсестра-испанка, делала перевязку женщине, которую искусала собака. На крыше медпункта несколько оцинкованных листов наполовину оторвались и с грохотом болтались на ветру.

Аркадий спросил, не было ли каких-нибудь сообщений.

— Нет! — ответила Эстрелья, стараясь перекричать этот лязг. — Я ничего не слышу.

— Сообщения были? — повторил Аркадий, указывая на радио.

— Нет! Нет! Никаких сообщений!

— Первое, что я сделаю завтра утром, — сказал я, когда мы отошли подальше, — это приколочу крышу.

Мы направились к магазину.

Коротышка Джонс завез сюда целую партию бахчевых — канталуп и арбузов, — и поэтому человек пятьдесят сидели на корточках вокруг бензонасоса и поедали арбузы.

Собаки с отвращением воротили морды от арбузных корок.

Мы вошли в магазин.

Электричество в магазине замкнуло, поэтому покупатели шарили на полках на ощупь, в полумраке. Кто-то рылся в морозильнике. Кто-то просыпал муку из мешка. Ревел малыш, потерявший свой леденец, а молодая мамаша, у которой внутри красного джемпера болтался младенец, делала глотки из бутылки с томатным соусом.

«Безумный бумерангер» — сухопарый, безволосый мужчина с кольцами жира вокруг шеи, стоял перед кассой и сердито требовал наличных по своему благотворительному чеку.

Кассовых аппаратов было два: один — с ручным управлением, второй — электрический и, следовательно, вышедший из строя. За первым сидела

девушка-аборигенка, которая проворно и быстро выбивала чеки. За вторым, опустив голову, не замечая ни шума, ни вони, сидел Рольф.

Он читал.

Он поднял голову и сказал:

— А, вот и вы!

Он читал Пруста.

— Я собираюсь закрываться, — сообщил он. — Вам ничего не нужно? У нас отличная партия кокосового шампуня.

— Нет, нам ничего не нужно, — сказал я.

Если быть точнее, он приближался к концу нескончаемого званого обеда у герцогини Германтской. Его голова покачивалась из стороны в сторону, а глаза бегали по странице. Потом, с удовлетворением, сопутствующим одолению прустовского абзаца, он издал непроизвольное «А!», вложил закладку и захлопнул «плеядовское» издание.

Он вскочил на ноги.

— Вон! — крикнул он на покупателей. — Вон! Вон отсюда! Проваливайте!

Женщинам, которые уже стояли в очереди к кассе, он позволил сделать покупки. Всех остальных покупателей, даже «бумерангера», он стал сгонять к выходу. Молодая мамаша с жалобным

стоном пыталась оградить от него свою корзинку. Рольф был неумолим.

— Вон! — повторил он. — У вас был целый день. Приходите завтра, в девять утра.

Он выхватил у нее корзинку и поставил обратно на полки банки с консервированной ветчиной и ананасовым компотом. Наконец когда он вытолкал за дверь последнего посетителя, он показал на «эски», припрятанный за кассовым прилавком.

— Дефицитный товар, — сказал он. — Спасибо Коротышке Джонсу. Ну, давайте же, громилы. Помогите мне.

Он позволил нам с Аркадием донести контейнер к его каравану. Уэнди еще не пришла.

— Увидимся попозже, — кивнул он. — Ровно в восемь.

Еще пару часов мы читали, а ровно в восемь снова зашли и увидели, как Рольф с Уэнди жарят на углях курицу. В серебряной фольге пеклась сладкая картошка. Еще нас ждала зелень и Салат. И — вопреки действующим в поселении правилам — имелось четыре бутылки ледяного шабли из долины Баросса.

Как только я увидел Уэнди, я чуть не сказал: «Еще одна!» Еще одна из этих поразительных

австралийских женщин! Она была высокой, спокойной, серьезной и вместе с тем веселой. Ее золотые волосы были заплетены в косички. Она казалась менее импульсивной, чем Мэриан, но и менее взвинченной, более довольной своей работой, менее «выжатой».

— Я рада, что вы приехали, — сказала она. — Рольфу жизненно необходимо с кем-то поговорить.

29

Титус Тджилкамата, человек, ради встречи с которым ехал сюда Аркадий, жил километрах в сорока к юго-западу от поселения Каллен, в лачуге рядом с водоемом.

Очевидно, он пребывал в таком мрачном настроении, что Аркадий, который давно готовился к тяжкому испытанию, предложил мне остаться в Каллене, пока он один не «замерит температуру». Он заручился поддержкой «ассистента» Титуса, вкрадчивого человека с хромотой по прозвищу «Хромоножка». В девять часов они вдвоем сели в «лендкрузер» и отправились к Титусу.

День был очень жаркий и ветреный, и по небу неслись каракули перистых облаков. Я пошел к медпункту. Грохот от крыши стоял оглушительный.

— Ее уже один раз приколачивали, — прокричала мне Эстрелья. — Это стоило две тысячи долларов! Представь себе! — это была миниатюрная молодая женщина с очень забавным лицом.

Я взобрался наверх, чтобы осмотреть поломку. Работали здесь безнадежные халтурщики. Все

брусья и балки были прибиты вкривь и вкось: в весьма недалеком будущем все здание было обречено рухнуть.

Эстрелья послала меня к Дону, заведующему хозяйством, чтобы попросить у него молоток и кровельные гвозди.

— Тебя это не касается! — сказал он. — И меня тоже.

Крыша была делом рук какого-то «ломастера» из Алис.

— Это не уменьшает риска, — шутливо заметил ему я, — которому подвергается одна испанская монахиня-камикадзе. Или ребенок, которого кровельный лист просто разрежет пополам, если сорвется.

Дон неблагосклонно смягчился и выдал мне все имевшиеся у него гвозди. Я потратил пару часов на возню с крышей, а когда закончил работу, Эстрелья с одобрением улыбнулась.

— Ну, теперь я хотя бы слышу, как у меня мозги работают, сказала она.

Я вернул молоток Дону, а на обратном пути заглянул к Рольфу в магазин.

Неподалеку, укрывшись от ветра за кольцом из пустых бочек, компания мужчин и женщин играла в покер по очень высоким ставкам. Один

человек проиграл 1400 долларов и собирался проиграть еще больше. Обыгрывала его великанша в желтом свитере, которая шлепала картами о подстилку, оттопырив губы с алчным видом, какой бывает у женщин в казино.

Рольф все еще читал Пруста. Он уже оставил позади званый обед у герцогини Германтской и теперь следовал за бароном де Шарлю по улицам домой. Перед ним стоял термос с черным кофе, которым он поделился со мной.

— Тут есть один человек — тебе надо с ним познакомиться, — сказал он.

Он сунул какому-то мальчику ириску и велел ему привести Джошуа. Минут через десять в дверях показался среднего возраста мужчина с длиннющими ногами и коротковатым телом, с очень темной кожей и в черной ковбойской шляпе.

— А! — сказал Рольф. — Мистер Уэйн пожаловал.

— Босс! — ответил абориген со скрипучим американским акцентом.

— Слушай, старый хапуга. Это мой друг из Англии. Я хочу, чтобы ты рассказал ему про Сновидения.

— Босс! — повторил тот.

Джошуа был знаменитым пинтупийским «исполнителем», который умел устраивать потрясающие представления. Он выступал с ними и в Европе, и в США. Когда он в первый раз подлетал к Сиднею, то принял огни города за звезды — и спросил, почему самолет летит вверх ногами.

Я пошел за ним к его дому по извилистой тропинке, которая проходила среди колючек. Бедра у него отсутствовали, и штаны постоянно соскакивали, обнажая аккуратные мозолистые ягодицы.

«Дом» находился на самой высокой точке седловины между горой Каллен и горой Либлер. Он представлял собой выпотрошенный автомобиль-универсал, который Джошуа перевернул крышей вниз, чтобы можно было валяться в тени под капотом. Корпус машины был обернут черной полиэтиленовой пленкой. Из одного окна торчал целый пук охотничьих копий.

Мы уселись, скрестив ноги, на песке. Я спросил, не может ли он показать мне кое-какие местные Сновидения.

— Хо! Хо! — сипло закудахтал он. — Много Сновидений! Много!

— Ну, а кто… — спросил я, махнув рукой в сторону горы Либлер, — кто вон там?

— Хо! Хо! — ответил он. — Большой такой. Бы-

стрый. Перенти.

Перенти, или пестрый варан, — самая крупная ящерица в Австралии. Она достигает порой двух с половиной метров в длину, а скоростью может потягаться с лошадью.

Джошуа стал высовывать и втягивать язык, как ящерица, и, выгнув пальцы так, что они стали напоминать когти, по-крабьи запустил их в песок, чтобы изобразить, как передвигается перенти.

Я снова поглядел на хребет горы Либлер, и мне показалось, что я «узнаю» в формах скал плоскую, треугольную голову ящерицы, плечо, переднюю и заднюю лапы и хвост, полого снижающийся к северу.

— Да, — сказал я. — Теперь я его вижу. А откуда пришел сюда этот Человек-Перенти?

— Издалека, — ответил Джошуа. — Из далекой, далекой дали. Из Кимберли.

— А куда он идет?

Он воздел руку к югу:

— Туда, к тем людям.

Выяснив, что Песенная тропа Перенти проходит вдоль оси север-юг, я развернулся и показал на гору Каллен.

— Хорошо, — сказал я. — А это кто?

— Женщины, — прошептал Джошуа. — Две

женщины.

Он рассказал про то, как Две Женщины долго гнались за Перенти, наконец настигли его здесь и стали бить по голове палками-копалками. Но Перенти зарылся в землю и удрал от них. Яма на вершине горы Либлер, вроде метеоритной воронки, — это рана на его голове.

К югу от Каллена земля зеленела свежей травкой, выросшей после гроз. Там и сям из равнины торчали островками одинокие скалы.

— Скажи мне, Джошуа, а что это за скалы там?

Джошуа назвал их: Огонь, Паук, Ветер, Трава, Дикобраз, Змея, Старик, Двое Мужчин и какой-то непонятный зверь — «вроде собаки, только белый». Его собственный Предок, Дикобраз (или ехидна), пришел со стороны Арнемленда и прошел через Каллен дальше, к Калгурли.

Я снова взглянул на поселение, на металлические крыши и на вертящиеся крылья ветряного насоса.

— Значит, Дикобраз проходит вон там? — спросил я.

— Там, там, босс, — Джошуа улыбнулся. — В верную сторону смотришь.

Он начертил мне путь Дикобраза: через полевой аэродром, мимо школы и насоса, потом

вдоль подножья Утеса-Перенти, а оттуда он уже устремлялся вниз, на равнину.

— А можешь спеть мне песню про него? — спросил я. — Про то, как он сюда пришел?

Он оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что рядом никого нет, и пропел своим грудным голосом несколько куплетов песни про Дикобраза, отбивая ритм ногтем по куску картона.

— Спасибо, — поблагодарил его я.

— Босс!

— Расскажи мне еще что-нибудь, — попросил я.

— Тебе нравятся всякие истории, да?

— Нравятся.

— Ладно, босс! — он покачал головой из стороны в сторону.

— История про Большого Летуна.

— Стрекоза? — переспросил я.

— Больше.

— Птица?

— Больше.

Аборигены, когда рисуют на песке Песенную тропу, обычно чертят ряд линий с кружочками посередине. Сама линии изображает отрезок пути Предка (как правило, это столько, сколько он прошел за день). Каждый кружок — это «оста-

новка», «родник» или одна из стоянок Предка. Но эта история, истории про Большого Летуна, была выше моего понимания.

Все начиналось с нескольких прямых взмахов; затем начинался лабиринт с прямыми углами, который завершался рядом волнистых линий. Заканчивая чертить очередной отрезок, Джошуа выкрикивал по-английски рефрен: «Хо! Хо! У них там деньги!»

Наверное, в то утро я был настоящим тугодумом: мне понадобилось очень много времени, чтобы понять, что это Сновидение «Куантас». Однажды Джошуа летал в Лондон. «Лабиринт» изображал лондонский аэропорт (зал прибытия, медпункт, иммиграция, таможня), а потом поездку в город на метро. «Волнистые линии» представляли вилянье и повороты такси, которое везло его от станции метро до гостиницы.

В Лондоне Джошуа осмотрел все привычные достопримечательности — Тауэр, смену караула и так далее, — однако конечным пунктом его путешествия был Амстердам.

Идиограмма, изображавшая Амстердам, оказалась еще более запутанной. Это был круг. А вокруг него располагались четыре круга поменьше; и от каждого из этих кругов отходили провода,

тянувшиеся к прямоугольной коробке.

Наконец, очень медленно, до меня стало доходить, что эта нечто вроде конференции, «круглого стола», где Джошуа был одним из четырех участников. Остальными участниками — по часовой стрелке были «белый отец», «худой, красный» и «черный, толстый».

Я спросил, что это за «провода» — не микрофонные ли кабели? Джошуа энергично замотал головой. Про микрофоны он все знал. Микрофоны там тоже были — на столе.

— Нет! Нет! — прокричал он и показал пальцами на свои виски.

— Значит, электроды или что-то в этом роде?

— Ага! — прокудахтал он. — Дошло!

Картина, которую я составил себе из кусочков (не знаю даже, правдивая или ложная), представляла «научный» эксперимент, в ходе которого абориген пел о своем Сновидении, католический монах пел грегорианские хоралы, тибетский лама пел свои мантры, а африканец пел еще что-то свое. Все четверо пели до одурения, чтобы проверить, какое воздействие оказывают различные песенные стили на участки мозга, отвечающие за ритм.

Теперь, оглядываясь на этот эпизод своего про-

шлого, Джошуа так потешался над ним, что от смеха держался за живот.

Я тоже покатывался.

Так мы хохотали до одури, а потом еще долго валялись на песке, приходя в себя.

Я поднялся на ноги ослабевшим от смеха. Поблагодарил Джошуа и попрощался с ним.

Он усмехнулся.

— Не можешь купить мне выпивки? — пророкотал он с джон-уэйновским выговором.

— В Каллене — нет, — ответил я.

30

Аркадий вернулся под вечер, усталый и встревоженный. Он принял душ, записал что-то в блокнот и растянулся на койке. Визит к Титусу прошел неудачно. Вернее, не совсем так. Они с Титусом пообщались вполне по-дружески, но Титус рассказал ему удручающую историю.

Отец Титуса был пинтупи, мать — лоритья. Ему было сорок восемь или сорок семь лет. Родился он неподалеку от своей теперешней лачуги, но около 1942 года его родители, соблазнившись джемом, чаем и мукой белого человека, вышли из пустыни и нашли укрытие в лютеранской миссии на реке Хорн. Пасторы разглядели в Титусе ребенка с выдающимися умственными способностями и взялись за его обучение.

Вплоть до 1950-х годов лютеране заправляли своими школами в духе прусской академии — и Титус оказался идеальным учеником. От его школьных лет сохранились фотографии, на которых он сидит за партой: ровный пробор, серые фланелевые шорты и ботинки, вычищенные слюной. Он выучился бегло говорить по-английски и

по-немецки. Выучился счету. Овладел всевозможными техническими навыками. Выступив в роли молодого светского проповедника, он однажды поразил своих учителей, произнеся перед ними по-немецки речь о теологических последствия Вормского эдикта.

Дважды в год, в июне и в ноябре, он облачался в двубортный костюм, ехал на поезде в Аделаиду и проводил там несколько недель, чтобы быть в курсе современной жизни. В Публичной библиотеке он читал старые номера «Сайентифик Американ». Однажды он целый год изучал нефтехимическую технологию.

«Другой» Титус представлял собой ультраконсервативного песенника, который жил полуголым со своими иждивенцами и собаками; охотился с копьем и никогда — с ружьем; говорил на шести или семи туземных языках и славился по всей Западной пустыне своими толкованиями племенных законов.

Выносливость, необходимая для того, чтобы выступать в обеих этих ипостасях, была доказательством — если оно требовалось — его невероятной жизнеспособности.

Титус приветствовал Закон о земельном праве как возможность, дарованную его народу вер-

нуться к своей стране, — и как единственную надежду на избавление от алкоголизма. Он ненавидел деятельность добывающих компаний.

В рамках этого закона правительство сохраняло за собой право на все минералы, еще сокрытые под землей, и выдавало лицензии на разведочные работы. Однако компании, желавшие вести разработки на земле аборигенов, по крайней мере, были обязаны советоваться с «традиционными владельцами» и — если добыча ископаемых начиналась — выплачивать им «гонорар» за разработку недр.

Титус, взвесив все «за» и «против», пришел к выводу, что деньги от минералов — дурные деньги: дурные и для белых, и для черных. Это они развратили Австралию и внушили ей ложные ценности и ложные представления об уровне жизни. Когда какая-нибудь компания получала разрешение провести сейсмическое профилирование его территории, он выказывал ей свое презрение пассивным отказом от сотрудничества.

Такая позиция, естественно, отнюдь не завоевывала ему друзей — как среди белых бизнесменов, так и среди амбициозных чернокожих из Алис. В ней же крылась и причина теперешней коллизии.

Около 1910 года дед Титуса, поддерживая сношения с кланом лоритья, который теперь проживает на территории миссии Амадеус и называет себя людьми Амадеуса, обменялся с членами этого клана двумя наборами немеченых чуринг. Этот обмен давал каждому право на доступ к охотничьим угодьям другого.

Поскольку те чуринги никто так и не возвращал, соглашение по сей день оставалось в силе.

И вот однажды, когда добывающая компания зашла в тупик, тщетно пытаясь договориться с Титусом, в Алис заявилась делегация из Амадеуса и объявила, что не он, а они — «хозяева» той земли и ее песен, и потому гонорар за разработку ископаемых причитается им. Оказалось, они просто подделали чуринги — вырезали на них собственные тотемные рисунки. Иными словами, они присвоили себе право на землю, которое принадлежало Титусу от рождения.

Титус, который знал об Аркадии только понаслышке, призвал его на помощь.

На инструктаже в Алис Аркадия заверяли, что все это — просто мелкая ссора из-за денег. Но Титусу, как выяснилось, плевать было на деньги. Дело было гораздо серьезнее: подделав чуринги, люди Амадеуса совершили попытку переписать

историю Творения.

Титус рассказал Аркадию, что по ночам слышит вой Предков, требующих отмщения, — и говорил, что чувствует себя обязанным повиноваться им.

Аркадий, со своей стороны, понял, что необходимо срочно заставить обидчиков «отречься» от своего святотатства, но пока мог только попытаться выиграть время. Он предложил Титусу отправиться в Алис, отдохнуть.

— Нет, — хмуро заявил Титус. — Я останусь здесь.

— Тогда обещай мне одну вещь, — попросил Аркадий. — Ничего не предпринимай до моего возвращения.

— Обещаю.

Аркадий верил, что тот сдержит обещание; но что по-настоящему потрясло его — так это мысль о том, что отныне аборигены сами готовы извратить собственные законы, чтобы набить карман.

— А если такое будет происходить и дальше, — сказал он, — я, пожалуй, брошу все это дело.

В тот вечер Эстрелья решила приготовить «*эстофадо* [14] для кровельщика», и пока мы ждали в ее караване, по крыше вдруг забарабанили капли

---

[14] Примечания: 14
тушеное мясо — *Прим. перев.*

дождя. Я высунулся поглядеть на небо и увидел над Либлером плотную завесу туч, по краям которых сверкали молнии.

Через несколько минут дождь перешел в мощный ливень.

— Боже! — сказал Аркадий. — Да мы здесь на недели застрянем!

— Я не против, — заметил я.

— Вот как? — рявкнул он. — А я — против!

Во-первых, нужно было заниматься делом Титуса. Во-вторых, был Хэнлон. В-третьих, через четыре дня у Аркадия была назначена встреча в Дарвине с инженером-железнодорожником.

— Ты мне об этом не говорил, — удивился я.

— А ты меня об этом не спрашивал.

Потом в генераторе вышел из строя выключатель, расцепляющий катушки, и мы погрузились в полутьму. Дождь барабанил еще полчаса, а потом прекратился так же внезапно, как и начался.

Я вышел из каравана.

— Арк! — позвал я. — Выходи скорей.

Над долиной между двумя горами раскинулись две радуги. Утесы гряды, прежде глухого рыжего цвета, сделались багрово-черными и полосатыми, как зебра, с вертикально льющимися потоками белой воды. Туча казалась даже

плотнее земли, и из-под ее нижнего края проглянул напоследок солнечный луч, озарив колючки полосками бледно-зеленого света.

— Да, — сказал Аркадий. — Такого нигде в мире больше не увидишь.

Ночью опять лило. Наутро, еще до рассвета, Аркадий растолкал меня.

— Пора ехать, — сказал он. — Живей.

Он слушал прогноз погоды. Обещали ухудшение.

— И что, мы обязаны ехать? — спросил я спросонок.

— Я — да, — ответил он. — Ты, если хочешь, оставайся.

— Да нет, я тоже поеду.

Мы выпили чаю и навели порядок в караване. Вытерли пятна грязи с пола и написали записку Уэнди и Рольфу.

Мы проехали по лужам вдоль полевого аэродрома и выехали на дорогу, идущую от озера Маккай. Рассвет был унылый и бессолнечный. Мы преодолели гребень… а дальше дорога пропала в бескрайнем озере.

— Ну, вот и все, — сказал Аркадий.

Когда мы добрались обратно в Каллен, снова лил дождь, Рольф стоял возле магазина в непро-

мокаемом пончо.

— Ага! — ухмыльнулся он мне. — Думал улизнуть, не попрощавшись? Я с тобой еще не разделался!

Аркадий все утро провел у радиоточки. Прием был ужасный. Все дороги к Алис размыло, так что мы оказались отрезаны дней на десять, не меньше. На почтовом самолете было два свободных места — если только пилот согласится сделать крюк.

Около полудня пришло сообщение, что самолет попытается приземлиться.

— Ты летишь? — спросил меня Аркадий.

— Нет, — ответил я. — Я здесь остаюсь.

— Хорошо, — сказал он. — Следи, чтобы ребятня не лезла к «лендкрузеру». — Он припарковал машину под деревьями, возле нашего каравана, и вручил мне ключ от нее.

В медпункт к Эстрелье пришла женщина, которую мучил нарыв. Ей срочно нужно было в больницу в Алис, и она должна была занять мое место в самолете.

Из-за Либлера, похоже, начала надвигаться еще одна грозовая туча, как вдруг толпа закричала, указывая на черное пятнышко, летевшее к нам с юга. «Сессна» приводнилась на взлетную полосу,

обрызгав себе фюзеляж грязью, и на малой скорости подкатила к магазину.

— Залезайте скорее, черт возьми! — прокричал пилот из кабины.

Аркадий сжал мне руку.

— До встречи, дружище, — сказал он. — Дней через десять — если все удачно пройдет.

— До встречи, — ответил я.

— Пока, Маленькое Чудовище, — попрощался он с Рольфом и повел стонущую женщину к самолету.

Они поднялись в воздух, вылетев из долины как раз перед тем, как сюда пришла гроза.

— Ну, — сказал Рольф, — и каково это — застрять здесь в моем обществе?

— Ничего, выживу.

Пообедали мы пивом и сэндвичем с салями. От пива меня потянуло в сон, и я проспал до четырех часов. Проснувшись, я начал переоборудовать караван в рабочий кабинет.

Письменный стол я соорудил из фанерной доски, положив ее поверх второй койки. Нашелся даже офисный стул на колесиках. Я поставил карандаши в стакан, а рядом положил свой швейцарский армейский нож. Вытащил чистые блокноты и с той маниакальной аккуратностью,

которая обычно сопутствует началу долгожданного дела, разложил в три аккуратные стопки свои «парижские» записные книжки.

Во Франции эти записные книжки называются carnets moleskines [15]: «moleskine» [16] в данном случае означает черный клеенчатый переплет. Всякий раз, бывая в Париже, я заходил пополнить свой запас блокнотов в papeterie [17] на рю дел'Ансьен Комеди. Страницы были квадратными; форзацы скреплялись пластичной лентой. Я пронумеровал их по порядку. На первой странице я надписал свое имя и адрес, с обещанием вознаграждения нашедшему. Потерять паспорт — полбеды; потерять записную книжку — катастрофа.

За двадцать с лишним лет странствий я потерял только две записные книжки. Одна пропала в афганском автобусе. Вторую стащила бразильская тайная полиция, которая в порыве ясновидения усмотрела в некоторых моих строках — о ранах барочного Христа — зашифрованное сообщение

---

[15] Примечания: 15
молескиновые тетради *(фр.) — Прим. перев*

[16] Примечания: 16
молескин, «чертова кожа» *(фр.) — Прим. перев.*

[17] Примечания: 17
писчебумажный магазин *(фр.) — Прим. перев.*

об пытках, которым подвергают в Бразилии политических узников.

За несколько месяцев до того, как я отправился в Австралию, владелица той papeterie сообщила, что раздобыть vrai moleskine [18] становится все труднее и труднее. Остался лишь один поставщик — маленькая семейная фабрика в Туре. Но они очень медленно отвечают на письма.

— Я бы заказал сотню штук, — сказал я мадам. — Сотни мне хватит до конца жизни.

Она обещала позвонить в Тур в тот же день, после обеда. В обеденные часы меня ждало отрезвление. Метрдотель и «Брассери Липп» больше не узнавал меня: «Non, Monsieur, il n'y a pas de place» [19]. В пять часов, как мы уговорились, я снова зашел к мадам. Фабрикант давно умер. Его наследники продали фабрику. Мадам сняла очки и с почти траурным видом изрекла: «Le vrai moleskine n'est plus» [20].

У меня было предчувствие, что «дорожный» этап моей жизни подходит к концу. Я почув-

---

[18] Примечания: 18
настоящий молескин *(фр.) — Прим. перев*

[19] Примечания: 19
Нет, месье, свободных мест нет *(фр.) — Прим. перев*

[20] Примечания: 20
Настоящего молескина больше нет *(фр.) — Прим. перев*

ствовал, что, прежде чем на меня накатится недомогание оседлого существования, я должен заново пролистать свои старые записные книжки. Я должен набросать на бумаге краткое изложение тех мыслей, цитат и встреч, которые развлекали и навязчиво преследовали меня в продолжение долгого времени; я надеялся, что они прольют свет на то, что оставалось для меня вопросом из вопросов — на природу человеческой неугомонности.

Паскаль в одной из своих наиболее мрачных pensees [21] высказал мнение, что все наши невзгоды происходят по одной единственной причине: из-за нашей неспособности спокойно сидеть у себя в комнате.

Отчего, спрашивал он, человек, у которого есть все необходимое для безбедной жизни, должен устремляться в какие-то долгие заморские странствия? Отчего он рвется в чужие города? Или на поиски перечных зерен? Или на войну — сокрушать черепа?

Далее, поразмыслив и найдя причину наших бед, он вознамерился докопаться до более глубокого основания — и нашел прекрасное основание:

---

[21] Примечания: 21
мыслей — *Прим. перев.*

а именно, врожденное злосчастье нашего слабого бренного состояния. А оно настолько злосчастной что, стоит нам всерьез над ним задуматься, как уже ничто не силах нас утешить.

И единственное, что может облегчить наше отчаяние, — это «развлечение» (divertissement); оно же одновременно и является худшей из наших напастей, ибо в стремлении развлечься мы перестаем задумываться о самих себе и постепенно навлекаем на себя гибель.

А может быть, размышлял я, наша потребность в развлечении, наша одержимость новизной, является по сути инстинктивным побуждением к миграции, сродни инстинкту, просыпающемуся по осени у птиц?

Все Великие Учителя учили, что Человек от века был скитальцем «в нагой раскаленной пустыне» мира (это слова Великого Инквизитора у Достоевского), и что, дабы вернуться к своей исконной человеческой природе, он должен стряхнуть оковы привязанностей и выйти на дорогу.

Две мои последние записные книжки были сплошь испещрены заметками, которые я делал в Южной Африке, где пытался самолично раздобыть свидетельства о происхождении нашего

вида. То, что я узнал там — как и то, что я узнал теперь о Песенных тропах, похоже, подтверждало догадку, с которой я так долго носился: естественный отбор готовил нас — если рассматривать человеческий организм целиком, от строения мозговых клеток до устройства больших пальцев на ногах — к существованию в условиях пеших сезонных перемещений по раскаленной земле, поросшей колючими кустарниками, или по пустыне.

Если это действительно так; если пустыня — наш «дом»; если наши инстинкты закладывались в пустыне, для того чтобы переживать ее суровые условия, — тогда совсем нетрудно понять, отчего зеленые пастбища гнетут нас; отчего обладание имуществом изнуряет нас; и отчего воображаемому человеку Паскаля казалось тюрьмой его уютное жилище.

Из записных книжек

Наше естество заключается в движении;
полный покой — это смерть.

Паскаль, «Мысли»

Упражнение в Великой Болезни;
боязнь своего дома.

Бодлер, «Дневники»

Самые убедительные описания неугомонности часто создавали люди, которые по той или иной причине сами вели неподвижный образ жизни: Паскаль — из-за желудочных болей и мигреней, Бодлер — из-за наркотиков, Сан-Хуан де ла Крус — из-за решеток на окнах кельи. Среди французских критиков есть такие, кто утверждает, что Пруст, отшельник, сидевший взаперти к комнате, обитой пробкой, был величайшим из литературных путешественников.

Основатели монашеских орденов постоянно придумывали все новые способы обуздания тяги к странствиям в послушниках. «Монах, оказавшийся вне стен своей кельи, — говорил Святой

Антоний, — все равно что рыба, выброшенная из воды». Однако Христос с апостолами странствовали, бродя пешком по палестинским холмам.

Что это за причудливое безумие, вопрошал Петрарка своего молодого секретаря, что это за одержимость — каждую ночь спать в новой кровати?

Что я здесь делаю?

Рембо — в письме домой из Эфиопии

ПИКОС, ПИАУИ, БРАЗИЛИЯ

Бессонная ночь в отеле «Шарм». В здешних местах, где самый высокий уровень младенческой смертности в мире, водится клоп, переносящий возбудителей сонной болезни. Во время завтрака хозяин гостиницы, вместо того чтобы подать мне яичницу, хлопнул мухобойкой по моей тарелке и поднял за лапку пестрое коричневое насекомое.

— Mata gente, — сказал он мрачно. — Оно убивает людей.

Оштукатуренный фасад выкрашен в светлый мятно-зеленый цвет, а слова CHARM HOTEL выведены жирными черными буквами. Вода

из протекающего водосточного желоба смыла первую букву, и теперь название читается… [22]

ДЖАНГ, КАМЕРУН

В Джанге две гостиницы: отель «Виндзор» и — на другой стороне улицы — отель «Анти-Виндзор».

БРИТАНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО В КАБУЛЕ, АФГАНИСТАН

Третий секретарь является одновременно культурным атташе. Его кабинет забит экземплярами «Скотный двор» Оруэлла: так британское правительство решило внести вклад в преподавание английского языка в афганских школах, а заодно преподать азбучный урок о вреде марксизма устами свиньи.

— Но… свиньи? — спросил я. — В мусульманской стране? Вам не кажется, что подобная пропаганда может привести к совершенно противоположным результатам?

Культурный атташе пожал плечами. Послу показалось, что это неплохая идея. С этим ничего

---

[22] Примечания: 22
Charm — «шарм», harm — «вред» (*англ.) — Прим. перев.*

нельзя было поделать.

Кто не странствует, тот не знает цены людям.

Мусульманская пословица

МАЙАМИ, ФЛОРИДА

В автобусе, который шел из центра города на пляж, сидела дама в розовом. На вид ей было не меньше восьмидесяти лет. У нее были ярко-розовые волосы с приколотыми розовыми цветами, розовое платье, подобранное в тон, розовые губы, розовые ногти, розовая сумочка, розовые серьги и вдобавок в корзинке для покупок у нее лежала пачка розовых салфеток.

В клинышках ее прозрачных пластмассовых каблуков лениво плавала в «формальдегиде» парочка золотых рыбок.

Я был так увлечен разглядыванием этих золотых рыбок, что даже не заметил карлика в роговых очках, стоявшего на сидении рядом со мной.

— Позвольте полюбопытствовать, сэр, — обратился он ко мне скрипучим голосом, — какое из человеческих качеств вы цените больше всего?

— Я как-то не задумывался об этом, — ответил я.

— Раньше я верил в сочувствие, — поделился он. — Но с не давних пор предпочитаю сострадание.

— Приятно слышать.

Позвольте задать вам еще один вопрос, сэр? Какого рода деятельностью вы в настоящее время занимаетесь?

— Учусь на археолога.

— Вы удивляете меня, сэр. Я и сам подвизаюсь в той же области.

Он работал «коллекторной крысой». Его друзья спускали его с металлоискателем в главный коллектор, проходящий под отелями на Майами-Бич. Там он выискивал драгоценности, случайно упавшие в унитазы и смытые в канализационные трубы.

— Могу заверить вас, сэр, — сказал карлик, — это весьма прибыльное занятие.

В НОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ МОСКВА — КИЕВ, ЧИТАЯ ТРЕТЬЮ «ЭЛЕГИЮ» ДОННА:

Кто не видал чужих краев — бедняга,
Но жалок и отчаянный бродяга.

[23].

Эта жизнь — больница, где каждый больной одержим желанием переменить постель. Один хотел бы страдать у печки, другой думает, что он выздоровел бы у окна.

Мне кажется, что мне всегда было бы хорошо там, где меня нет, и этот вопрос о переезде — один из тех, которые я беспрестанно обсуждаю с моей душой.

Бодлер, «*Куда угодно, прочь из этого мира*» [24].

БЕКОМ, КАМЕРУН

Названия такси: машина «Доверие»; «младенческое доверие»; «Возвращение Шофера-Джентльмена»; «Le Chauffeur Kamikadze».

В ВОЗДУХЕ, ПАРИЖ — ДАКАР

Вчера вечером — ужин на рю дел'Абе дел'Эпе. Там был Мальро. Чревовещатель! Он безупречно передал, с каким звуком хлопнула дверь сталинского кабинета в лицо Жиду. Они с Жидом отправились в Кремль, чтобы выразить недо-

---

[23] Примечания: 23
Перевод Г. Кружкова (элегия «Изменчивость»). — *Прим. перев.*

[24] Примечания: 24
Перевод Эллиса. — *Прим. перев.*

вольство обращением с гомосексуалистами в России, и Сталин прослышал об их намерении.

ДАКАР

Гостиница «Coq Hardi» одновременно является борделем. Хозяйка, мадам Мартин, владеет рыболовным судном, поэтому на ужин мы едим лангуста. Из двух проституток, живущих при отеле, одна — моя подруга, мамзель Йо-Йо, носит громадный красновато-розовый тюрбан; вместо ног у нее — штоки поршня. У второй, мадам Жаклин, есть два постоянных клиента — герр Киш, гидролог, и посол Мали.

Вчера была ночь Киша. Она показалась на своем балконе, сверкая браслетами: Мать-всей-Африки в струящихся одеждах цвета индиго. Она послала ему воздушный поцелуй, сбросила вниз веточку бугенвиллии и проворковала: «Иду, герр Киш».

Сегодня, когда к гостинице подъехал «мерседес» посла, она вылетела в соблазнительном костюме цвета кофе со сливками, в блондинистом парике, в белых туфлях на высоких каблуках и зычно прокричала: «Monsieur l'Ambassadeur, je viens!» [25].

---

[25] Примечания: 25
Иду, господин посол! (*фр.*) — *Прим. перев.*

ГОРЭ, СЕНЕГАЛ

На террасе ресторана французы-толстяки, муж с женой, по едают fruits de mer [26]. Их такса, привязанная к ножке стула толстухи, все время прыгает в надежде на подачку.

Толстуха — таксе: «Taisez-vous, Romйo! C'est l'entracte». [27].

> Внутренний жар… лихорадка странствий…
>
> ***Калевала***

В «Происхождении человека» Дарвин отмечает, что у некоторых птиц миграционный инстинкт оказывается сильнее материнского. Мать скорее бросит птенцов в гнезде, чем откажется от дальнего перелета на юг.

СИДНЕЙСКИЙ ПОРТ

На пароме, возвращающемся из Мэнли, маленькая старушка случайно услышала, как я

---

[26] Примечания: 26
Морепродукты (*фр.*) — *Прим. перев.*

[27] Примечания: 27
Замолчите, Ромео! Антракт! (*фр.*) — *Прим. перев.*

разговариваю с собеседником.

— Вы же англичанин, верно? — спросила она с северным английским акцентом. — Могу поспорить, что вы англичанин.

— Да, я англичанин.

— Я тоже англичанка!

На ней были очки с толстыми стеклами в стальной оправе и милая фетровая шляпка с синей ленточкой над полями.

— Вы путешествуете или у кого-то гостите в Сиднее? — спросил я.

— Нет, голубчик, что вы! — сказала она. — Я здесь живу с 1946 года! Я поехала сюда к своему сыну, чтобы поселиться вместе с ним, но случилась странная вещь. Пока корабль доплыл сюда, он умер. Представьте себе! Я уже продала свой дом в Донкастере. Тогда я подумала — что ж, останусь здесь. Я попросила своего второго сына приехать сюда, ко мне. Он приехал… а потом эмигрировал и… Знаете, что произошло?

— Нет.

— Он тоже умер. У него отказало сердце — и он умер.

— Какой ужас, — сказал я.

— У меня был третий сын, — продолжала старушка. — Он был моим любимчиком, но он погиб

на войне. В Дюнкерке — знаете! Он был очень смелый. Я получила письмо от его командира. Очень, очень смелый! Он стоял на палубе… весь в горящем масле… и бросился в море. О-о! Настоящий живой факел!

— Но это же ужасно!

— Но сегодня такой чудесный день, — улыбнулась старушка.

— Разве может быть чудеснее?

Был ясный солнечный день, высоко по небу плыли белые облачка, а с океана дул бриз. Несколько яхт плыли против ветра в сторону Голов, другие яхты шли под парусами-спинакерами. Старый паром мчался перед беляками в сторону Оперы и Моста.

— А как хорошо в Мэнли! — сказала старушка. — Я любила там бывать с сыном… до того, как он умер. Но я не была там уже двадцать лет!

— Но это же так близко, — удивился я.

— Но я шестнадцать лет не выходила из дома. Я была слепой, голубчик! У меня на глазах были катаракты, я ничего не видела. Глазной хирург говорил, надежды никакой нет, и я сидела дома. Подумать только! Шестнадцать лет в темноте! И тут на прошлой неделе приходит эта милая социальная работница и говорит: «Нужно все-

таки, чтобы кто-то как следует посмотрел эти катаракты». И поглядите на меня сейчас!

Я взглянул сквозь очки на ее мерцающие — другого слова не найти — мерцающие голубые глаза.

— Меня отвезли в больницу, — продолжала она. — И сняли катаракты! Ну не чудесно ли? Теперь я вижу!

— Да, сказал я. — Удивительно!

— Сегодня я первый раз выбралась на дальнюю прогулку, — доверительно сообщила она. — Никому ничего не сказала. За завтраком я решила: «Сегодня такой чудесный денек. Доеду автобусом до Круглого Причала, потом сяду на паром до Мэнли… совсем как в прежние времена». На обед я ела рыбу. О, как же все чудесно!

Она с озорным видом сгорбила плечи и захихикала.

— А сколько лет вы мне дадите? — спросила она.

— Не знаю, — сказал я. — Погодите, мне надо поглядеть. Я бы сказал, вам лет восемьдесят.

— Нет, нет, нет, — рассмеялась она. — Мне девяносто три… и я снова вижу!

Дарвин приводит в пример гуся Одюбона, который, если подрезать ему крылья, пускается в

путь пешком. Затем он они описывает мучения птицы, которую запирают в загоне в сезон перелета: она бьет крыльями и бросается грудью на решетки клетки, раздирая ее в кровь.

Роберт Бертон — оксфордский преподаватель, домосед и книгочей, — употребил изрядное количество времени и ученого рвения на то, чтобы доказать: странствия — не проклятье, а средство исцеления от меланхолии — иначе говоря, от уныния, которым чревата оседлая жизнь:

> Сами небеса пребывают в непрерывном движении, солнце восходит и заходит, луна прибывает, звезды и планеты никогда не прекращают своего обращения, воздух вечно швыряем ветрами, воды приливают и отливают, несомненно, ради своего же блага и дабы внушить нам, чтобы и мы не забывали перемещаться.

Или:

Нет ничего лучшего при этом недуге [28], нежели перемена воздуха, нежели длительное странствие, какие совершают татары-залмохийцы, что живут ордами и обращают себе на пользу все времена года и различные местности.

Анатомия Меланхолии

Угроза повисла над моим здоровьем. Ужас мной овладел. Я погружался в сон, который длился по нескольку дней, и когда я просыпался, то снова видел печальные сны. Я созрел для кончины; по опасной дороге меня вела моя слабость к пределам мира и Киммерии, родине мрака и вихрей.

Я должен был путешествовать, чтобы развеять чары, нависшие над моими мозгами. [29].

Рембо, «Одно лето в аду»

---

[28] Примечания: 28
меланхолии

[29] Примечания: 29
Перевод М. Кудинова. — *Прим. перев.*

Он был отличным ходоком. О! Потрясающий ходок! Он шел в пальто нараспашку, с маленькой феской на голове — несмотря на солнце.

Ригас, о Рембо в Эфиопии

...по ужасным дорогам, вроде тех, что, как предполагают, существуют на Луне.

Рембо, в письме домой

«L'Homme aux semelles de vent»: «Человек с подошвами из ветра».

Верлен — о Рембо

ОМДУРМАН, СУДАН

Шейх С. живет в домике, из которого видна могила его деда, Махди [30]. На листах бумаги, склеенных между собой скотчем — так, чтобы их можно было скатывать, как свиток, — он написал поэму в пятьсот строф, тем же стилем и размером,

---

[30] Примечания: 30

В конце XIX века в Восточном Судане поднялось махдистское («мессианское») движение, и предводитель восстания Мухаммед бен Ахмед провозгласил себя Махди (освободителем, мессией). — *Прим. перев.*

что и «Элегия» Грея, озаглавленную «Плач о гибели Суданской республики». Я беру у него уроки арабского. Он говорит, что видит «свет веры» у меня на лбу, и надеется обратить меня в ислам.

Я отвечаю, что приму ислам, только если он вызовет джинна.

— Джиннов вызывать не так-то просто, — говорит он. Но попробовать можно.

Протолкавшись целый день на омдурманском базаре в поисках нужных сортов мирры, ладана и духов, мы все приготовились вызывать джинна. Правоверные прочли молитвы. Солнце зашло, и мы сидим в саду, под папайей, настроившись на благочестивое ожидание, перед угольной жаровней.

Вначале шейх бросает на угли немного мирры. Вверх поднимается тонкая струйка дыма.

Никакого джинна.

Тогда он пробует ладан.

Никакого джинна.

Он по очереди бросает на угли все, что мы купили на базаре.

Все равно никакого джинна!

Тогда он говорит:

— Давайте попробуем «Элизабет Арден».

НУАКЧОТТ, МАВРИТАНИЯ

Бывший солдат французского Иностранного легиона, ветеран Дьен Бьен Фу [31], с седыми стрижеными ежиком волосами и зубастой улыбкой, возмущен тем, что правительство США не признает своей вины за резню в Май Лэй. [32].

— Нет такой вещи, как «военное преступление»! — говорит он. — Сама война — уже преступление.

Еще больше его возмущает приговор суда, который осудил лейтенанта Келли за убийство «людей-азиатов»: как будто слово «азиат» еще нуждается в пояснении «человек»!

Солдату он дал такое определение: «Это профессионал-наемник, который на протяжении тридцати лет убивает других людей. После этого он подрезает в своем саду розы».

Главное, не теряй желание гулять: каждый день я выгуливаю себя до тех пор, пока мне не делается очень хорошо, и тем самым убегаю ото

---

[31] Примечания: 31

Весной 1954 г. в бою в долине Дьен Бьен Фу вьетнамская народная армия одержала победу над французскими войсками. — *Прим. перев.*

[32] Примечания: 32

Май Лэй — вьетнамская деревня, где в 1968 г. американские солдаты расстреляли в упор более 500 мирных жителей. — *Прим. перев.*

всех болезней; прогулки наводят меня на все мои лучшие мысли, и я не знаю ни одной такой тягостной мысли, чтобы от нее нельзя было уйти пешком… Но, сидя на месте, чем больше сидишь неподвижно, тем хуже себя чувствуешь… Потому, если не прекращать прогулки, то всё будет хорошо.

Сёрен Кьеркегор, *в письме к Йетте (1847)*

Solvitur ambulando. «Лечится ходьбой».

АТАР, МАВРИТАНИЯ

— Вы бывали в Индии? — спросил меня сын эмира адрарского.

— Бывал.

— А что это — деревня?

— Нет, — ответил я. — Это одна из самых огромных стран в мире.

— Tiens! [33] А я-то всегда думал, что это деревня.

НУАКЧОТТ, МАВРИТАНИЯ

Куча бетонных домишек, построенных на песке, теперь окружена со всех сторон bidonville

---

[33] Примечания: 33

Ну надо же! (*фр.*) — *Прим. перев.*

[34] кочевников, которые, подобно Иакову и его сыновьям, были вынуждены прибиться к оседлым жителям, когда «голод усилился по всей земле» [35].

До прошлогодней засухи около 80 % населения в этой стране жили в шатрах.

Мавры обожают синий цвет. Они носят синие одежды, синие тюрбаны. Палатки их бидонвиля заплатаны кусками синего хлопка, а на лачугах, сколоченных из упаковочных коробок, обязательно должно быть хотя бы малое пятно синей краски.

Сегодня утром я наблюдал за сморщенной старушенцией, которая копалась в мусорной куче в поисках синей тряпки. Она подобрала один лоскут. Подобрала другой. Сравнила. Выбросила первый лоскут. Наконец, она нашла кусок ткани в точности того оттенка, который выискивала, — и ушла, напевая.

На окраине городка трое маленьких мальчиков гоняли футбольный мяч. Завидев меня, они бросили мяч и подбежали ко мне. Но вместо того

---

[34] Примечания: 34
трущобами *(фр.) — Прим. перев.*

[35] Примечания: 35
Бытие, 41:57

чтобы клянчить у меня деньги или выпрашивать адрес, самый крошечный из них повел со мной очень серьезную беседу. Какого я мнения по поводу войны в Биафре? Каковы причины арабо-израильского конфликта? Что я думаю о преследовании евреев Гитлером? А о сооружениях египетских фараонов? А о древней империи Альморавидов?

— Но кто ты? — поразился я.

Он чинно отдал честь.

— Салль Закария салль Мухаммед, — вывел он высоким сопрано. — Сын министра внутренних дел!

— А сколько тебе лет?

— Восемь.

На следующее утро за мной приехал джип и отвез меня к министру.

— Cher Monsieur, — сказал он, — насколько я понял, вы познакомились с моим сыном. Между вами была очень содержательная беседа, так он сказал. Я, с моей стороны, хотел бы пригласить вас отобедать с нами и узнать, не могу ли я вам чем-нибудь быть полезен.

С давних пор я хвалился тем, что владею всеми пейзажами, которые только можно представить…

Рембо, «Одно лето в аду»

МАВРИТАНИЯ, ПО ДОРОГЕ В АТАР

В кузове грузовика было человек пятьдесят, прижимавшихся к мешкам с зерном. Мы были уже на полпути в Атар, когда разразилась песчаная буря. Рядом со мной сидел сенегалец, от которого исходил сильный запах. Он сказал, что ему двадцать пять лет. Он был коренастым, с чрезмерно развитыми мускулами и с зубами, рыжими от постоянного жевания орехов колы.

Вы едете в Атар? — спросил он у меня.

— Вы тоже?

— Нет. Я еду во Францию.

— А зачем?

— Работать по специальности.

— А что у вас за специальность?

— Installation sanitaire [36].

— И у вас есть паспорт?

---

[36] Примечания: 36
сантехническое оборудование (фр.) — *Прим. перев.*

— Нет, — улыбнулся он. — У меня есть документ.

Он развернул промокший листок бумаги, и я прочел, что Дон Эрнандо такой-то, владелец траулера такого-то, нанял на работу Амаду… фамилия не проставлена… etc. etc.

— Я доберусь до Вилья-Сиснероса, — сказал он. — Сяду на корабль до Тенерифе или до Лас-Пальмас на Гран-Канарья. Там я продолжу работать по специальности.

— Станете моряком?

— Нет, месье. Авантюристом. Я хочу повидать все народы и все страны на свете.

НА ОБРАТНОМ ПУТИ ИЗ АТАРА

В кузов пикапа с холстинным навесом набилось пятнадцать пассажиров. Все они были маврами, кроме меня и еще одного человека, закутанного в мешок. Мешок зашевелился, и оттуда выглянула удлиненная и красивая голова молодого волофа. Кожа и волосы у него были покрыты белой пылью, вроде белого налета на синем винограде. Вид у него был напуганный и очень расстроенный.

— Что случилось? — спросил я.

— Все кончено. Пограничники отправили меня назад.

— А куда вы собирались ехать?

— Во Францию.

— А зачем?

— Работать по специальности.

— А что у вас за специальность?

— Вам не понять.

— Почему же? — возразил я. — Мне известно большинство metiers [37] во Франции.

— Нет, — покачал он головой. — Это не такая профессия, чтобы вы о ней знали.

— Ну, тогда объясните.

Наконец со вздохом, в котором одновременно послышался стон, он сказал:

— Я — ebeniste [38]. Я делаю комоды в стиле Людовика XV и Людовика XVI.

Вот оно что. В Абиджане он научился инкрустации шпоном на мебельной фабрике, которая удовлетворяла прихоти новой буржуазии — черных франкофилов.

Паспорта у него не было, зато у него в мешке лежала книга о французской мебели XVIII века.

---

[37] Примечания: 37
профессий (*фр.*) — *Прим. перев.*

[38] Примечания: 38
краснодеревщик (фр.) — *Прим. перев.*

Его «героями» были Крессан и Ризенер [39]. Он надеялся побывать в Лувре, Версале и в Musee des Arts Decoratifs. Он надеялся, если получится, поступить в подмастерья к парижскому «мастеру», решив, что такой человек должен существовать.

ЛОНДОН

Вместе с Берти у торговца французской мебелью. Торговец предложил ризенеровский комод Полу Гетти, а тот в качестве эксперта пригласил Берти.

Комод был зареставрирован до того, что выглядел как новенький.

Берти взглянул на него и воскликнул:

— О-о!

— Ну? — спросил торговец после долгой паузы.

— Ну, лично я бы не поставил его даже в спальню служанки. Но для него — сойдет.

> Коллекционировать вещи — хорошо, но еще лучше путешествовать.
>
> ***Анатоль Франс***

---

[39] Примечания: 39

Шарль Крессан (1686–1768) и Жан-Анри Ризенер (1724–1806) — знаменитые французские мебельщики, создатели комодов и бюро в стиле регентства и рококо. — *Прим. перев.*

Мои владения уносятся от меня. Словно саранча, они поднимаются в воздух и улетают прочь…

Плач о разрушении Ура

ТИМБУКТУ

Официант принес мне меню:
Capitaine bamakoise (жареная каракатица)
Pintade grillee (жареная цесарка)
Dessert

— Хорошо, — сказал я. — Когда можно поесть?
— Мы едим в восемь, — ответил он.
— Ну, ладно. Значит, в восемь.
— Нет, месье. Это мы едим в восемь. Значит, вы должны поесть или до семи… или после десяти.
— А кто это — «мы»?
— Мы, — повторил он. Работники. Тут он понизил голос и прошептал:
— Советую вам поесть в семь, месье. Мы съедаем всю еду.

Христианство здесь начали насаждать лет сто назад — стараниями, хотя и не личными, кардинала Вижери, архиепископа Карфагенского

и примаса всей Африки. Сам он был знатоком бургундских вин, а одеяния заказывал «Ворту».

В числе его представителей в Африке были три белых отца Польмье, Бёрлин и Миноре. Вскоре после того как они отслужили обедню в запретном городе, туареги отрубили им головы.

Когда кардиналу доложили об этом, он сидел в своем ландо на берегу моря, в Биаррице.

— Te Deum laudamusl — воскликнул он. — Но я не могу поверить.

— Нет, — сказал его информатор, — это правда.

— Они в самом деле скончались?

— Да.

— Какая радость для нас! И для них!

Кардинал прервал свою утреннюю поездку, чтобы написать три одинаковых письма к матерям погибших: «Господь призвал нас, дабы произвести их на свет, и Господь призвал меня, дабы отправить их мучениками в Рай. Будьте счастливы, думая об этом».

На форзаце дешевого издания «Тристрама Шенди», которое я купил у букиниста в Алис, было написано вот что:

«Одно из редких мгновений счастья, какие известны человеку в Австралии, — это мгновенье, когда поверх двух пивных кружек он встречается

взглядом с другим человеком».

ЮНЬНАНЬ, КИТАЙ

Сельский школьный учитель был чрезвычайно любезным и энергичным человеком с копной иссиня-черных волос. Он жил имеете с женой, похожей на девочку, в деревянном доме возле Нефритовой реки.

Музыковед по образованию, он когда-то облазил все дальние горные деревни, записывая песенный фольклор племени нахи. Подобно Вико, он считал, что первым в мире языком была песня. Древний человек, говорил он, выучился говорить, подражая звериных кличам и птичьим трелям, и жил в музыкальной гармонии с остальным Творением.

Его комната была заполнена безделушками, чудом пережившими годы «культурной революции». Усевшись на красные лакированные стулья, мы щелкали арбузные семечки, и он наливал нам в белые фарфоровые наперстки горный чай того сорта, что называется «Пригоршня снега».

Он поставил нам запись одного песнопения нахи. Мужские и женские голоса пели антифоном у гроба с покойником: *Уууу… Зиии! Уууу… Зиии*!

Целью этой песни было отогнать Пожирателя Мертвецов — злобного клыкастого духа, который кормился человеческими душами.

Учитель удивил нас тем, что с легкостью напевал мазурки Шопена, а также своим бесконечным репертуаром из Бетховена. В 1940-е годы его отец, купец из торгового каравана в Лхасе, отправил его в Куньминьскую академию изучать западную музыку.

На стене, над репродукцией клод-лорреновского «Отплытия на Цитеру», висели в рамках фотографии, изображавшие самого учителя. На одной он был в белом галстуке и с фалдами, за концертным роялем; на второй дирижировал оркестром на улице, заполненной толпами с флажками — стремительная, энергичная фигурка на цыпочках: руки воздеты вверх, дирижерская палочка указует вниз.

— 1949 год, — сказал он. — Встреча Красной Армии в Куньмине.

— А что вы тогда исполняли?

— «Военный марш» Шуберта.

За это — вернее, за приверженность «западной культуре», — он получил двадцать один год тюремного заключения.

Он поднял свои руки и поглядел на них с гру-

стью, будто на осиротевших деток. Его пальцы были искривлены, а запястья исполосованы шрамами: они напоминали о том дне, когда гвардейцы подвесили его к потолочным балкам — в позе Христа на кресте… или человека, дирижирующего оркестром.

Одно из распространенных заблуждений — это что мужчины странники, а женщины — хранительницы дома и очага. Конечно, может, оно и так, но женщины — прежде всего хранительницы преемственности: если очаг переезжает, они переезжают вместе с ним.

У цыган именно женщины побуждают мужчин выходить на дорогу. Точно так же на архипелаге у мыса Горн среди бурных вод именно женщины индейцев-яганов не давали потухнуть угольками, тлевшим в их лодках-каноэ. Миссионер отец Мартин Гусинде сравнивал их с «весталками античности» или с «неугомонными перелетными птицами, которые делаются счастливыми и обретают душевный покой лишь тогда, когда находятся в пути».

В Центральной Австралии движущей силой, которая ратует за возвращение прежнего образа жизни, являются женщины. Как сказала одна

женщина моему приятелю: «Женщины — вот кто стоит за землю».

МАВРИТАНИЯ

В двух днях пути от Чингуэтти нам нужно было пересечь унылое серое ущелье, где не росло ничего живого. На дне долины лежало несколько дохлых верблюдов, их высохшие шкуры колотились о ребра скелетов: *тра-та-та…*

К тому времени, как мы взобрались на противоположный утес, уже почти стемнело. Назревала песчаная буря. Верблюды забеспокоились. Тогда один из проводников показал в сторону шатров, раскинутых на расстоянии около километра среди песчаных дюн: три шатра из козьих шкур и одна — из белого хлопка.

Мы стали медленно приближаться к ним. Проводники щурились, пытаясь понять, чьи это шатры — дружественного ли племени. Наконец один из них улыбнулся, воскликнул: «Лала-хлаль!» и пустил своего верблюда рысью.

Высокий молодой человек откинул полу палатки и знаком пригласил нас. Мы спешились. На нем были синие одеяния и желтые тапочки.

Старуха принесла нам фиников и козьего молока, а шейх уже отдавал распоряжение заколоть

козленка.

— Со времен Авраама и Сарры ничего не изменилось, — сказал я сам себе.

Шейх Сиди Ахмед эль Бешир Хаммади безукоризненно говорил по-французски. После ужина, когда он угощал нас мятным чаем, я простодушно спросил его, отчего жизнь в шатрах, при всех ее тяготах, так притягательна.

— Ну! — он пожал плечами. — Лично я бы предпочел жить в городском доме. Здесь, в пустыне, даже не вымыться по-человечески. Здесь нельзя принять душ! Это женщины заставляют нас жить в пустыне. Они говорят, что пустыня дарит им здоровье и счастье — им и детям.

ТИМБУКТУ

Дома построены из серой глины. Многие стены покрыты граффити. Мелом, аккуратнейшим ученическим почерком выведены слова:

Les noms de ceux qui voyagent dans la nuits sont Sidi et Yeye.

He las! Les Anges de I'Enfer.

Beaute… Beau…

La poussiere en Decembre… [40].

> Бесполезно спрашивать у скитальца
> Совета, как построить дом.
> Работа никогда не будет закончена.

Прочтя эти строки из китайской «Книги Песен», я осознал нелепость любых попыток написать книгу о кочевниках.

Психиатры, политики, тираны не устают уверять нас в том, что бродячая жизнь — это разновидность извращенного поведения; невроз; вытеснение неудовлетворенного сексуального желания; болезнь, которую в интересах цивилизации надлежит всячески подавлять.

Нацистские пропагандисты утверждали, что цыганам и евреям — народам, у которых в крови «гены скитальчества», — не место в незыблемом Рейхе.

Между тем на Востоке по сей день бытует расхожее представление: странствия помогают заново обрести первоначальную гармонию, которая некогда существовала между человеком и Вселенной.

---

[40] Примечания: 40

Имена тех, кто странствует в ночи, — Сиди и Иеие. Увы! Ангелы Преисподней. Красота… Красиво… Пыль в декабре… (фр.) — *Прим. перев.*

Нет счастья человеку, который не странствует. Живя в обществе людей, даже лучший человек становится грешником. Ибо Индра — друг путника. Итак, странствуй!

«Айтарейя Брахмана»

Невозможно пуститься в странствие, пока сам не сделаешься Путем.

Гаутама Будда

Ступайте дальше!

Его последнее напутствие ученикам

В исламе, и особенно в суфийских орденах, сийахат, или «странствование» — действие, или ритм, движения — применялось как особая техника, помогавшая расторгнуть узы, привязывающие человека к миру, и приближавшая его к Богу.

Цель дервиша заключалась в том, чтобы стать «ходячим мертвецом» — человеком, чье тело остается живым на земле, но чья душа уже переносится в Рай. В суфистском трактате «Кагиф-

аль-Махджуб» говорится, что к концу странствия дервиш из путника превращается в Путь, то есть из человека, следующего собственной свободной воле, в то место, по которому проходит нечто.

Аркадий, когда я упомянул об этом в разговоре с ним, заметил, что это очень похоже на представления аборигенов: «Многие люди потом становятся землей, Предками того места».

Проведя целую жизнь, расхаживая с песнями туда-сюда вдоль Песенной тропы Предка, человек в конце концов сам превращается в эту дорогу, в Предка и в Песню.

> Беспутный Путь, где Сыны Божьи теряются и в то же время находят сами себя.
>
> ***Майстер Экхарт***

И покой
Его так совершенен, что юнец,
Завидуя, глядит ему вослед.

***Вордсворт, «Странствующий старик»*[41].**

Очень краткое жизнеописание Диогена:

Жил он в бочке. Питался сырыми осьминога-

---

[41] Примечания: 41
Перевод И. Меламеда — *Прим. перев.*

ми и люпинами. Про себя говорил: Kosmopolites eimi — «Я — гражданин мира» и сравнивал свои скитания по Греции с перелетами аистов: летом — на север, зимой — на юг, прочь от холодов.

> Мы, лопари, схожи с северными оленями: весной нас тянет и горы, а зимой влечет в лес.
>
> ***Тури, «Книга о Лапландии»***

В Древней Индии в сезон муссонов путешествовать было невозможно. А так как Будда не хотел, чтобы его последователи брели по шею в воде, Он позволил им удаляться в Вассы.

— «Приюты от дождя». И в эту пору года бездомные путники забирались в высокогорные места и жили в мазанках.

Именно в таких местах возникли впоследствии великие буддийские монастыри.

Ранняя христианская Церковь знала два вида паломничества: «скитания ради Бога» (ambulare pro Deo) в подражание Христу или Праотцу Аврааму, который покинул город Ур ради жизни в шатрах. Второй разновидностью было «покаянное паломничество»: преступники, повинные в «страшных грехах» (peccata enormia), должны

были, в соответствии с четко установленными расценками, сделаться на время бродягами-попрошайками со шляпой, мошной, посохом и опознавательным значком — и отрабатывать свое искупление на дороге.

Само представление о том, что странствия способны искупать тяжкие преступления, восходит к упоминанию о Каине, вынужденном скитаться, чтобы снять с себя грех братоубийства.

ВАЛАТА, МАВРИТАНИЯ

На шеях у погонщиков верблюдов вместо четок болтались ножи для сдиранья шкур; прежде они служили во вспомогательных войсках при Иностранном Легионе. На закате они отвели меня к дому на окраине города, чтобы послушать бхаги.

Этот бхаги был святым странником, который бродил от оазиса к оазису со своим беззубым стариком отцом. Вместо глаз у него были две затуманенные голубые миндалины. Он был слеп от рождения, и отцу приходилось всюду водить его.

Он знал наизусть весь Коран. Когда мы пришли, он сидел на земле, прислонившись к стене из сырцового кирпича, и с блаженной улыбкой распевал суры, а отец листал перед ним страницы Книги. Слова сыпались все быстрее и быстрее,

пока наконец не превратились в непрерывно льющуюся дробь, наподобие барабанного соло. Его отец перелистывал страницы, а собравшаяся толпа принялась раскачиваться с «отрешенным» видом, словно оказавшись на грани транса.

Неожиданно бхаги умолк. Наступил миг абсолютной тишины. Следующий стих он начал произносить очень, очень медленно, тщательно выговаривая гортанные звуки, кидая слова, одно за другим, слушателям, которые жадно ловили их, будто послания «извне».

Отец склонил голову на плечо сына и испустил глубокий вздох.

> Жизнь — это мост. Перейди ее, но не строй на ней дома.
>
> ***Индийская пословица***

ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ, ПРОВИНЦИЯ ФАРС

Между Фирузабадом и Ширазом полным ходом идет переселение кашкаитов: на многие километры растянулись овцы и козы, издалека, с холмов, напоминающие муравьев. Кругом — ни травинки: лишь горы слегка зеленеют, но вдоль

дороги — только цветущий белый ракитник да артемисия с серыми листьями. Скотина тощая и хилая — кожа да кости. То и дело какое-нибудь животное выбивается из ряда, как солдат, хлопающийся в обморок на параде, спотыкается и падает, и тут уже соревнуются в скорости стервятники и собаки.

Слюноточивые мастифы! Красноголовые стервятники! Но отчего у них красные головы — от природы или от крови? И то, и другое! Они и красные, и окровавленные. А когда глядишь туда, откуда они слетелись, то замечаешь, как в вышине спиралями кружат стаи других стервятников.

Мужчины у кашкаитов были худые, обветренные, с поджатыми губами; на головах у них были цилиндрические шапочки из белого сукна. Женщины были наряжены в лучшие одежды — яркие платья из ситца, купленные специально для весеннего путешествия. Некоторые ехали верхом на лошадях и ослах; другие — на верблюдах, вместе с поклажей — шатрами и шестами для шатров. Их тела мерно колыхались и покачивались в седлах. Глаза были устремлены на дорогу, расстилавшуюся впереди.

На черном коне ехала женщина в шафран-

но-зеленом платье. Позади нее, в куче тряпья, сложенного в седло, ребенок играл с осиротевшим ягненком; позвякивали медные кувшины, а рядом сидел привязанный веревкой петух.

Эта женщина кормила грудью младенца. Ее груди были украшены ожерельями из золотых монеток и амулетов. Как и большинство женщин кочевых народов, она носила свои богатства на себе. Каковы же должны быть первые впечатления от мира у младенца-кочевника? Покачивающийся сосок и золотой ливень.

> Гуннов сжигает ненасытная жажда золота.
>
> ***Аммиан Марцеллин***

> Ибо у них много было золотых серег, потому что они были измаильтяне.
>
> ***Книга Судей, 8:24***

> Добрый конь — что родня.
>
> ***Кашкаитская поговорка***

ДАШТ-И-АРДЖАН, БЛИЗ ШИРАЗА

Старик склонился над своей умирающей гнедой кобылой: в долгих переходах лошади первыми не выдерживают тягот. Он нашел ей пучок свежей травы. Он упрашивал ее поесть, пытался просунуть ей в зубы траву. Но было слишком поздно. Она лежала на боку, высунув язык, и в ее потускневших глазах уже видно было приближение смерти.

Старик закусил губу и скупо пролил по одной или по две слезинки на каждую щеку. Потом взвалил седло на плечо и, больше не оборачиваясь, вместе со мной пошел на дорогу.

Когда мы шли так вдоль дороги, нас подобрал один из ханов, ехавший на своем «лендровере».

Это был пожилой мужчина с прямой спиной, в монокле, имевший некоторое представление о Европе. Он владел домом и плодовыми садами в Ширазе; но каждую весну он объезжал своих родичей и помогал им.

Он отвез меня в шатер, где его собратья-ханы собирались для того, чтобы обсудить дальнейшие действия. Один из них оказался модным щеголем в стеганой желтой горнолыжной куртке. На его

коже был явно горнолыжный загар. Я заподозрил, что он явился сюда прямо из Сент-Морица, а он с первого взгляда стал коситься на меня с недоверием.

Хан, к голосу которого все они прислушивались, был жилистым мужчиной с крючковатым носом и порослью седой щетины на подбородке. Он сидел на килиме и выслушивал доводы остальных, не поводя бровью. Затем он взял клочок бумаги и шариковой ручкой нарисовал на нем какие-то волнистые линии.

Они обозначали порядок, в котором родственные кланы должны перемещаться по следующему отрезку территории.

Та же сцена описана в Книге Бытия (13:9): бедуинский шейх Авраам выказывает обеспокоенность тем, что его пастухи начнут ссориться с пастухами Лота: «Не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня. Если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево».

Любое переселение кочевников должно быть организовано четко и гибко, как военный поход. Позади — иссохшая трава. Впереди проходы могут быть засыпаны снегом.

Большинство номадов называют себя «хозяевами» пути переселения (по-арабски Иль-Рах,

«Путь»), но на самом деле они всего лишь заявляют о своих сезонных правах на выпас скота. Так время и пространство растворяются друг в друге: месяц и часть дороги делаются синонимами.

Однако передвижение кочевника — в отличие от охотника — не зависит от его собственных хотений. Скорее, это организованное сопровождение скота, в которой инстинктивное чувство сторон света давно приглушено одомашниванием. Это занятие требует навыков и сопряжено с риском. Подобно Иову, кочевник может разориться за один сезон: такая участь постигла номадов в Сахеле, или животноводческие компании в Вайоминге в «великую белую зиму» 1886–1887.

В неблагоприятную пору искушение кочевника отбиться ж сторону от выбранного пути непреодолимо; однако там его уже поджидает армия с автоматами.

— Армия, — говорил старый хан, мой друг, — пришла теперь на смену льву и волку.

Nomos по-гречески означает «пастбище», и «номадом» звался вождь, или глава рода, отвечавший за распределение пастбищ. Поэтому слово nomos также стало означать «закон», «справедливое распределение», «то, что установлено обычаем» — а тем самым и основу всего западно-

го законодательства.

Глагол nemein — «пастись», «выпасать», «бродить», «распространяться» — уже у Гомера употребляется во втором значении: «раздавать», «делить» или «распределять» — особенно когда речь идет о земле, почестях, мясе или вине. Nemesis — это «раздача справедливости», а также «божественной справедливости». Nomisma означает «мелкую монетку» — отсюда «нумизматика».

Кочевниками, известными Гомеру, были гиппомолги («доящие кобылиц») — скифы, которые скитались в повозках по степям нынешней Южной России. Этот народ хоронил своих вождей под земляными курганами, вместе с лошадьми и золотыми сокровищами.

Однако истоки кочевой жизни установить очень трудно.

БАНДИАГАРА, МАЛИ

Мадам Дитерлен, старая африканистка, угощала меня кофе в своем караване у края скалы догонов. Я спросил у нее, какие следы жизни бороро пёль — сахельских скотоводов — увидел бы археолог после того, как они снимут свой лагерь.

Она на минуту задумалась, а потом ответила:

— Они разбрасывают пепел от своих костров. Впрочем, нет ваш археолог их не нашел бы. А вот женщины плетут из стеблей травы маленькие веночки и подвешивают к веткам дерева, под которым отдыхают.

Макс Вебер прослеживает происхождение современного капитализма, возводя его к тем кальвинистам, которые, вопреки притче о верблюде и игольном ушке, провозглашали доктрину справедливого вознаграждения за труд. Однако само представление о перемещении и о возрастании «живого богатства» имеет историю столь же давнюю, что и само скотоводство. Одомашненные животные, как и деньги, имели свободное «обращение», и английское слово currency («валюта») буквально означает «то, что бежит», от французского courir «бежать». По сути, все наши слова, имеющие отношение к деньгам, — capital, stock, pecuniary, chattel, cattle, — а возможно, и само понятие «роста» — восходят еще к древнему

пастушьему быту. [42].

Не правда ль,
Всего на свете слаще быть царем
И с торжеством въезжать в свой град Персеполь?

***Марло, «Тамерлан Великий», Часть I*[43].**

ПЕРСЕПОЛЬ, ФАРС

Мы подходили к Персеполю в дождь. Кашкаиты промокли насквозь и казались счастливыми, животные тоже промокли; когда дождь прекратился, кочевники стряхнули воду с накидок и зашагали дальше танцующей походкой. Мы прошли мимо плодового сада, обнесенного глиняной стеной. После дождя в воздухе сильно пахло цветами апельсина.

Рядом со мной шагал юноша. Он обменялся

---

[42] Примечания: 42

Соответственно: capital (состояние (англ.)) восходит к латинскому capes, capitis — «голова»; английское stock, наряду с прочим, означает не только «(акционерный, финансовый) капитал», но также «поголовье скота»; pecuniary (денежный(англ.)) восходит к латинскому pecus — «деньги», «скот», (англ.); английские chattel (движимое имущество) и cattle (скот) равно восходят через ст. — фр. chatel к лат. capitate. — *Прим. перев.*

[43] Примечания: 43

Акт II, сцена 5 (перевод Э. Линецкой). — *Прим. перев.*

быстрым взглядом с девушкой, ехавшей позади матери на верблюде, но верблюд шел быстрее нас.

Не доходя пяти километров до Персеполя, мы поравнялись с какими-то огромными куполообразными шатрами, которые как раз возводили рабочие: сюда Шах-ин-Шах позвал всякий царственный сброд на свою июньскую коронацию. Шатры для него были разработаны фирмой французских декораторов «Янсен».

Кто-то что-то кричал по-французски.

Я пытался разговорить юношу-кашкаита, чтобы он что-то сказал про эти шатры или хотя бы поглядел на них. Но он только пожал плечами и отвернулся — и мы продолжали идти к Персеполю.

Проходя по Персеполю, я смотрел на желобчатые колонны, на портики, на львов, быков и грифонов; на гладкую, почти металлическую отделку камня, на бесконечные строки надписей, кричащих о мании величия: «Я… я… я… Царь… Царь… сжег… убил… пленил…»

Мои симпатии были на стороне Александра, который сжег этот город.

Я снова попытался уговорить юношу-кашкаита поглядеть на эти руины. Он снова пожал пле-

чами. Ему было все равно, что Персеполь, что рухнувший спичечный домик, — и мы продолжали идти дальше, в горы.

> Пирамиды, арки, обелиски были всего лишь вопиющими знаками тщеславия, преступной дикостью громад древнего великодушия.
>
> ***Сэр Томас Браун, «Гидриотафия»***

ЛОНДОН

Франко С., вернувшись из Ирана в первый раз после падения шаха, говорит, что, среди прочих побочных эффектов переворота Хомейни, кашкаиты снова обрели силу и подвижность.

> Традиция бивачных костров противостоит традиции пирамид.
>
> ***Мартин Бубер, «Моисей»***

Прежде чем выступать перед толпами на нюрнберских сходках, фюрер вначале собеседовал сам с собою в подземном бункере, устроенном по образцу Большой Пирамиды.

— Гляди! Я нарисовал череп на вершине пи-

рамиды.

— А почему ты это нарисовал, Седиг?

— Мне нравится рисовать страшилки.

— А что этот череп делает на пирамиде?

— Там похоронен великан, а это его череп торчит.

— Тебе нравится этот великан?

— Нет.

— Почему?

— Потому что он ест людей.

Из разговора с восьмилетним Седигом эль Фадилем эль Махди

Ужас Яхве перед тесаными сооружениями: «Если же будешь делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных. Ибо, как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их».

Исход, 20:25

«…и никто не знает места погребения его даже до сего дня» [44].

Второзаконие, 34:6

Перед заходом луны в последний раз воет собака, потом настает тишина. Пламя костра трепещет, и стражник зевает. Очень дряхлый

---

[44] Примечания: 44

Моисея. — *Прим. перев.*

человек тихо проходит мимо шатров, ощупывая землю перед собой посохом, чтобы нечаянно не споткнуться об веревки от шатров. Он уходит вдаль. Его народ совершает переход к землям с более сочной травой. А у Моисея назначено свидание с шакалами и грифами.

Помпей в Иерусалиме, войдя в Храм, повелел, чтобы ему показали Святая Святых, и был очень удивлен, оказавшись в пустой комнате.

Геродот рассказывает о том, как греки, приплывшие в Египет и увидевшие рукотворные горы из известняка, назвали их пирамидами — из-за сходства с пшеничными пирожками похожей формы, какие продавались на уличных лотках. Еще он замечает, что среди местных жителей сохранилась память о времени их сооружения как о чем-то ужасном, и потому они даже не в силах заставить себя выговорить имена царей-строителей, Хеопса и Хефрена, и называют их «пирамидами пастуха Филитиса, который в те времена пас свои стада в этих местах» [45].

---

[45] Примечания: 45
Геродот, II, 128 — *Прим. перев.*

Каменная кладка: да человеческих ли то рук дело?... я содрогаюсь при мысли о египетских фараонах.

Герман Мелвилл, «Дневник путешествия в Европу и Левант»

МЕЧЕТЬ ДЖИНГЕРЕБЕР, ТИМБУКТУ

Ряды унылых глиняных арок. Помет летучих мышей. На стропилах — осиные гнезда. Лучи солнечного света падают на тростниковые подстилки, как лучи от увеличительного стекла.

Марабут оторвался от своих молитв, чтобы задать мне пару вопросов.

— Правда, что есть такой народ — «американцы»? — спросил он.

— Правда.

— Говорят, они побывали на Луне.

— Это так.

— Они — богохульники.

Очень краткая История Небоскреба:

Все знают, что Вавилонская башня замышлялась как выпад против Небес. Чиновники, отвечавшие за ее возведение, были малочислен-

ны; рабочая сила была неисчислима: и вот, для того, чтобы команды не понимались превратно, от всех работников требовали говорить на одном языке.

Мало-помалу, по мере того, как ряды кладки ложились одна на другую, Высшие Власти начали тревожиться, не бессмысленна ли сама мысль о войне против Небес: а вдруг никакого Бога на Небесах вовсе нет? На чрезвычайной сессии Центрального Комитета было решено запустить в небо исследовательскую ракету. Одновременным запуском ввысь взлетело сразу несколько реактивных снарядов; а когда они возвратились на Землю, обагренные кровью, то послужили доказательством того, что Бог все-таки существует, и что Он все-таки смертен. И власти постановили продолжить строительство Башни.

Он же, со Своей стороны, разгневался на то, что его укололи в зад. Однажды утром, с недовольным пыхтеньем, он толкнул под руку одного из каменщиков, стоявшего на верхнем уступе и тот уронил кирпич на голову другого каменщика, стоявшего ниже. Это была случайная оплошность. Все понимали, что это случайная оплошность, но тот каменщик, внизу, принялся выкрикивать угрозы и оскорбления. Товарищи тщетно пыта-

лись успокоить его. Потом все строители начали становиться на сторону одного из тех двоих, даже не зная, из-за чего разгорелась ссора. И каждый в своем праведном гневе отказывался слушать соседа и переходил на свой язык, так что все перестали друг друга понимать. Центральный Комитет оказался бессилен, и артели строителей, каждая из которых, говорила отныне на своем языке, разбрелись прочь друг от друга, по разным уголкам Земли.

По *«Иудейским древностям»* Иосифа Флавия, I, IV

> Без Принуждения не могло быть основано ни одно поселение. Над рабочими не было бы надсмотрщика. Реки не разливались бы.
>
> ***Шумерский текст***

У вавилонян «*баб-иль*» означало «Врата Бога». У евреев то же самое слово означало «беспорядок», «столпотворение», возможно, «бессмысленную какофонию». Зиккураты Месопотамии были «Вратами Бога», выкрашенными в семь цветов радуги и посвященными Ану и Энлилю — божествам, олицетворявшим Порядок и Принуждение.

Поистине, это было чудесное прозрение со

стороны древних евреев — при том, что они оказались зажатыми между двумя воинственными империями, — которые мыслили себе Государство как Бегемота или Левиафана — чудовище, угрожающее человеческой жизни. Пожалуй, они были первым народом, осознавшим, что Башня — это хаос, что порядок — это хаос, и что язык — дар языков, который Яхве вдохнул в уста Адама, — это мятежная, непокорная и могучая сила, по сравнению с которой устои пирамид — ничтожный прах.

В ПОЕЗДЕ ФРАНКФУРТ-ВЕНА

Он ехал повидаться со стариком-отцом, венским рабби. Он был низеньким и толстым, с бледной белой кожей и светло-рыжими пейсами. На нем был длинный саржевый лапсердак и бобровая шапка. Он был очень застенчив — он стеснялся раздеваться, когда в купе есть кто-то еще. Проводник заверил его, что он будет ехать один.

Я сказал, что выйду в коридор. Поезд проезжал сквозь лес. Я открыл окно и вдохнул сосновый воздух. Через десять минут, когда я вернулся в купе, он уже лежал на верхней полке, раскрепостившийся и словоохотливый.

Он шестнадцать лет проучился в талмудической академии в Бруклине и за эти годы ни разу не виделся с отцом. Утром они должны были встретиться вновь.

До войны его семья жила в Сибиу, в Румынии, а когда началась война, они надеялись, что беда обойдет их стороной. Но мотом, в 1942 году, нацисты нарисовали звезду на их доме.

Рабби сбрил бороду и обрезал пейсы. Служанка-гойка раздобыла ему крестьянскую одежду — войлочную шляпу, блузу с поясом, овчинный тулуп и сапоги. Он обнял жену, двух дочерей и сына-младенца: всем четверым было суждено погибнуть в Березине. Он взял на руки сына-первенца и подался в леса.

Рабби вместе с сыном перешли через Карпаты с их буковыми лесами. Пастухи давали им приют и угощали мясом: то, как пастухи резали овец, не противоречило правилам кашруга. Наконец, они пересекли турецкую границу и перебрались в Америку.

В Америке рабби никогда не чувствовал себя в своей тарелке. Пускай он сочувствовал сионизму, сам он никогда не стал бы присоединяться к этому движению: Израиль — не страна, а идея. Где Тора, там и Царство. Отчаявшись, он уехал

в Европу.

А теперь отец с сыном возвращались в Румынию, потому что несколько недель тому назад рабби получил знамение. Однажды поздней ночью кто-то позвонил в его венскую квартиру, и он неохотно открыл дверь. На лестничной площадке стояла старуха с корзинкой в руках. У нее были сизые губы и редкие седые волосы. Он с трудом узнал свою бывшую служанку-гойку.

— Наконец я разыскала вас, — сказала она. — Ваш дом цел. Ваши книги в целости и сохранности, даже ваша одежда цела. Годами я убеждала соседей, что это гойский дом. А теперь я умираю. Вот ключ.

ШАХРАК, АФГАНИСТАН

Таджики утверждают, что раньше всех поселились на этой землё. Они выращивают пшеницу, лен и арбузы. У них продолговатые смиренные лица, они в поте лица трудятся над сооружением оросительных каналов. Они держат бойцовых куропаток и не умеют ухаживать за лошадьми.

В долине над таджикской деревней мы подошли к лагерю аймаков фирузкухи. Крыши их юрт представляли собой белые конусы, а сами юрты были изукрашены снаружи ромбами, завитками

и клеточками всех мыслимых цветов, будто геральдическое поле. На васильковом лугу паслись лошади, а вдоль ручья росли ивы с белесыми листьями. Мы увидели толстохвостую овцу с таким здоровенным хвостом, что его привязали к телеге. Рядом с юртами женщины в фиолетовых одеждах чесали шерсть.

Была та пора года, когда земледельцы и кочевники, после периода прохладного равнодушия, неожиданно делаются лучшими друзьями. Поспел урожай. Кочевники закупают зерно на зиму. Жители деревни покупают сыр, шкуры и мясо. Они зазывают овец на свои поля — разрыхлить стерню и унавозить землю перед осенним севом.

Кочевник и сеятель — вот два плеча рычага так называемой «неолитической революции», которая, в ее классической форме, произошла приблизительно в 8500 г. до н. э. на склонах хорошо орошаемой «земли холмов и долин» — «плодородного полумесяца», который пролег дугой от Палестины до юго-восточного Ирана. Здесь, на высоте около 900 м, дикие предки наших коз и овец щипали дикую пшеницу и дикий ячмень.

Постепенно, по мере того как одомашнивались и окультуривались все эти четыре вида,

крестьяне расселялись внизу, в пойме рек, приносящих плодородный ил; из этих поселений и возникли позже первые города. Скотоводы же уходили на высокогорные летние пастбища и постепенно создали свой, конкурирующий, уклад жизни.

> Амориты, которые не знают зерна… Народ, чьи набеги подобны урагану… Народ, который никогда не жил в городах…
>
> ***Шумерский текст***

УИССА, ПЛАТО АИР, НИГЕР

Сад был круглым. Почва — черной. По периметру его окружала изгородь из колючих кустарников — чтобы не забредали верблюды и козы. Посреди сада, по обеим сторонам от колодезя и водоема, возвышались две древние финиковые пальмы.

Четыре оросительные канавы делили сад на четверти. Каждая из этих четвертей, в свой черед, распадалась на лабиринт грядок-островков, засаженных горохом, бобами, луком, морковью, салатом, кабачками и помидорами.

Садовником был негр-невольник. Он расхажи-

вал голым, если не считать набедренной повязки. Он был поглощен своей работой. Он вытаскивал из шахты колодца кожаное ведро с водой, а потом следил за тем, как вода разбегается по лабиринту канавок. Когда очередной овощ орошался надлежащим количеством воды, он запруживал канаву мотыгой и направлял поток в другую сторону, к соседним грядкам.

В долине неподалеку виднелись другие круговые частоколы из колючек: туда туареги загоняли на ночь своих коз.

Тот негр, заботившийся о саженцах, поступал так же, как поступали первые диктаторы на земле. В шумерских и египетских архивах можно найти записи о том, что древнейшие цари называли себя «владыками орошающих вод»: они или дарили жизнь своим увядающим подданным, или попросту перекрывали краны.

Авель, в чьей гибели Отцы Церкви усматривали указание на грядущее мученичество Христа, был овцеводом. Каин же был оседлым земледельцем. Авель был любимцем Бога, потому что сам Яхве был «Богом Пути», чья неугомонность препятствовала поклонению другим богам. Однако Каину — будущему строителю первого города на

земле — было обещано владычество над братом.

В одном стихе из Мидраша, где толкуется эта ссора, говорится, что сыновья Адама поровну унаследовали мир: Каину во владение досталась вся земля, а Авелю — все живущее на ней; и Каин обвинил Авеля в нарушении границ.

Сами имена двух братьев — уже пара противоположностей. Имя «Авель» происходит от древнееврейского «hebel», что означает «дыхание» или «пар» — все, что живет и движется и является преходящим, как и его собственная жизнь. А корень имени «Каин», видимо, тот же, что и в глаголе «kanah» — «покупать», «приобретать», «владеть собственностью», и, следовательно, «править» или «подчинять».

«Каин» значит также «ковач». А поскольку в некоторых языках — даже в китайском — слова, обозначающие «насилие» и «подчинение», тесно связаны с открытием металлов, то, возможно, Каину и его потомкам было суждено заниматься черными кузнечными ремеслами.

Гипотетическое изложение истории Первого Убийства:

Каин — трудолюбивый малый, он изо всех сил вскапывает землю. День жаркий и безоблачный.

В голубой вышине кружат орлы. Последние снега еще сползают с гор в долину, но земля уже бурая и сухая. Мухи лезут ему в глаза. Он отирает пот со лба и снова берется за работу. Его мотыгой служит каменное лезвие, к которому прибита деревянная рукоятка.

А где-то там, наверху, на склоне горы, Авель отдыхает в тени скалы. Он играет на дудочке — выводит, трель за трелью, один и тот же назойливый мотив. Каин прислушивается. Распрямляет затекшую спину. А потом, прикрыв глаза ладонью от слепящего солнца, всматривается в поля у реки. Овцы испортили все его утренние труды. Не дав себе времени на раздумья, он пускается бежать…

Согласно другому, менее простительному объяснению, Каин устроил Авелю засаду и свалил камень ему на голову. В таком случае, братоубийство стало плодом долго вынашиваемой злобы и зависти — зависти узника к свободе бескрайних просторов.

Яхве позволяет Каину совершить отмщение, но требует и расплаты за грех. Он навсегда лишает его «плодов земли» и прогоняет его «изгнанником и скитальцем» в землю Нод: «Нод» означает «пустошь» или «пустыню», где некогда, до него,

скитался Авель.

«Travel», «путешествие», — это то же слово, что и «travail», «тяжкий телесный или умственный труд», «работа, особенно мучительная или принудительная», «напряжение», «лишения», «страдания». «Странствие».

> Град Каина построен на Человечьей Крови, а не на Крови Быков или Коз.
>
> ***Уильям Блейк, «Призрак Авеля»***

«Одинокие и среди народов», искусные в набегах, жадные до богатств, но питавшие отвращение к имуществу, одержимые мечтой всех странников об обретении надежного дома: пожалуй, ни один другой народ не чувствовал острее евреев нравственной двусмысленности оседлой жизни. Даже их Бог — это проекция их вечных сомнений. Их Книгу — Ветхий Завет, да и Новый тоже, — вполне можно истолковать, по крайней мере на одном уровне, как монументальный диалог между Ним и Его Народом о плюсах и минусах жизни на Земле.

Быть ли ей землей для полей и домов? Или землей хлеба и вина? Или землей с городами, которых они не строили, и виноградниками,

которых они не насаждали? Или ей суждено оставаться страной черных шатров и козьих троп? Страной кочевников, текущей молоком и диким медом? Или Царством, где народ «будет спокойно жить на месте своем»? (2-я Царств, 7:10) Или же то было, как подозревал Гейне, «переносное царство», которое может существовать лишь в людских сердцах?

Яхве по своему происхождению — Бог Пути. Его святилище — передвижной ковчег, Его жилище — скиния, Его жертвенник — нагромождение грубых камней. И хотя он обещает Своим Детям хорошо орошаемую землю (ведь любимые цвета бедуинов — это зеленый и голубой), втайне Он желает, чтобы они жили в пустыне.

Он выводит их из Египта, подальше от сытных котлов и от бича надсмотрщика, откуда три дня пути до сурового чистого воздуха Синая. Там Он дает им Праздник опресноков Пасху: эта трапеза состоит из испеченного на огне ягненка, горьких трав и пресного хлеба, приготовленного не в печи, а на раскаленном камне. А еще Он дает им заповедь есть «с поспешностью», с обувью на ногах и посохом в руках: это должно служить вечным напоминанием о том, что спасение народа — в движении.

Он дает им «круговой танец», hag — танец, который подражает прыжкам козлов во время весенних миграций, «вроде того, как ходит кто с дудочкой по горам Господним» Он является им в Неопалимой Купине и в Столпе Огненном. Он является всем тем, чем не является Египет. Однако Он позволит себе и сомнительную почесть иметь Храм — и еще пожалеет об этом: «Поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя Мое, чтоб осквернить его» (Иеремия 7:30).

Гетто Восточной Европы стали теми клочками пустыни, «где не росло никакой зелени». Христиане, помыкавшие евреями, запрещали им владеть землей или домами, выращивать овощи или заниматься каким-нибудь ремеслом, кроме ростовщичества. И хотя им позволялось собирать хворост, пилить доски они уже не могли, чтобы это не привело к строительству.

Гои, которые устанавливали все эти запреты, думали, что тем самым наказывают евреев за преступление — убийство Христа, — как Яхве некогда покарал Каина. А правоверные евреи верили, что, мирясь с этими запретами, они заново проживают переход через Синай, где народ избранный некогда обрел благоволение в глазах Господа.

Пророки Исайя, Иеремия, Амос и Осия ратовали за возрождение кочевнического уклада и поносили разврат и порчу, порожденные городской цивилизацией. Пустив корни в землю, «заложив дом к дому и поле к полю», превратив Храм в скульптурную галерею, народ отвратился от своего Бога.

Надолго ли, Господи?... «Доколе не опустеют города...» [46] Пророки ждали «дня восстановления», когда евреи наконец вернутся к скудному аскетизму кочевой жизни. В Видении Исаии им обещается приход Спасителя, которого будут звать Эммануил и который будет пастухом.

Когда Навуходоносор, царь Вавилона, загнал евреев за стены Иерусалима, Иеремия напомнил им о Рехавитах — единственном доме, который все еще продолжал противиться обольщениям оседлой жизни:

Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: «не пейте вина ни вы, ни дети ваши во веки; и домов не стройте и семян не сейте, и виноградников не разводите и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время

---

[46] Примечания: 46
Исайя 6:11

прожить на той земле, где вы странниками».
Иеремия 35:6-7

Одним лишь Рехавитам, сохранявшим тактическую мобильность, оставались неведомы ужасы военной осады.

В сочинении «Мукаддима» (введении к трактату «Большая история») Ибн-Халдун [47] — философ, который размышлял о человеческом положении с точки зрения кочевников, — писал:

Народ Пустыни ближе к доброму началу, чем оседлые народы, ибо он стоит ближе к Первичному Состоянию, и более удален от всех злых привычек, которыми заражены сердца оседлых жителей.

Под «народом пустыни» Ибн-Халдун понимает бедуинов, вроде тех, кого он некогда, во дни своей воинственной юности, набирал себе в наемники из глубины Сахары.

Годы спустя, когда он уже успел заглянуть в раскосые глаза Тамерлана и увидеть горы черепов и пепел сожженных городов, он, вслед за ветхозаветными пророками, осознал пагубные опасности цивилизации и стал с тоской смотреть

---

[47] Примечания: 47

Ибн-Халдун (1332–1406) — арабский мыслитель которого считают основателем социологии. — *Прим. перев.*

на жизнь в шатрах.

Ибн-Халдун основывал свои рассуждения на догадке о том, что люди разлагаются, морально и физически, по мере того как тяготеют к городам.

Тяготы жизни в пустыне, полагал он, предшествовали городской изнеженности. Таким образом, пустыня явилась источником цивилизации, а народы пустыни сохранили превосходство над оседлыми народами, потому что остались более воздержанными, свободными, здоровыми, менее надменными и трусливыми, менее склонными повиноваться порочным законам и в целом более склонными к исцелению.

МОНАСТЫРЬ СИМОНАСПЕТРАС, ГОРА АФОН

Молодой венгр, устав от восхождения на Святую Гору, уселся на балконе и стал глядеть на бушевавшее внизу море. Он учился на эпидемиолога, но потом бросил эту работу и стал подниматься на все священные горы мира. Он надеялся взойти на гору Арарат и пройти по хребту Кайлас в Тибете.

— Человек, — сказал он вдруг, безо всякого предисловия, — не должен был вести оседлый образ жизни.

К такому выводу он пришел, изучая механизм эпидемий. История заразных болезней — это

история людей, живущих в собственной грязи. Еще он заметил, что ящик Пандоры, где заключались все беды и болезни, был не чем иным, как неолитической погребальной урной.

— Поверьте моему слову, — сказал он. — По сравнению с эпидемиями ядерное оружие еще покажется безобидной игрушкой.

> Это была никудышная летняя Прогрессия. Было так холодно, как редко бывает в эту пору года; стояла худшая погода, и какую только можно совершать путешествие, и особенно длительное путешествие.
>
> ***Ланселот Эндрюз, 1622***

В среднеанглийском языке слово «progress» означало «странствие», в частности, «сезонное путешествие», «объезд».

Словом «progress» называли путешествие, в ходе которого король объезжал замки своих баронов; епископ объезжал свои епархии; кочевник — свои пастбища; паломник — одно за другим святые места. «Моральные» или «материальные» формы прогресса были неизвестны вплоть до XVII столетия.

В тибетском языке «человек» определяется

выражением a Gro-ba — «тот, кто ходит», «тот, кто переселяется». Точно гак же слово араб (или бедуин), «житель шатров», противопоставляется хазару — «тому, кто живет в доме». И все же временами даже бедуин вынужден вести оседлую жизнь: в жаркий засушливый август — месяц, давший название Рамадану (от rams — «жечь»), — он оказывается привязан к колодцу посреди пустыни.

> При всех прочих различиях, в мире есть только два типа людей: те, кому сидится дома, и те, кому не сидится.
>
> ***Киплинг***

Однако и здесь, быть может, дело в сезонных изменениях…

Редко какой климат лишен «тощего» сезона — поры мучений и вынужденной бездеятельности, когда люди слабее, а хищники — голоднее обычного. (Рамадан — это тоже «пора зверей»). В своем очерке о сезонной неустойчивости эскимосских сообществ Марсель Мосс противопоставляет изобильную, «безбожную» летнюю жизнь в шатрах голодной, «духовной» и эмоционально богатой деятельности, происходящей в зимних поселениях в иглу. С другой стороны, Колин

Тёрнбулл рассказывает, что пигмеи мбути из Экваториальной Гвинеи проводят большую часть года, скитаясь по дождевым лесам в условиях гарантированного благополучия: однако и они короткое время живут оседло, возводя в «ритуал» стадию скудости (и оседлости) там, где настоящей нужды не существует.

Иногда мне казалось возможным выдвинуть теорию о том, что оседлость — а следовательно, и цивилизация, — это «тощий сезон, обозначенный прописными буквами».

ГОНКОНГ

Падди Буз рассказывает о том, как встретился на улицах провинциального китайского городка с великим учителем-даосом. На нем были синие одеяния великого учителя и высокая шапка. Вместе со своим молодым учеником он исходил вдоль и поперек весь Китай.

— Но что же вы делали в годы «культурной революции»? — спросил его Падди.

— Гулял по горам Кунь-Лунь.

Как-то раз, пока мы с Аркадием ехали куда-то в машине, я вспомнил то место из «Древней Руси» Вернадского, где описывается, как во время

набегов кочевников крестьяне-славяне залезали в болото и дышали через тростинки, дожидаясь, когда затихнет топот копыт.

— Приезжай познакомиться с моим отцом, — сказал мне Аркадий. — Они с товарищами делали то же самое, когда по их деревне проезжали немецкие танки.

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum. [48].

Хрестоматийная строка Вергилия, описывающая топот коней, скачущих по равнине, имеет свое персидское соответствие в высказывании человека, пережившего нашествие монголов, разграбивших Бухару: Amdand и khandand и sokhtand и ku— shtand и burdand и raftand. — «Пришли, подкопали, сожгли, схватили добычу и ушли».

В своей «Истории Завоевателя Мира» Джувайни говорит, что все написанное им и весь ужас того времени заключены в этой единственной строчке.

Из «Книги Марко Поло» Генри Юла, *I, 233*

---

[48] Примечания: 48

Глухо копыта коней колотят по рыхлому полю (Энеида, VIII, 596. Перевод С.Ошерова) — *Прим. перев.*

Пеший человек — и не человек вовсе.

Техасский ковбой

О жестокости кочевников:
Нет у меня мельницы с ивами,
Есть у меня конь да кнут,
Я убью тебя и ускачу.

Туркмен Йомут

В Новгородской летописи за 1233 год есть запись о том, как из Татарии явилась ворожея и с нею двое мужчин, которые потребовали десятину со всего: «людей, князей, коней, сокровищ, всего десятину».

Русские князья отказались платить — и началось монгольское нашествие.

ЛЕНИНГРАД

Пикник в кабинете профессора археологии: икра, черный хлеб, ломти копченой осетрины, лук, редиска и бутылка «Столичной» — на двоих.

Почти все утро я обсуждал с ним его взгляды на механизм кочевнических нашествий. Тойнби придерживался теории, что период засухи, наступивший где-нибудь в степях Центральной Азии,

заставлял какое-нибудь племя сняться с привычных пастбищ и тем самым вызывал эффект «карточного домика», так что волны переселений докатывались и до Европы, и до Китая.

Однако меня поражало, что кочевники, по всей видимости, совершали набеги не в пору нужды, а в пору изобилия; в пору максимального роста, когда трава была всего зеленее и скотоводы позволяли своим стадам умножаться сверх необходимого.

Что касается профессора, то его кочевники, похоже, перемещались аккуратными, стройными, послушными кругами, не беспокоя соседей и не нарушая нынешних границ Социалистических Республик.

Потом, после еще нескольких стопок водки, он заключил меня в братские, панъевропейские объятия и, растянув себе глаза в узкие щелки, спросил:

— Мы же терпеть вот этого не можем, правда?

— Только не я, — ответил я.

Le Desert est monotheiste. [49] Этот афоризм Ренана подразумевает, что чистый горизонт и слепящее небо должны очищать разум от всего

---

[49] Примечания: 49

Пустыня монотеистична (*фр.*) — *Прим. перев.*

постороннего, позволяя ему сосредоточиться на Высшем Божестве. Но ведь жизнь в пустыне совсем иная!

Чтобы выжить, обитатель пустыни — будь он туарег или австралийский абориген — должен развить в себе безошибочное чувство сторон света. Он должен непрерывно расшифровывать, называть, сопоставлять тысячу различных «знаков» — от следов жука-навозника до узора песчинок на поверхности дюны, — чтобы понять, где находится он сам; где находятся другие; где выпадал дождь; где ему доведется в следующий раз поесть; будут ли ягоды на растении Y, если растение X сейчас в цвету, и так далее.

Парадокс монотеистических религий состоит в том, что, хотя они и зародились в пустыне, сами народы пустыни выказывают решительно рыцарственное безразличие к Всевышнему. «Мы отправимся к Богу и поклонимся ему, — заявил Пэлгрейву [50] один бедуин в 1860-х годах, — и, если он окажется гостеприимен, то мы останемся с ним: если же нет, то мы сядем на коней и поедем от него прочь».

---

[50] Примечания: 50

Уильям Пэлгрейв (1821–1888) — английский востоковед. — *Прим. перев.*

Мухаммед говорил: «Не может стать пророком человек, который прежде не был пастухом». Однако он же был вынужден признать, что арабы, живущие в пустыне, — «самый закоснелый в вероломстве и лицемерии народ».

До недавних пор бедуину, кочевавшему вблизи Мекки, и в голову не приходило, что стоит хотя бы раз в жизни обойти мусульманские святыни. Однако хадж, «священное путешествие», являлось само по себе «ритуальным» кочевьем: оно было призвано отъять людей от их грешных жилищ и восстановить, пускай временно, равенство всех людей перед лицом Бога.

Паломник во время хаджа заново обретал первичное состояние Человека, а если он умирал, совершая хадж, то, как мученик, отправлялся прямиком в Рай. Точно так же выражение *Илъ-Рах*, «Путь», вначале служило «техническим термином» и применялось к «дороге», или «пути переселения», — и лишь потом было подхвачено мистиками и стало обозначать «Путь к Богу».

Это понятие имеет соответствие в центрально-австралийских языках, где выражение tjurna djugurba означает «отпечатки следов Предка» и «Путь Закона».

Похоже, где-то в самых глубинах человеческого сознания всегда существовала связь между «нахождением пути» и «законом».

Для араба-бедуина Ад — это солнечное небо. Солнце — это крепкая, костлявая старуха, скаредная и ревнивая к жизни. Она иссушает пастбища и опаляет кожу людей.

Луна, же, напротив, — это гибкий и полный сил юноша, который охраняет сон кочевника, сопровождает его в ночных переходах, приносит дождь и увлажняет растения росой. К несчастью, он женат на старухе-солнце. Проведя с ней одну-единственную ночь, он начинает чахнуть и таять. Ему требуется целый месяц, чтобы восстановить силы.

Норвежский антрополог Фредрик Барт пишет о том, как в 1930-е годы Реза-шах запретил бассери, одному из иранских кочевых племен, переселяться с их зимних пастбищ.

В 1941 году шах был низложен, и бассери вновь были вольны совершать путешествие длиной в 450 км к горам Загрос. Свобода у них была — но скота уже не осталось: их тонкорунные овцы задохнулись на южных равнинах. Но все-таки бассери пустились в путь.

Они вновь сделались кочевниками, а значит, вновь стали людьми. «Для них наивысшей смысл, — писал Барт, — заключался в свободе переселения, а не в обстоятельствах, которые делают это переселение экономически целесообразным».

Когда Барт дошел до недостатка ритуала у бассери — или до отсутствия хоть каких-нибудь укорененных верований, — он заключил, что само Странствие и было ритуалом, что дорога к летним высокогорным пастбищам и была Путем, а установка и разборка шатров были молитвами куда более осмысленными, чем те, что звучат в мечетях.

Набеги — вот наше земледелие.

Бедуинская поговорка

Я против брата,
Мы с братом против двоюродного брата,
Я, брат и двоюродный брат против соседей,
Все мы против чужестранца.

Бедуинская поговорка

В 1928 году арабист Алоис Музиль (брат Роберта), подсчитал, что у бедуинов племени руала четыре пятых мужчин погибают в войнах, в междоусобных распрях или умирают от полученных ран.

С другой стороны, охотники, которые совершенствуются в искусстве минимума, намеренно ограничивают свою численность, и потому их жизнь и земля находятся в куда большей безопасности. Спенсер и Гиллен писали о туземце Центральной Австралии, что, хоть он изредка и может участвовать в ссорах и стычках, сама идея присвоить кусок чужой территории даже не приходит ему в голову: такое отношение можно объяснить «верой в то, что его предки, жившие во Время Сновидений (*Алчеринга*), занимали в точности тот же участок земли, что занимает теперь он сам».

Пастушья этика в Австралии:

Кто-то в министерстве по делам аборигенов — кажется, сам министр — заметил, что на Северной Территории «скот, принадлежащий иностранцам», имеет больше прав, чем австралийские граждане.

Пастушья этика в древней Ирландии:

С тех пор, как я взял в руки копье, не было и дня, чтобы я не убивал по человеку из Коннаута.

Коналл Кернах, *ольстерский скотовод*

Любое кочевое племя — это военная машина в зародыше, всегда готовая если не напасть на других кочевников, то устроить набег на город или угрожать его жителям.

И потому оседлые жители исстари набирали из кочевников воинов-наемников: или для того, чтобы отразить угрозу кочевников (так казаки бились за царя против татар); или, если кочевников рядом не было, для войны против других государств.

В Древней Месопотамии такие «наемники» вначале преобразовались в касту военной аристократии, а затем и в правителей Государства. А еще можно выдвинуть такую гипотезу: Государство как таковое возникло в результате «химического» слияния скотовода с земледельцем, которое произошло, как только выяснилось, что приемы принуждения скота к покорности можно применять к инертным крестьянским массам.

Первые в мире диктаторы, помимо того что были «владыками орошающих вод», называли

себя «пастырями народов». В самом деле, во всем мире есть слова, одинаково применимые к «рабам» и «одомашненной скотине». Массы можно пригонять, доить, ограждать (чтобы защитить их от враждебных людей — «волков») — и, когда настает необходимость, вести на бойню.

Таким образом, Город есть овчарня, сооруженная в Саду и вытеснившая его.

Возможно еще одно объяснение (которое вполне применимо к игровой теории войн): а именно, что армия, любая профессиональная армия или военное ведомство, являются, сами того не зная, племенем суррогатных кочевников, которое выросло уже внутри Государства; которое кормится подачками Государства; без которого Государство рухнуло бы; однако неугомонность этих «кочевников» в конечном счете губительна для Государства, потому что они постоянно, как оводы, подстрекают его к действиям.

«Труды и дни» Гесиода предлагают метафорическую модель того, как вместе с техническим прогрессом происходит падение человечества. Его человеческие поколения от Золотого века переходят к Серебряному, Бронзовому и Железному. Бронзовый и Железные века были реальностью, подкрепленной археологией. Гесиод знал о них

не понаслышке; они завершились небывалым всплеском войн и насилия. Он явно не мог ничего знать о палеолите и неолите, так что его «золотое» и «серебряное» поколения служат символическими понятиями. Выстроенные в порядке, обратном качествам металлов, эти поколения, сменяющие друг друга, представляют процесс вырождения: от непортящегося — к запятнанному, разъеденному и ржавому.

Люди «золотого» поколения, рассказывает Гесиод, жили в ту пору, когда Небесами правил Хронос, или «Природное Время». [51]. Земля дарила им изобилие. Они жили счастливо и беззаботно, беспечно скитаясь по своим землям, не имея ни добра, ни домов и не ведя войн. Они ели сообща, и их сотрапезниками были бессмертные боги. Умирали они, не чувствуя дряхлости в руках и ногах: их словно окутывал сон.

В христианскую эпоху Ориген («Против Цельса», IV, 79) опирался на текст Гесиода, утверждая, что в самом начале человеческой истории люди пребывали под защитой сверхъестественных сил, а потому еще не было разделения между их

[51] Примечания: 51

На самом деле у Гесиода речь идет не о Хроносе, а о Кроне: «Был еще Крон-повелитель в то время владыкою неба» (строка 111, перевод В. Вересаева). — *Прим. перев.*

божественным и человеческим естеством; или, если несколько переиначить это высказывание, еще не было противоречия между инстинктами человека — и его разумом.

> В Ливии, в стране диких зверей, живут гараманты, которые сторонятся людей и избегают всякого общения. У них нет никакого оружия ни для нападения, ни для защиты.
>
> ***Геродот, IV, 174***[65][52].

Ранние христиане полагали, что, вернувшись в пустыню, они смогут взять на себя муки Христа времен скитаний по Пустыне.

> Они бродят по пустыне, будто дикие звери. Подобно птицам они носятся по холмам. Они добывают себе корм, как животные. Их путь каждый день неизменен и предсказуем, ибо они питаются кореньями, естественными порождениями Земли.
>
> ***Из «Духовного луга» Св. Иоанна Мосха,***

---

[52] Примечания: 52
Перевод Г. А. Стратановского — *Прим. перев.*

описание отшельников, прозванных «восками».

В мифах любого народа сохранена память о невинности первых людей — Адама в Райском саду, миролюбивых гиперборейцев, обитателей Уттаракуру, или «людей безупречной добродетели» даосов. Пессимисты часто усматривают в рассказах о Золотом веке привычку отворачиваться от сегодняшних бед и вздыхать о счастливых днях юности. Однако в описаниях Гесиода нет ничего такого, что выходило бы за рамки правдоподобия.

У реальных или полувымышленных племен, помещаемых на окраины ведомых земель на древних географических картах, — у всех этих атавантов, фенни, парросситов или пляшущих сперматофагов, — имеются сегодняшние «двойники»: бушмены, шошоны, эскимосы и аборигены.

Одна характерная примета людей Золотого века: в сказаниях всегда говорится, что они блуждали.

На побережье Мавритании, недалеко от того места, где потерпела крушение «Медуза» (с картины Жерико «Плот Медузы»), я увидел хлипкие

пристанища имрагенов — касты рыбаков, которые ловят неводами кефаль и пользуются — с весельем и изяществом — тем же статусом парий, что и немади.

Похожие рыбацкие хижины стояли, должно быть, на берегах моря Галилейского: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков».

Другой взгляд на Золотой век — это взгляд «антипримитивистов»: они считают, что человек, сделавшись охотником, стал охотиться на себе подобных и умерщвлять их.

Это очень удобная доктрина, если а) хочешь убивать других; б) если хочешь принять «драконовские» меры для того, чтобы не дать убийственным порывам людей вырваться из-под контроля.

В обоих случаях Дикарь представляется существом низким и злобным.

В своих «Размышлениях об охоте» Ортега-и-Гассет отмечает, что охота (в отличие от насилия) никогда не бывает обоюдной: охотник охотится, а дичь пытается убежать. Леопард, раздирая антилопу, свирепствует и злится на нее ничуть не больше, чем антилопа — на траву, которую она жует. Во многих рассказах об охотниках специально подчеркивается, что само умерщвление — это миг сострадания и благоговения: благодар-

ности животному, которое согласилось умереть.

Один «буши» в пабе в Глен-Армонде обернулся ко мне и спросил:

— Знаешь, как мы, черные, охотимся?

— Нет.

— Инстинкт.

31

В одной из своих ранних записных книжек я сделал аккуратные выписки из «Дневника» сэра Джорджа Грея, писавшегося в 1830-е годы. Грей был, пожалуй, первым белым исследователем, который понял, что, несмотря на временные неудобства, аборигенам «живется хорошо».

Лучшее место в его «Дневнике» — это описание чернокожего, который напрягает все свои телесные и умственные силы, чтобы выследить и убить кенгуру.

Последний абзац закручивается в коду:

...его грациозные движения, осмотрительное приближение, тот покой и отдохновение, которым пронизан весь его облик, когда добыча его вспугнута, — ото всего этого невольно трепещет воображение, и так и хочется прошептать себе самому: «Как красиво! Как же это красиво!»

Я одурачил самого себя, решив, что эта «красота» хотя бы частично должна была дожить до наших дней. Я попросил Рольфа отыскать человека, который взял бы меня на охоту.

Я уже пару недель просидел тут без дела, и меня

стало одолевать то отвращение к словам, которое обычно возникает из-за отсутствия физической активности.

— Лучше всего на охоту отправляться с Алексом Тджангапати, — сказал мне Рольф. — Он немного говорит по-английски.

Алекс был стариком с волосами, зачесанными вверх и стянутыми охряным жгутом. Он ходил в бархатном темно-фиолетовом женском пальто с плечиками. Не думаю, что под ним было надето еще что-нибудь. Он каждый день отправлялся бродить по бушу, а по вечерам шатался по магазину, не расставаясь со своими охотничьими копьями, и глазел на остальных обитателей Каллена как на настоящий сброд.

Когда Рольф попросил его взять с собой на охоту меня, Алекс состроил обиженно-недовольное лицо и зашагал прочь.

— Ну, вот и договорились, — сказал я.

— Ничего! — утешил меня Рольф. — Найдем кого-нибудь другого.

На следующий день около полудня в Каллен приехал на грузовике Коротышка Джонс. Он первым сумел проехать через разлив. Хотя по пути он увяз на день и на ночь по эту сторону от Попанджи, и ребятам из «Магеллан Майнинг»

пришлось вытаскивать его.

С ним приехала девушка. Это была подруга Дона, завхоза.

— Хорошая девчонка, — сказал Коротышка, подмигнув.

У нее были стриженые волосы и грязное белое платье. Дон, похоже, очень обрадовался, увидев ее, но она обвела его холодным оценивающим взглядом, а потом продолжала улыбаться Коротышке.

— Я совсем не жалею о том, что мы завязли, — сказала она.

Мы с Доном помогли выгрузить коробки из грузовика. Мы почти закончили работу, когда вышел Рольф.

— Ты все еще хочешь поехать на охоту? — спросил он меня.

— Да, сказал я.

— Заплатишь за полный бак бензина?

— Ну, если надо.

— Я уже договорился.

— С кем?

— С Донки-донком, — сказал он. — Хороший мужик!

— А когда?

— Сейчас, — сказал он. — Так что ступай наде-

вать сапоги. И шляпу не забудь!

Я шел к своему каравану, когда сзади, скрипя и дребезжа, подъехал старенький раздолбанный «форд-седан». За рулем сидел бородатый абориген с толстым брюхом.

— Это ты едешь на охоту? — ухмыльнулся он.

— С тобой?

— Ну! — ответил Донки-донк.

Мы заехали купить бензина, но, заплатив за бак, я сразу же понял, что играю в этой экспедиции роль не «клиента», а «раба».

Донки-донк заставил меня купить еще масла, пуль, шоколадок, сигарет. Он хотел, чтобы я купил ему новую покрышку. Он велел мне подержать для него сигарету, пока сам возился с мотором.

Мы уже собирались трогаться, когда к нам подошел молодой человек по имени Уокер. Уокер был бывалым путешественником. Он изъездил вдоль и поперек всю Австралию, очень привередливо подыскивая себе жену. Еще он провел некоторое время в амстердамской Молодежной христианской организации. Он был очень красив. У него был божественный профиль и очень темная кожа. Волосы и борода у него были цвета золотой нити.

— Поедешь с нами на охоту? — крикнул ему Донки-донк.

— Конечно, — сказал Уокер и сел на заднее сиденье.

Мы поехали за человеком, у которого было ружье. Это был еще один невероятно изящный молодой человек с беспомощной улыбкой и волосами до плеч. Он сидел возле шалаша из валежника. У него на джинсах красной ручкой было множество раз написано его имя — «Нерон».

Женой Нерона, как оказалось, была та самая великанша, которую я уже видел за покером. Она была на добрую голову выше мужа и раза в четыре шире. Она сидела у очага за своим шалашом и грызла обугленный окорок кенгуру. Когда Нерон сел в машину, за ним побежал их маленький сынишка и нырнул туда же через открытое окно. Мать погналась за ним, размахивая своей дубинкой из кости кенгуру. Она вытащила мальчишку за волосы и плюнула ему в лицо.

Мы минуты две уже ехали, как вдруг Нерон обратился к остальным:

— Спички взяли?

Донки-донк и Уокер покачали головами. Мы развернулись обратно — за спичками.

— Для костра, — ухмыльнулся Нерон. — Если

завязнем.

Мы поехали на юг между горами Каллен и Либлер и спустились к шоссе Ган-Бэррел. После дождя на кустарниках распускались желтые цветочки. Дорога начиналась и пропадала в мираже, а над равниной будто плыла цепь каменистых холмов.

Я показал на красноватый выход породы слева.

— Это что там такое? — спросил я.

— Старик, — радостно вызвался ответить Уокер.

— А откуда этот Старик идет?

— Издалека. Может, из Аранды. Может, из Сиднея.

— А куда он идет?

— В Порт-Хедленд, — ответил он уверенно.

Порт-Хедленд был железорудным портом на западном побережье Австралии, примерно в тысяче двухстах километрах к западу от Каллена, за пустыней Гибсона.

— А что происходит с этим Стариком, — спросил я, — когда он добирается до моря?

— Всё, — ответил Уокер. — Там ему конец.

Потом я указал на низкий плосковерхий холм — как уверял меня Рольф, это была куча дерьма,

которую наложил там Человек — Перенти во Времена Сновидений.

— А это что, вон там?

Уокер нервно затеребил бороду.

— Я еще слишком молод, — сказал он застенчиво: это означало, что он еще не проходил посвящения в ту песню, где говорилось об этом холме.

— Спроси у Нерона, — сказал он. — Нерон знает.

Нерон захихикал и покачал головой из стороны в сторону.

— Это Туалет, — сказал он. — Дерьмо.

Донки-донк лопался со смеху, так что машину раскачивало.

Я повернулся назад, поглядеть на тех двоих на заднем сиденье.

— Дерьмо Перенти? — спросил я.

— Нет, нет, — глупо хихикнул Нерон. — Тут Двое Мужчин.

— А откуда пришли эти Двое Мужчин?

— Ниоткуда не пришли. — Он хлопнул в ладоши. — Занимаются там этим самым.

Нерон сделал жест большим и указательным пальцами, чтобы стало понятно, чем именно заняты те Двое.

— Свояки, — добавил он.

Уокер нахмурился, надул губы и плотно сжал колени.

— Я тебе не верю, — заявил я Нерону. — Ты меня дурачишь.

— Хи! Хи! — рассмеялся тот, а потом зашелся очередным приступом беспомощного хихиканья.

Они с Донки-донком еще фыркали от смеха, когда, примерно через милю, мы остановились вблизи нескольких низко лежащих скал. Все трое выпрыгнули из машины.

— Пошли! — позвал меня Нерон. — Здесь вода.

Между скал оказалось три озерца со стоячей водой. В них извивались личинки комаров.

— Солитеры, — сказал Нерон.

— Это не солитеры, — сказал я. — Это личинки комаров.

— Динго, — сказал Донки-донк.

Он указывал на самую крупную скалу, которая действительно походила на лежащую собаку. А скалы поменьше, сказал он, — это ее щенки.

Они несколько минут плескались в воде. Потом мы съехали с дороги и поехали на запад по равнине.

Донки-донк, надо сказать, был потрясающим

водителем. Он заставлял свою машину чуть не плясать вокруг колючек. Он всегда безошибочно угадывал, где нужно объехать куст, а где можно проехаться прямо по нему. Семенные коробочки так и сыпались на ветровое стекло.

Нерон выставил дуло своей винтовки в окно.

— Следы индейки, — прошептал он.

Донки-донк притормозил, и индейка (здесь это разновидность дрофы) подняла над стеблями травы свою пеструю шею и бросилась от нас наутек. Нерон выстрелил, и птица свалилась, мелькнув взметнувшимися перьями.

— Удачный выстрел! — заметил я.

— Еще одна! — закричал Уокер, и в чащу кустов пробежала вторая дрофа. Нерон снова выстрелил — и промахнулся. Когда он подбежал к первой дрофе, она тоже успела куда-то исчезнуть.

— Хренова индюшка, — выругался Нерон.

Мы продолжали ехать на запад, и вскоре впереди показалась самка кенгуру с детенышем. Донки-донк нажал ногой на педаль газа, и машина с глухим стуком запрыгала по кочкам, но кенгуру скакали впереди, обгоняя нас. Потом кочки и кусты закончились, мы очутились на ровной, выжженной местности — и тут уже опережать стали мы. Мы нагнали кенгуру, ра-

нили самку в бедро (детеныш ускакал куда-то в сторону), и она, сделав кувырок назад, отлетела на крышу автомобиля и плюхнулась на землю — мертвой, только бы мертвой! — подняв облако пыли и пепла.

Мы выскочили из машины. Нерон выстрелил в облако пыли, но кенгуру уже поднялась и побежала, пошатываясь и хромая, однако развивая по-прежнему бешеную скорость, а Донки-донк, оставшийся за рулем, снова настигал ее.

Мы видели, как машина второй раз врезалась в кенгуру, но та шлепнулась на капот, соскочила и помчалась в нашу сторону. Нерон пару раз выстрелил, но промазал — пули просвистели куда-то в кусты, сбоку от меня, а кенгуру зигзагом понеслась в обратную сторону. Тогда Донки-донк снова сорвался с места и врезался в нее в третий раз, с чудовищным звуком. Теперь она уже не шевельнулась.

Он распахнул дверь автомобиля и гаечным ключом нанес ей удар в основание черепа — но тут она снова вскочила на ноги, так что ему пришлось хватать ее за хвост. Когда мы втроем подбежали, кенгуру уже улепетывала, и Донки-донк висел на ней, будто спортсмен, тянущий канат. Наконец Нерон прострелил ей голову, и

все было кончено.

У Уокера на лице было написано недовольство и разочарование.

— Мне она не нравится, — сказал он.

— Мне тоже, — согласился я.

Нерон разглядывал убитую кенгуру. Из ее ноздрей на рыжую землю стекал ручеек крови.

— Старая, — поморщился он. — Невкусная.

— А что ты с ней будешь делать?

— Здесь оставлю, — сказал он. — Может, хвост отрежу. У тебя нож есть?

— Нет, — сказал я.

Нерон пошарил в машине и отыскал крышку от старой жестяной банки. Используя ее вместо лезвия, он попытался отпилить хвост, но позвонки не поддавались.

Задняя левая шина спустилась. Донки-донк приказал мне достать домкрат и поменять колесо. Домкрат был сильно погнут, и, стоило мне несколько раз надавить, что-то щелкнуло, и шпиндель полетел на землю.

— Ну вот, ты сломал его, — ухмыльнулся тот.

— Что будем делать? — спросил я.

— Пешком топать, — сказал Нерон, хихикнув.

— Сколько?

— Дня два, наверно.

— Может, костер развести? — предложил я.

— Не-ет! — проворчал Донки-донк. — Поднимай ее! Поднимай ее, мужик!

Мы с Уокером взялись за бампер, изо всех сил уперлись в него спинами и попытались приподнять, а Донки-донк стоял с бревном наготове, чтобы подсунуть его под дифференциал.

Ничего не вышло.

— Давай ты тоже! — крикнул я Нерону. — Помоги нам!

Тот сложил пальцы и пробежался ими по одному из своих стройных бицепсов, хлопая ресницами и хихикая.

— Нет сил! — сказал он почти беззвучно.

Донки-донк вручил мне палку-копалку и велел выкопать яму под шиной. Полчаса спустя яма была уже достаточно велика, чтобы можно было сменить колесо. Пока я работал, все трое смотрели. Я выдохся и взмок. Потом мы стали раскачивать машину туда-сюда и наконец сдвинули ее с места.

Оставив кенгуру на съеденье воронью, мы поехали обратно в Каллен.

— Завтра хочешь поехать на охоту? — спросил меня Донки-донк.

— Нет, — сказал я.

ЛОНДОН, 1970

Я слушал публичную лекцию Артура Кестлера, рассуждавшего на тему безумия человеческого рода. Он утверждал, что, в результате неадекватного взаимодействия между двумя зонами мозга — «рациональным» неокортексом и «инстинктивным» гипоталамусом — Человек каким-то образом развил в себе «уникальную бредовую наклонность к убийству», которая неизбежно побуждает его умерщвлять, истязать себе подобных и вести бесконечные войны.

Наши доисторические предки, говорил он, не страдали от последствий перенаселения. Они не испытывали недостатка в территории. Они не жили в больших городах… и все-таки они убивали друг друга.

Потом он стал говорить о том, что после Хиросимы произошла полная перестройка «структуры человеческого сознания»: впервые за всю историю своего существования Человек столкнулся с мыслью о том, что он может быть уничтожен как вид.

Этот эсхатологический треп изрядно разозлил меня. Когда настало время для вопросов из зала, я поднял руку.

Перед наступлением 1000 года, сказал я, вся Европа была объята страхом близкого и неминуемого конца света. Так в чем же разница между «структурой сознания» средневековых людей — и нашей собственной?

Кестлер смерил меня презрительным взглядом и, к одобрению слушателей, изрек:

— В том, что светопреставление — это выдумка, а водородная бомба — реальность.

Душеполезное чтение для конца Второго тысячелетия — книга «Lan mil» [53] Анри Фосийона.

В главе «Проблема страхов» Фосийон показывает, как ровно тысячу лет назад западный человек был парализован схожими пугающими представлениями, распространением которых занимались тогдашние фанатики, считавшиеся государственными мужами. Выражение Mundus senescit, «Мир стареет», свидетельствовало об атмосфере тягчайшего интеллектуального пессимизма, а также отражало «религиозное» убеждение в том, что мир — это живой организм, который, достигнув вершины зрелости, неизбежно обречен погибнуть.

Страх перед концом света принимал три фор-

---

[53] Примечания: 53
«1000-й год» (*фр.*) — *Прим. перев.*

мы. Люди боялись, что:

1. Бог уничтожит свое творение, окутав его огнем и серой.

2. Что с Востока примчатся легионы сатаны.

3. Что человечество выкосят повальные болезни.

И все-таки эти страхи удалось преодолеть! 1000 год пришел и прошел, и укоренилось новое «открытое» общество Средневековья. Как очаровательно написал об этом епископ Глабер: «Три года спустя после 1000 года Земля покрылась белоснежным нарядом из церквей».

ЗА УЖИНОМ В ГОСТЯХ, ЛОНДОН, 1971

В гости пришел очень высокий американец. Он оказался в Лондоне проездом, направляясь в Вашингтон после командировки во Вьетнам, где занимался расследованием. За последнюю неделю он побывал на Гавайях, в Гуаме, в Токио и Сайгоне. Он пролетал над Ханоем в ходе воздушного налета. Он совещался с натовскими штабными начальниками — а сегодня у него выдался свободный вечер.

Он был невинным человеком. За салатом он рассуждал о дефолиантах. Я никогда не забуду, как у него по губам растекался малиновый сок,

а из них вылетала чеканная дробь слов, прогибавшихся под сильными ударениями: «Северные вьетнамцы уже потеряли между третью и половиной поколения своих молодых боеспособных мужчин. Это жертва, которой ни одна нация не может приносить бесконечно; а потому мы и предвидим нашу военную победу во Вьетнаме уже в течение 1972 года…»

Не тесни врага, загнанного в угол.

Принц Фу-Цяй говорил: «Дикие звери, будучи загнанными в угол, дерутся отчаянно. Так сколь же это верно и о людях! Когда им известно, что выхода нет, они бьются насмерть.»

Сюн Цзы, «Искусство войны»

ШТИРИЯ, АВСТРИЯ, 1974

Перед визитом к Лоренцу я путешествовал по горам Роттенманнер-Тауэрн с рюкзаком, набитым его книгами. Дни стояли безоблачные. Каждую ночь я проводил в новом альпийском домике, ужинал сосисками с пивом. Горные склоны сплошь покрывали цветы: горечавки и эдельвейсы, водосборы и лилии. Солнечный, свет «заливал изумрудную синеву сосновых лесов, а кое-где на осыпях еще виднелись пласты снега. На лугах повсюду паслись кроткие бурые коровы,

звяканье их бубенцов эхом разносилось над равнинами — или то были отголоски далекого звона церковных колоколов…

Строка Гёльдерлина: „Виден мне город вдали, он мерцает, как панцирь железный…“ [54].

Путешественники: мужчины и женщины в красно-белых рубашках и кожаных штанах. Все, проходя мимо, кричали: „Grass Gott!“ [55]. Один заскорузлый коротышка принял меня за немца и с плотоядной гримасой торговца порнографией откинул лацкан пиджака, чтобы показать мне свои свастики.

Перечитывая Лоренца, я понял, почему благоразумные люди в ужасе вскидывают руки — и принимаются дружно отрицать, что существует такая вещь, как человеческая природа, и настаивать на том, что всему необходимо учиться заново.

Они чувствуют, что „генетический детерминизм“ представляет угрозу для всех либеральных, гуманных и демократических ценностей, за которые все еще крепко держится западный

---

[54] Примечания: 54
Из стихотворения «Досуг» (в переводе Е. Садовского) — *Прим. перев.*

[55] Примечания: 55
Здравствуйте! (ю. — нем.) — *Прим. перев.*

мир. Понимают они и то, что инстинкты нельзя выбирать: нужно принимать их все, скопом. Нельзя пустить в Пантеон Венеру — и захлопнуть дверь перед носом у Марса. А приняв „борьбу“, „территориальное поведение“ и „порядок старшинства“, вы вновь увязнете в реакционном болоте XIX века.

Что особенно привлекло в труде „Об агрессии“ идеологов „холодной войны“ — так это выдвинутое Лоренцем понятие „ритуального“ сражения.

Сверхдержавы по определению должны сражаться, потому что это стремление заложено в их природе; однако можно выбрать местом для своих стычек какую-нибудь бедную, маленькую, желательно беззащитную страну — точно так же, как двое оленей-самцов выберут для драки клочок ничейной территории.

Я слышал, что министр обороны США всегда держит у изголовья эту книгу, испещренную пометками.

Люди суть порождения своих обстоятельств, и всё, что они говорят, думают или делают, обусловливается обучением. Детям наносят глубокие травмы происшествия, случившиеся в раннем детстве, народам — переломные моменты в их истории. Но может ли означать такое „обуслов-

ливание“, что не существует неких абсолютных мерок, которые выходили бы за рамки исторического прошлого? Что не существует „добра и зла“, независимо от национальности и вероисповедания?

Неужели „дар языков“ втихаря истребил в человеке инстинкт? Иными словами, неужели Человек — и впрямь вошедшая в поговорку „чистая доска“ бихевиористов — бесконечно податливая и готовая приспособиться к чему угодно?

Если это так, тогда все Великие Учителя впустую мололи языками.

Самое „неудобное“ место в книге „Об агрессии“ — то самое, из-за которого Лоренца освистывали и обзывали „нацистом“ — это та часть книги, где он описывает „фиксированные формы“ поведения», которые можно наблюдать у молодых солдат, когда в них пробуждается боевая ярость: голова высоко поднята… подбородок выставлен вперед… руки колесом… по уже не существующей шерсти вдоль позвоночника пробегает дрожь…: «Они высоко воспаряют над заботами повседневной жизни… Люди наслаждаются чувством своей непогрешимой правоты, даже когда совершают жестокие зверства…»

И все-таки… мать, в неистовстве бросающаяся на защиту своего ребенка, прислушивается — будем надеяться! — к голосу своего инстинкта, а не к советам какой-нибудь брошюры, адресованной молодым матерям. А если мы допускаем существование боевого поведения в молодых женщинах, то почему он должен отсутствовать у молодых мужчин?

Инстинкты — это Паскалевы «доводы сердца, о которых не ведает — разум». А верить в «доводы сердца» для реакционера — совсем неутешительно, нет, просто огорчительно!

Без религии, по знаменитому определению Достоевского, «все дозволено». Но, не будь инстинкта, эта вседозволенность царила бы точно так же.

Лишившись инстинкта, мир превратился бы в куда более беспощадное и опасное место, чем все, что рисуют нам те, кто носится с понятием «агрессия». Это было бы лимбоподобное царство безразличия, где все перекрывалось бы чем-нибудь еще: добро могло бы становиться злом; смыслу бессмыслицей; правда — ложью; вязанье спицами было бы занятием ничуть не более нравственным, чем детоубийство; и в таком мире

человек, которому «промывают мозги», легко верил, говорил и делал бы все то, что в данный момент было бы угодно властям.

Мучитель может отрезать человеку нос; но, если у калеки родится ребенок, то родится он с носом. То же самое происходит и с инстинктом! Тот факт, что суть инстинкта, не подвластная изменениям, передается по наследству, означает, что «промывщики мозгов» должны начинать свою обработку сначала, заново оболванивая каждое новое поколение, каждую новую личность, — а это в конечном счете дело очень тоскливое.

Древние греки считали, что человеческому поведению положены некие пределы — не для того, как указывал Камю, чтобы их невозможно было преступить; просто чтобы они существовали, произвольно, и чтобы того, кто проявлял спесь (hybris), нарушая их, ждал сокрушительный удар Рока!

Лоренц отстаивает мнение, что в жизни любого животного существуют поворотные моменты — «рубиконы» инстинкта, — когда оно как будто слышит зов, повелевающий ему вести себя так, а не иначе. Оно может не прислушаться к этому призыву: например, если «естественная» мишень

его поведения отсутствует, то животное просто «перенаправит» его на объект-заместитель — и разовьет в себе отклонение от нормы.

В любой мифологии есть свой «Герой и его Дорога Испытаний»: это тоже юноша, который слышит «зов». Он отправляется в далекую страну, где местное население грозит сожрать какой-нибудь великан или чудовище. Вступив в сверхчеловеческую битву, Герой побеждает Силы Тьмы, доказывая свое мужество, и получает награду: жену, сокровища, землю, славу.

Всем этим он наслаждается до самой старости, а потом вдруг тучи снова сгущаются. Он вновь чувствует беспокойство. Опять ему не сидится на месте — или как Беовульфу, который уходи, чтобы погибнуть в сражении, или как Одиссею, которому предсказано слепым Тиресием отправиться куда-то в загадочную даль — и бесследно сгинуть.

Катарсис: по-гречески это «очищение», от глагола kathairo. Согласно одной спорной этимологии, это слово восходит к katheiro — «избавлять землю от чудовищ».

Миф предполагает, поступок располагает. Героически Цикл представляет некую неизменяемую

парадигму «идеального» поведения для героя-мужчины. (Конечно, можно было бы выработать такую же парадигму и для Героини.)

Каждый «раздел» мифа — как звено в поведенческой цепочке — соответствует одному из классических «веков» человечества. Каждый век начинается с того, что необходимо преодолеть какое-то новое препятствие, выдержать какое-то новое испытание. Статус Героя повышается в зависимости от того, насколько успешно он завершает цикл этих испытаний — во всяком случае, в рамках сказаний.

Большинство из нас, отнюдь не будучи героями, попусту растрачивает время своей жизни, подает реплики невпопад и в конце концов запутывается в собственных чувствах. С Героем ничего подобного не может происходить. Герой — потому-то мы и зовем его героем — встречает каждое испытание, когда настает его черед, и «вписывает в счет» одну победу за другой.

Однажды я устроил эксперимент, попытавшись «наложить» жизненный путь Че Гевары, современного героя, на канву эпоса о Беовульфе. В результате после нескольких небольших подгонок сложилась толковая картина. И тот, и

другой герой совершают примерно одинаковый ряд подвигов в одинаковой последовательности: покидают дом; переплывают море; поражают Чудовище (Грендель — Батиста); поражают мать чудовища («Владычица вод» — Залив Свиней). Оба героя получают награду — жену, славу, сокровища (в случае Че Гевары это жена-кубинка и управление Национальным банком Кубы), и так далее. И оба кладут головы на чужбине: Беовульфа убивает Червечудовище, Че Гевару — диктатор Боливии.

Как человек Че Гевара, при всем его внешнем обаянии, был поразительно беспощадной и неприятной личностью. Как Герой он ни разу не сделал неверного шага — потому мир и увидел в нем Героя.

Рассказывается, что герои в трудные мгновенья слышат «ангельские голоса», подсказывающие им, как быть дальше. Пожалуй, вся «Одиссея» — это удивительная борьба по «перетягиванию каната» между Афиной и Посейдоном: Афина нашептывает Одиссею на ухо: «Ты сумеешь», а Посейдон ревет: «Нет, не позволю!» А если заменить слова «ангельский голос» словом «инстинкт», то можно вплотную подойти к воззрению мифографов с психологическим креном: а именно, что

мифы суть дошедшие до нас осколки внутренней жизни Древнего Человека.

Героический цикл, где бы ни разворачивалось его действие, всегда являет собой историю «пригодности» в дарвиновском смысле слова: набросок грядущего генетического «успеха». Беовульф уходит… Иван уходит… молодой абориген уходит в Обход… даже Старомодный Дон Кихот уходит. И эти Wanderjahre [56], и схватки с Чудищем суть сказочные варианты табу на инцест: мужчина должен вначале доказать свою «пригодность», а потом «жениться вдалеке».

На деле не так уж важно, являются ли мифы зашифрованными посланиями инстинкта, «встроенного» в центральную нервную систему, или наставительными рассказами, дошедшими с незапамятных времен. Ясно одно: редко когда, а скорее, почти никогда, в мифе одобряется хладнокровное убийство человека человеком.

В древнегерманских воинских братствах от юноши, когда его учили подавлять запрет на убийство, требовалось раздеться донага, одеться в горячую, только что содранную медвежью шку-

---

[56] Примечания: 56
Годы странствий (нем.) — *Прим. перев.*

ру и довести себя до «зверской» ярости: иными словами, превратиться, совершенно буквально, в берсерка.

Bearskin («медвежья шкура») и berserk — изначально одно и то же слово. Шлемы королевских гвардейцев, стоящих на посту перед Букингемским дворцом, — реликты того примитивного военного облачения.

Гомер различает два вида «боевого поведения». Одно — menos [57], это то хладнокровное состояние, в котором Одиссей истребляет женихов. Другое — lyssa [58], или «волчья ярость»; это состояние охватывает Гектора на поле боя (Илиада, IX, 237–239). Человек, которым овладела lyssa, уже не считается «настоящим» человеком, то есть подвластным законам земли и Неба.

«Воинствующее боевое поведение» Лоренца, по сути, служит описанием этой lyssa.

---

[57] Примечания: 57
«гнев»

[58] Примечания: 58
«бешенство»

Индейцы-сиу — это сброд самых жалких, грязных, вшивых, дремучих, вороватых, лживых, подлых, преступных, аморальных, безликих, поедающих отбросы СКУНСОВ, каким только дозволял Господь населять землю; и об их немедленном и окончательном истреблении должны молиться все ЛЮДИ, за исключением индейских посредников и торговцев.

Из газеты «Топека-Уикли Дейли», 1869 г.

Чужеземец, если он не купец, — враг.

Из древнеанглийского текста

Средневековое латинское слово wargus — т. е. «изгнанник» или «чужак» — также означало волка; таким образом, два эти понятия — о диком звере, которого нужно загонять, и о человеке, с которым нужно обходиться, как с диким зверем, — переплетаются очень тесно.

П. Дж. Гамильтон Грирсон, «Молчали-

НУРИСТАН, АФГАНИСТАН, 1970

Деревни Нуристана находятся под таким головокружительным углом к горным склонам, что улицами служат лестницы из древесины гималайского кедра. У людей там светлые волосы и голубые глаза; они носят с собой боевые топоры из латуни. Они ходят в блиновидных шапках, в поперечных подвязках на ногах, с капелькой краски, нанесенной на веки. Александр Македонский принимал их за давно потерянное греческое племя, а позже немцы — за племя арийцев.

Наши носильщики были забитым людом, вечно жаловались на то, что бедные ноги не несут их дальше, и бросали завистливые взгляды на наши башмаки.

В четыре часа они захотели, чтобы мы сделали привал возле каких-то пасмурных разрушенных домишек, но мы настояли на том, чтобы идти дальше вверх по равнине. Спустя час мы подошли к деревне, окруженной ореховыми деревьями. Крыши домов рыжели абрикосами, выложенными сушиться на солнце, а в цветочных лугах играли девочки в платьях с узором из роз и марен.

Деревенский голова встретил нас с открытой и приветливой улыбкой. Потом к нам присоединился бородатый молодой сатир в венке из виноградных листьев и таволги. Он угостил нас капелькой терпкого белого вина из своей фляги.

— Вот здесь, — сказал я главному носильщику, — мы остановимся.

— Мы здесь не остановимся, — ответил он.

Он выучил английский на пешаварском базаре.

— Остановимся здесь, — настаивал я.

— Эти люди — волки, — сказал носильщик.

— Волки?

— Они — волки.

— А жители вон той деревни? — спросил я, указав на вторую, унылого вида деревеньку, которая стояла вверх по течению, примерно в миле от этой.

— Они — люди, — сказал он.

— А жители следующей деревни, за той? Надо полагать, волки?

— Волки, — кивнул он.

— Что за чушь ты мелешь!

— Это не чушь, сагиб, — возразил носильщик. — Просто одни люди — это люди, а другие — волки.

Не требуется особого воображения, чтобы пред-

положить, что человек как вид перенес в своем эволюционном прошлом какое-то ужасное испытание; и тот факт, что он столь блестяще из него вышел, уже говорит о величине угрозы.

Доказать такое предположение — совсем другое дело. Однако уже двадцать лет назад я подозревал, что слишком много внимания уделяется нашим якобы «братоубийственным» наклонностям и слишком мало — роли Хищника в формировании нашего характера и участи.

Если бы требовалось дать исчерпывающий ответ на вопрос: «Что едят хищники?», то он был бы очень простым: «То, что могут добыть».

Грифф Юэр, *«Хищники»*

О кадарах — охотничьем племени, обитающем в южной Индии, — сообщалось, что им совершенно чуждо стремление к насилию или к демонстрации мужества, потому что все свои враждебные чувства они выплескивают вовне — на тигра.

Предположим, в порядке теоретического спора, что мы отбросили все эти общие рассуждения об «агрессии» и сосредоточились на проблеме «обороны». А что если Противником на равнинах Африки был вовсе не другой человек? Не люди из другого племени? Что если выбросы адреналина,

предшествующие «боевой ярости», имели своей целью защитить нас от крупных кошачьих? Что если наше оружие изначально предназначалось не для охоты на животных, а для спасения собственного живота? Что если мы были не столько хищным видом, сколько видом, который вечно остерегался хищников? Или, быть может, в какой-то переломный момент Зверь уже грозил одолеть человека?

Здесь — и в этом не может быть ошибки — проходит великая разделительная линия.

Если первые люди были жестокими убийцами-каннибалами, если их ненасытность заставляла их завоевывать и истреблять себе подобных, тогда любое Государство, предоставляя свою мощную защиту, спасало людей от них самих; тогда оно неизбежно должно рассматриваться как благо. Такое Государство, сколь бы пугающим оно ни казалось отдельному человеку, следует считать благодатью. И любое действие со стороны отдельного человека, направленное на подрыв, ослабление или угрозу Государству, является шагом в сторону первобытного хаоса.

Если же, с другой стороны, первых людей самих постоянно осаждали, теснили и преследовали, а их общины были немногочисленными и разроз-

ненными; если они постоянно всматривались в горизонт, откуда могла прийти помощь, если они цеплялись за жизнь и друг за друга, чтобы пережить очередную полную ужаса ночь, — то тогда, быть может, все атрибуты, которые мы считаем специфически «человеческими» — язык, песни, распределение пищи, обмен дарами, межплеменные браки, — иначе говоря, все те добровольные блага, которые сообщают устойчивость обществу, подавляют применение силы среди его членов и могут функционировать гладко лишь тогда, когда равновесие является правилом, — быть может, все эти атрибуты возникли как уловки и хитрости, имевшие целью выживание, и были выкованы, несмотря на гигантский перевес, чтобы отражать угрозу истребления? Но делаются ли они от этого менее инстинктивными или бесцельными? Разве некая общая теория защиты не объясняет нам, отчего наступательные войны по сути всегда обречены на поражение? Отчего забияки никогда не выходят победителями?

АЛЬТЕНБЕРГ, АВСТРИЯ, 1974

В кабинете Лоренца было слишком жарко, и мы перешли в садовый летний домик. Над городом высился средневековый замок Грайфенштайн

— бастион христианской Европы, оборонявшейся от шаткого мира всадников-азиатов. Видя Лоренца в его родном окружении, я понял, что его взгляды на боевые инстинкты, возможно, частично окрашивались тем, что он рос в самом центре колоссальной геополитической драмы.

Отчего, спросил я у него, многие люди до сих пор находят теорию инстинкта применительно к человеку совершенно непригодной?

— Есть некоторые вещи, — сказал он, — с которыми абсолютно бессмысленно бороться, в том числе — обычная глупость.

— Пожалуйста, прервите меня, если я неправ, — сказал я, — но когда вы выделяете в поведении любого животного «блок», то первый вопрос, которым вы задаетесь, это «Для чего?» Иными словами, как та или иная черта должна была способствовать сохранению вида в его исконной среде обитания?

— Верно, — кивнул Лоренц.

— Малиновка, — сказал я, ссылаясь на один из его экспериментов, — увидев другую малиновку или даже просто клочок красного пушистого пуха, сразу идет в наступление, потому что красный цвет означает для нее «соперника в борьбе за территорию».

— Это так.

— Значит, механизмом, который запускает в малиновке боевой инстинкт, будет зримое присутствие представителя его собственного вида?

— Разумеется.

— Почему же в таком случае, когда дело доходит до битвы между людьми, один или второй участник сражения должен быть как бы не вполне человеком? Вам не кажется, что «воинствующий энтузиазм», как вы его называете, мог развиваться как защитная реакция против диких зверей?

— Возможно, — ответил он задумчиво. — Вполне возможно. Прежде чем пойти на льва, масаи в Кении совершенно искусственно вызывают у себя боевое воодушевление, вроде того, как нацисты подстегивали себя задорными маршами… Да. Может быть, изначально человек готовился воевать против диких зверей. Шимпанзе при виде леопарда бесподобно проделывают демонстрацию своей коллективной агрессии.

— Но разве, — настаивал я, — мы не смешиваем здесь два понятия — «агрессии» и «защиты»? Разве мы не имеем дела с двумя совершенно самостоятельными механизмами? С одной стороны, есть «агрессивные» ритуалы, которыми, в случае человека, служат обмен дарами, заключение

мирных договоров и родственные соглашения. С другой стороны, есть «защита», направленная, несомненно, против Зверя?

Всякая военная пропаганда, продолжал я, исходит из того, что вы должны низвести врага до ранга какого-то зверья, отвратительных и вероломных существ, иначе говоря, разжаловать его в нелюди. Либо ваши бойцы должны превратиться в суррогатных зверей — тогда люди должны сделаться их законной добычей.

Лоренц подергал себя за бороду, оглядел меня испытующим взглядом и сказал — в шутку или всерьез, я так и не понял:

— Вы только что высказали совершенно свежую идею.

32

Однажды утром, когда я завтракал с Рольфом и Уэнди, мы увидели высокую фигуру человека без рубашки, который направлялся к нам танцующей походкой.

— Какая честь для нас, — сказал Рольф. — Кларенс Большая Ступня. Председатель Калленского совета.

Человек оказался очень темнокожим и каким-то грушеобразным, и ступни у него были действительно чудовищного размера. Я уступил ему свой стул. Состроив гримасу, он сел.

— Ну, как дела? — спросил Рольф.

Отлично, — ответил Кларенс.

— Это хорошо.

— В Канберре подтвердили бюджет, — сообщил Кларенс невыразительным, равнодушным тоном.

— Да?

— Ага. Теперь у нас есть самолет.

Вот уже два года Калленский совет «выбивал» себе самолет.

— Ага, — повторил Кларенс. — Теперь у нас есть

самолет. Я подумал — надо тебе сказать. — Спасибо, Кларенс.

— Я подумал — поеду-ка в Канберру в четверг. Я подумал — вернусь сюда на самолете.

— Давай, — сказал Рольф.

Кларенс поднялся и уже собрался уходить, как вдруг Рольф окликнул его:

— Кларенс!

— А?

— Кларенс, а что ты сделал с грейдером?

— С каким еще грейдером?

— С грейдером из Попанджи.

— Не знаю я ни про какой грейдер из Попанджи.

— Знаешь, знаешь, — сказал Рольф. — Тот грейдер, который тебе Ред Лосон одолжил.

— Когда?

— В прошлом году, — сказал Рольф. — Ты с товарищами еще поехал на охоту на этом грейдере. Помнишь?

— Нет.

— Ладно. Ред скоро наведается сюда за этим грейдером. Советую тебе найти его, Кларенс. Иначе его стоимость вычтут из стоимости самолета.

— Знать не знаю ни про какой грейдер, — сердито хмыкнул Кларенс и затопал прочь.

Я поглядел на Уэнди. Она изо всех сил сдерживала смех.

— Этот самолет, — повернулся ко мне Рольф, — еще доставит нам хлопот.

Одно дело было подарить самолет, и совсем другое — оплачивать уход и наблюдение за ним. Калленской общине казалось совершенно бессмысленным делом иметь самолет, если только самолет не будет находиться у них прямо здесь. А это значило, что пилот, получающий зарплату, должен жить здесь, в Каллене. Еще это значило, что нужно строить ангар, в который не смогут проникнуть дети.

В поселении Амадеус, продолжал Рольф, пилот был милым пареньком, которому нравилось катать ребятишек, вылетая на короткие прогулки. И эти ребятишки, лет восьми-десяти, очень быстро освоились с блоком управления самолета. Они подглядели, куда он прячет ключи — в запирающийся ящик у себя в караване, — и умудрились стащить их, пока он дремал.

— Проснувшись, — сказал Рольф, — он увидел, как самолет мчится по взлетной полосе.

— Они взлетели?

— Не совсем, — сказал он. — Чуть приподнялись над полосой и приземлились в кусты. Самолету

была почти крышка.

Стояло раннее утро, было еще прохладно и ясно.

— Я решил сегодня отправиться на прогулку, — сказал я.

Мы со дня на день ожидали возвращения Аркадия, и каждое утро, работая у себя в караване, я обещал себе взобраться на гору Либлер.

— Бери с собой воду, — сказал Рольф. — Бери в три раза больше, чем тебе покажется нужным.

Я показал ему, какой примерно наметил маршрут.

— Не беспокойся, — сказал Рольф. — У нас тут есть люди, которые за пару часов тебя отыщут, если что. Но воду бери обязательно.

Я наполнил свою флягу для воды, еще две бутылки засунул в рюкзак и пустился в путь. На окраине поселения я прошел мимо женской сумочки, свисавшей с ветки дерева.

Я прошел по плато из песчаных холмов и осыпающихся красных скал, рассеченных узкими глубокими ущельями, перебираться через которые было очень трудно. Кустарники здесь были выжжены, чтобы легче было преследовать дичь, и из-под обгорелых пеньков уже пробивались свежие зеленые ростки.

Я карабкался все выше и выше, а потом, оглянувшись посмотреть сверху на равнину, я вдруг понял, почему аборигены так любят изображать свою землю «пуантилистскими» точками. Эта земля и вправду состоит из точек. Белыми точками служат пятнышки спинифекса; синеватые точки — это эвкалипты, а лимонно-зеленые точки — какая-то еще разновидность растущей пучками травы. А еще я понял — лучше, чем когда-либо раньше, — что имел в виду Лоренс, когда говорил об «особенной, затерянной и утомленной отрешенности Австралии».

Откуда-то показался и поскакал вниз с горы валлаби. Потом я заметил на другой стороне ущелья что-то крупное, шевелившееся в тени дерева. Вначале я принял это существо за большого красного кенгуру, но потом понял, что то был человек.

Я вскарабкался на ту сторону и увидел старика Алекса, совершенно голого. Его копья лежали на земле, рядом с бархатным пальто, скатанным в комок. Я кивнул, и он мне кивнул.

— Добрый день, — поздоровался я. — Что вас сюда привело?

Тот улыбнулся, стесняясь своей наготы, и, едва разлепив губы, проговорил:

— Хожу пешком по всему миру, все время.

Я оставил старика в его мечтательном состоянии и пошел дальше. Заросли колючек делались все гуще. Временами я уже отчаивался найти выход из этого колючего лабиринта, но тропа неизменно находилась, будто меня вела нить Ариадны.

Потом я поддался искушению — искушению вроде того, когда тянет погладить ежа, — положить руку на заросли колючек: и, не успел я ахнуть, в ладонь мне вонзились колючки на целый дюйм или даже глубже. Вытаскивая занозы, я вспомнил слова Аркадия: «В Австралии все колючее. Даже у варана полный рот колючек».

Я взобрался по осыпи эскарпа вверх и оказался на остром, как нож, гребне горы. Он и в самом деле выглядел как хвост ящерицы-перенти. Дальше простиралось плоскогорье с редкими деревцами, которые росли вдоль сухого русла реки. Деревья эти стояли голыми. У них была мятая серая кора и крошечные красные цветки, которые падали на землю, будто капли крови.

Я сел, совершенно изможденный, в полутени одного из этих деревьев. Жара была адская.

Неподалеку два самца серого сорокопута, черно-белые, как сороки, антифонально перекликались

через овраг. Одна птица вертикально поднимала клюв и испускала три долгих ухающих звука, за которыми следовали три восходящих коротких. Затем этот рефрен подхватывал соперник и повторял все с начала.

— Как просто! — сказал я сам себе. — Сидят у границы и обмениваются зовами.

Я лежал распластавшись вдоль ствола дерева, свесив ногу над краем насыпи, и жадно пил из фляги. Теперь я понял, что имел в виду Рольф, говоря об обезвоживании. Лезть на эту гору было безумием. Мне придется возвращаться тем же путем, каким я пришел.

Серые сорокопуты смолкли. Пот капал мне на веки, поэтому все, что я видел, казалось смутным и бесформенным. Я услышал громыханье камней со стороны русла и увидел, как ко мне приближается какое-то чудовище.

Это был гигантский пестрый варан, властелин гор, Перенти собственной персоной. В нем было не меньше двух метров в длину. Шкура у него была бледно-желтой, с более темными коричневыми крапинками. Он выбрасывал в воздух свой лиловый язык. Я застыл. Растопыривая когти, он продвигался вперед: непонятно было, заметил он меня или нет. Его когти прошли в пяти санти-

метрах от моего башмака. Потом он развернулся и с неожиданной быстротой убежал туда, откуда и появился.

У перенти пугающие ряды зубов, но для человека он безвреден, если только не загонять его в угол; по правде говоря, если не считать скорпионов, змей и пауков, Австралия в этом отношении — исключительно благодатная страна.

И все равно аборигены унаследовали целый бестиарий всяких монстров и «бук», которыми можно пугать детей или истязать юношей в пору инициации. Мне вспомнился описанный сэром Джорджем Греем Болийяс: это вислоухое злобное привидение, которое подкрадывается коварнее всех других тварей, пожирает мясо, но оставляет кости. Мне вспомнился Радужный Змей. И вспомнилось, как Аркадий рассказывал про Ману-маку — клыкастое йети-подобное существо, которое передвигается под землей, по ночам пробирается в лагеря и убивает неосмотрительных чужестранцев.

Первые австралийцы, размышлял я, наверняка имели дело с реальными чудовищами вроде Thylacaleo, или «сумчатого льва». Существовала и ящерица-перенти девяти метров в длину. И все же в австралийской мегафауне не было ничего

такого, что могло бы потягаться с ужасами африканского буша.

Затем я задумался: а может быть, жестокие аспекты жизни аборигенов — кровная месть и кровавые инициации — обязаны своим существованием тому факту, что у них просто не было настоящих зверей-соперников.

Я поднялся на ноги, взобрался на гребень и поглядел вниз, на поселение Каллен.

Я надеялся увидеть где-нибудь спуск полегче — такой, чтобы мне не пришлось снова пересекать те ущелья. Этот «легкий спуск» оказался каменистой осыпью, однако я добрался вниз невредимым и отправился домой вдоль русла.

По руслу струился тонкий ручеек, вдоль него росли кустарники. Я плеснул немного вода себе в лицо, пошел дальше. Я уже заносил правую ногу, чтобы шагнуть вперед, и тут услышал собственный голос: «Сейчас я наступлю на нечто, похожее на зеленую сосновую шишку». То, чего я еще не видел, оказалось головой коричневого короля, уже приготовившегося пойти в атаку из-за кустов. Я убрал ногу назад и начал отступать, очень медленно: раз… два… раз… два. Змея тоже отступила и ускользнула в нору. Я похвалил себя: «Ты очень хладнокровен» — но тут же почувствовал

волну тошноты.

Я вернулся в Каллен в половине второго.

Рольф оглядел меня и сказал:

— Да ты совсем измотался, дружище.

* * *

Спи, детка, на верхушке дуба, баю-баю.
Повеет ветер — колыбель качает.
Сильней задует — треснет ветка,
Вниз полетит и колыбель, и детка.

То, что человек — мигрирующий вид, по-моему, было доказано в ходе эксперимента, проводившегося в Тэвистокской клинике в Лондоне и описанного доктором Джоном Баулби в книге «Привязанность и потеря».

Всякий нормальный младенец будет кричать, если оставить его в одиночестве; и лучший способ унять эти крики — если мать возьмет его на руки и начнет укачивать, шагая туда-сюда, пока малыш не успокоится. Баулби соорудил механизм, который в точности имитирует ритм и темп материнской поступи; и обнаружил, что ребенок — разумеется, при условии, что он здоров, сыт и не мерзнет, — моментально прекращает плач. «Идеальным является вертикальное движе-

ние, — писал он, — с углом наклона в три дюйма». Укачивать в медленном темпе, например, с тридцатью циклами в минуту, не оказывало нужного воздействия: но, если темп ускорялся до пятидесяти и выше, то все дети прекращали плакать и почти всегда успокаивались.

Изо дня в день младенец все никак не может нагуляться. А раз младенец инстинктивно требует выгула, то, значит, некогда мать в африканской саванне тоже должна была постоянно перемещаться: от стоянки к стоянке, делая ежедневные обходы в поисках прокорма, за водой к роднику и к соседям в гости.

У обезьян ступни плоские, у нас своды стоп изогнуты. Согласно профессору Напье, человеческая походка — это вытянутая пружинящая поступь — 1…2…1…2 — с четырехкратным ритмом, лежащим в основе движения стоп, когда они касаются земли — 1, 2, 3, 4… 1, 2, 3, 4…: пятка ударяется о землю; вес ложится на внешнюю часть ступни; вес переносится на подушечки пальцев; толчок большим пальцем.

Мне не на шутку приходит в голову вопрос, сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери во время

своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии.

«Inferno» и в особенности «Purgatorio» прославляет человеческую походку, размер и ритм шагов, ступню и ее форму. Шаг, сопряженный с дыханьем и насыщенный мыслью, Дант понимает как начало просодии.

Осип Мандельштам, *«Разговор о Данте»*

Melos: по-гречески «конечность»; от этого слова происходит «мелодия».

Подумай о медлительной душе…
Джон Донн, *«Вторая годовщина»*

Один белый исследователь в Африке, которому не терпелось ускорить путешествие, заплатил своим носильщикам за несколько марш-бросков. Но, почти уже дойдя до места назначения, они вдруг сбросили на землю тюки и отказались двигаться дальше. Никакие посулы дополнительного вознаграждения не помогали. Они говорили, что им нужно подождать, пока их нагонят их души.

Бушмены, которые проходят пешком огромные расстояния по Калахари, понятия не имеют о посмертном существовании душ. «Когда мы умираем — мы умираем, — говорят они. — Ветер

уносит наши следы, и всё, нам конец».

Ленивые и оседлые народы, например, древние египтяне, с их представлениями о посмертном странствии по камышовым полям — «оставляли» для загробного мира путешествия, которых им не довелось проделать в мире земном.

ЛОНДОН, 1965

Человек, который пришел на ужин вместе с мистером Расихом, оказался прилизанным лысеющим англичанином лет шестидесяти пяти, розовым, как здоровый младенец. У него были соломенно-седые бакенбарды и ясные голубые глаза. Его звали Алан Брейди. При первом же взгляде на него становилось ясно, что он очень счастливый человек.

Мистер Расих был официальным закупщиком для суданского правительства в Лондоне. Он жил в квартире на верхнем этаже высотного дома в районе Виктории. У него была выкрашенная хной борода, он носил белую галабею и мягкий белый тюрбан. Он практически все время сидел у телефона, собирая у понтеров слухи о разных скакунах, и, похоже, совсем не выходил из дома. Изредка из соседней комнаты доносились голоса

его женщин.

Его друг Брейди был коммивояжером и работал на фирму, производившую пишущие машинки и конторское оборудование. У него были покупатели в тридцати африканских странах, и каждые четыре месяца он посещал по очереди каждую из них.

Он сказал, что предпочитает общество африканцев белым людям. Вести с ними дела — одно удовольствие. Часто говорят, что с африканцами невозможно иметь дело, что они вечно хотят получить что-то в обмен на ничего.

— Однако, могу вас заверить, — сказал мне Брейди, — общаться с ними куда легче, чем с моими коллегами по конторе.

За двадцать лет торговли он дважды влезал в крупные долги. Он никогда не брал отпусков. Он не боялся революций и африканских авиалиний.

В Лондон он приезжал трижды в год, всегда не больше чем на неделю, и останавливался в комнате для ночлега, которую его фирма держала для своих коммивояжеров. Поскольку зимней одежды у Брейди не было, он старался появляться в Англии в такие месяцы, когда можно было избежать непогоды: в ноябре, в марте и в июле.

Помимо той одежды, которая была на нем, он не имел из имущества ничего, кроме запасного тропического костюма, запасного галстука, пуловера, трех рубашек, нижнего белья, носков, тапочек, зонтика и несессера. Все это помещалось в небольшом чемоданчике, который он брал с собой в самолет как ручную кладь.

— Не люблю терять время в аэропортах, — сказал он.

Всякий раз, прилетая в Лондон, он отправлялся в галантерейный магазин на Пикадилли, торговавший одеждой для тропиков, и производил полное переобмундирование: покупал новый чемодан, зонтик, одежду и все прочее. Старые вещи он отдавал швейцару своей компании, который зарабатывал на них несколько фунтов.

— Алан Брейди, — говорил тот горделиво, — никогда не занашивает вещей.

У него не было ни друзей-англичан, ни семьи. Квартира мистера Расиха была единственным в Лондоне местом, где он чувствовал себя легко.

Его отца отравили газом на Сомме, мать погибла во время недели, проведенной Дюнкерке. Иногда летом он навещал ее могилу на деревенском кладбище под Ноттингемом. Еще у него была когда-то тетя в Уигане, но она тоже умерла.

Он уже шагнул за черту пенсионного возраста. Среди сотрудников фирмы поговаривали о том, что ему пора уходить; но его книга заказов всегда была полна, и начальство не думало его увольнять.

— У вас нет какой-нибудь базы? — спросил я у него. — Есть ли такое место, которое вы могли бы назвать своим «домом»?

От зарделся от смущения.

— Есть, — неуверенно ответил он. — Вы коснулись очень личной темы.

— Извините, — сказал я. — Не будем об этом говорить.

— Да нет, я этого не стыжусь, — продолжал он. — Просто некоторым это покажется глупостью.

— Только не мне, — сказал я.

Он рассказал, что в сейфе на работе хранит старый черный оловянный судейский сундук для документов, вроде тех, на которых белыми буквами значится: «Собственность сэра Такого-то».

Всякий раз, бывая в Лондоне, он запирался у себя в комнате для ночлега и раскладывал на матрасе содержимое этого сундука.

На дне сундука он держал всякие безделушки, сохранившиеся со времен его раннего детства:

свадебную фотографию родителей; отцовские медали; письмо от короля; игрушечного мишку; дрезденского зимородка, любимца матери; ее гранатовую брошь; свою награду за состязания в плавании (в 1928 году у него уже не было приступов бронхиальной астмы); свою серебряную пепельницу — памятный подарок от фирмы за «двадцатипятилетнюю верную службу».

В верхней половине сундука, поверх салфетки-разделителя, хранились его «африканские» вещицы — бесценные вещицы, каждая из которых напоминала о какой-нибудь яркой встрече: здесь было зулусское изваяние, купленное у печального старика в Дракенсберге; железный змей из Дагомеи; гравюра с изображением коня Пророка, письмо от мальчика из Бурунди, благодарившего за подаренный футбольный мяч. Всякий раз, привозя с собой новый сувенир, Брейди выбрасывал какую-нибудь старую вещицу, уже потерявшую свою ценность.

Алан Брейди боялся только одного: что скоро его заставят уйти на пенсию.

Если у каждого новорожденного ребенка имеется тяга к движению вперед, то впору задаться вопросом, отчего ему не лежится спокойно.

Пытаясь разобраться в причинах беспокойства

и злости у самых маленьких детей, доктор Баулби пришел к выводу, что сложные инстинктивные узы, существующие между матерью и ребенком, — детские крики тревоги (совсем непохожие на хныканье из-за холода, голода или боли); «сверхъестественная» способность матери слышать эти крики; страх ребенка перед темнотой и чужими людьми; его ужас при виде быстро приближающихся предметов; придуманные им кошмарные чудовища там, где ничего нет; короче говоря, все те «загадочные фобии», которые тщился объяснить Фрейд, в действительности можно было бы объяснить постоянным присутствием хищников в мире первобытного человека.

Баулби приводит фразу из «Основ психологии» Уильяма Джеймса: «Величайшим источником страхов в детстве является одиночество». А значит, оставленный в одиночестве младенец, орущий и молотящий ножками в своей кроватке, не обязательно выказывает первые признаки «инстинкта смерти» или «воли к власти», или какого-нибудь «агрессивного стремления» выбить зубы братику. Все это может развиться (а может и не развиться) позже. Нет: младенец кричит — давайте мысленно перенесем его кроватку в африканскую саванну — потому, что если че-

рез пару минут мама не вернется, то его сожрет гиена.

По-видимому у каждого ребенка имеется врожденное представление о «чем-то», что может напасть на него, причем настолько четкое, что всякое грозящее «нечто», пускай даже это не настоящее «нечто», вызывает предсказуемую цепочку защитного поведения. Крики и молотьба ножками — это первые защитные действия. Затем мать должна быть готова драться за своего ребенка, а отец — драться за них обоих. Опасность возрастает ночью, потому что человек лишен ночного зрения, а крупные кошачьи как раз охотятся по ночам. Может быть, в самом деле, эта самая манихейская драма — где есть и свет, и тьма, и Зверь, — лежит в самом сердце сложного положения человека?

Посетители приютов для малюток в больницах часто поражаются тому, какая там стоит тишина. Однако если мать уже покинула ребенка, то его единственный шанс выжить — это закрыть рот.

33

Ред Лосон, как и обещал, приехал в Каллен разыскивать пропавший грейдер. Он явился на полицейской машине, а чтобы впечатлить калленский народ и доказать серьезность своих намерений, он полностью вырядился в хаки, нацепил все знаки отличия своего ранга и шляпу, решительно закрепленную ремешком под подбородком. Носки, натянутые на икры, чуть не лопались.

В середине дня он совершил объезд лачуг, но потерпел неудачу. Никто не слышал про грейдер. Никто вообще не знал, что такое грейдер: кроме Кларенса-Председателя, который пришел в ярость и заявил Реду, что тот перепутал Каллен с каким-то другим местом. Даже Джошуа разыгрывал немого.

— Ну, что делать? — спросил Ред у Рольфа.

Он сидел на упаковочном ящике внутри магазина и утирал пот со лба.

— Давай подождем старика Алекса, — сказал Рольф. — Он наверняка знает. А насколько я его знаю, он скорее всего ненавидит этот грейдер и

хочет, чтобы его убрали.

Алекс, как обычно, бродил по бушу, но на закате должен был вернуться — и вернулся.

— Я сам с ним потолкую, — сказал Рольф и направился к Алексу.

Тот выслушал Рольфа. Потом, едва заметно усмехнувшись, указал костлявым пальцем на северо-восток.

Страсть Реда к Спинозе сделалась более понятной, когда за ужином он рассказал нам, что его мать была амстердамской еврейкой. Она одна из всей семьи пережила нацистскую оккупацию, укрывшись на чердаке соседей-гоев. Когда изверги убрались и она снова смогла свободно ходить по улицам, у нее появилось чувство, что она должна или умереть — или уехать отсюда очень далеко. Она познакомилась с солдатом-австралийцем. Он был добр к ней и попросил ее выйти за него замуж.

Ред жаждал поговорить с кем-нибудь о Спинозе, но, к моему стыду, я был только поверхностно знаком с «Этикой», и потому наша беседа представляла собой рваную цепочку бессвязных высказываний. Мое умение поддержать разговор не шло ни в какое сравнение с Аркадиевым.

На следующее утро я, Ред и еще один человек,

которого он привез из Попанджи, выехали на поиски грейдера. Мы ползли по равнине в ту сторону, куда указал Алекс. Всякий раз, как мы поднимались на возвышенное место, Ред останавливался и доставал бинокль.

— Никаких признаков этой хрени! — говорил он.

Потом мы проехали через овраг между двумя низко лежащими холмами, и на дальней стороне мы крикнули в один голос;

— Следы грейдера!

Да, и развлекались же здесь они! На многие километры местность была раскурочена колесами, выписывавшими здесь круги, петли и восьмерки. Но, сколько мы ни колесили по этому смехотворному лабиринту, самого грейдера не было видно.

— Мне кажется, я скоро с ума сойду, — сказал Ред.

И в тот же миг я бросил взгляд на конусообразный холм справа от нас. На его вершине виднелась огромная желтая машина.

— Гляди! — крикнул я.

— Боже! — ахнул Ред. — Да как же они загнали его туда, черт возьми?

Мы взобрались на холм и увидели грейдер. Он заржавел, краска отслаивалась клочьями, сквозь

мотор пророс куст. Грейдер балансировал над очень крутым обрывом, одно колесо зависло в воздухе. Невероятно, но шины были целы.

Ред проверил бак: наполовину заполнен. Проверил стартер: он отсутствовал. Затем он осмотрел склон, чтобы убедиться, что там нет скрытых опасностей, и предположил, что, может быть, нам и удастся вручную завести машину.

— Умные сукины дети! — усмехнулся он. Прекрасно понимали, что творят!

Металл машины страшно раскалился. Ред вручил мне пару жаростойких перчаток и аэрозольный баллончик. Моя задача в этой операции заключалась в том, чтобы, самому не надышавшись, впрыснуть эфир в карбюратор.

Я замотал нос носовым платком. Ред залез в кабину водителя.

— Готов? — спросил он.

— Готов! — отозвался я.

Он отпустил тормоза, и грейдер легко сдвинулся с места, зашуршав сломанными ветками. Я надавил на форсунку аэрозольного баллона, и тут же мне пришлось держаться изо всех сил, потому что мы внезапно понеслись вниз по склону, и мотор с ревом ожил. Ред искусно спустил машину на ровное место и затормозил. Потом оглянулся

и показал знаком: «Отлично!»

Он велел человеку из Попанджи сесть за руль полицейской машины. Я сел позади Реда в кабине грейдера. Когда до Каллена оставалось около полутора километров, я спросил, перекрикивая грохот:

— Можешь сделать мне одолжение? Можно я сяду за руль?

— Давай! — ответил Ред.

Я повел грейдер и въехал в поселение. Никого не было видно. Я припарковался на склоне неподалеку от каравана Рольфа.

Теперь, если я еще увижу того, «другого» Брюса в Алис, я смогу ему сказать: «Я никогда не водил бульдозера, Брю. Зато я водил грейдер».

> Ни одна земля не изобилует дикими зверями в большей степени, чем Южная Африка.
>
> ***Чарльз Дарвин, «Происхождение человека»***

> Где опасность, однако,
> Там и спасенье.
>
> ***Фридрих Гельдерлин, «Патмос»***

Кёстлеровы разглагольствования о первородной «кровавой бане» навели меня на мысль, что он, должно быть, был знаком — из первых ли, из вторых ли рук — с трудами Раймонда Дарта. Дарт был молодым профессором анатомии в Витватерсрандском университете в Йоханнесбурге, который в 1924 году осознал значимость «таунгского ребенка» — впечатляющего окаменелого черепа из Капской провинции — и дал ему труднопроизносимое название Australopithecus africanus, то есть «африканской южной обезьяны».

Он правильно вычислил, что рост этого существа составлял около 1 м 20 см; что оно ходило на задних лапах, более или менее вертикально, как человек; и что мозг взрослой особи, хотя и был едва ли крупнее, чем у шимпанзе, все же обладал человеческими характеристиками.

Обнаружение этого «недостающего звена», настаивал он (вызывая насмешки «экспертов» в Англии), подкрепляло догадку Дарвина о том, что человек произошел от высших приматов в Африке.

Дарт также считал, что тот «ребенок» был убит ударом в голову.

Дарт, квинслендец из семьи животноводов,

принадлежал к поколению Первой мировой войны; и хотя он был лишь свидетелем операций по очистке захваченной территории от противника в 1918 году, у него, по-видимому, сложился разочарованный взгляд на человечество: он полагал, что людям доставляет удовольствие убивать других людей и что они всегда будут убивать друг друга.

Разумеется, в 1953 году, когда появилась новая находка в пещере на краю Калахари, он почувствовал себя обязанным высказать свое мнение — в работе, озаглавленной «Хищная переходная стадия от обезьяны к человеку», — о том, что наш вид выделился из обезьяньей среды, потому что мы были убийцами и каннибалами; что Оружие и породило Человека; что вся последующая история вращалась вокруг обладания оружием и разработкой все более совершенных его форм; и что, следовательно, люди должны приспосабливать не оружие к нуждам общества, а само общество — к имеющемуся оружию.

Ученик Дарта Роберт Ардри был вынужден поставить эту работу в один ряд с «Коммунистическим манифестом» по силе воздействия на идеологию.

В 1947–1948 годах, ведя раскопки в пещере

Макапансгат-Лаймуэркс (жутковатом месте, где фортреккеры некогда вырезали целое племя банту), Дарт обнаружил нечто, что он принял за «кухонную мусорную кучу» стада австралопитеков, которые, «как и Нимрод, живший много позже них», были охотниками.

Эти австралопитеки, помимо того, что питались яйцами, крабами, ящерицами, грызунами и птицами, еще убивали в большом количестве антилоп, не говоря уже о более крупных млекопитающих вроде жирафа, пещерного медведя, гиппопотама, носорога, слона, льва, двух видов гиены. Кроме того, среди 7000 с лишним костей было найдено множество черепов бабуинов без скелетов и остатки каннибальской трапезы.

Из этих ископаемых Дарт выбрал один характерный образец: «сломанную нижнюю челюсть двенадцатилетнего сына человекообразной обезьяны»:

Паренька убили жестоким ударом, нанесенным с большой точностью в самое острие подбородка. Удар дубиной был столь мощным, что он сокрушил челюсть с обеих сторон лица и вышиб все зубы. Эта драматическая находка побудила меня начать в 1948 году и продолжить в течение последующих семи лет изучение образа жизни этих

убийц и каннибалов.

Что он и сделал. Он принялся сравнивать скопление костей из Макапансгата с костями из Таунга и Стеркфонтейна (последняя — пещерная стоянка под Преторией), а между 1949 и 1965 годами он опубликовал в общей сложности тридцать девять работ, в которых излагал свою теорию остеодонтокератической («кость-зуб-рог») культуры орудий у австралопитеков.

Нарисованная им картина жизни наших непосредственных предков представляла их правшами; их излюбленным оружием была дубинка, сделанная из периферийного конца антилопьей плечевой кости; вместо кинжалов они использовали рога или длинные обломки заостренных костей, вместо пил — челюстные кости, вместо багров — клыки хищников; а множество других костей было раздроблено с целью извлечения костного мозга.

Заметив также, что хвостовые позвонки почти неизменно отсутствовали, Дарт предположил, что хвостами размахивали как цепами, кнутами или сигнальными флажками. А еще — из-за того, что черепа и бабуинов, и австралопитеков были, очевидно, намеренно изувечены, — он предположил, что обитатели пещеры были «про-

фессиональными охотниками за головами». Он заключил:

> Забрызганные кровью, осквернённые резней архивы человеческой истории, от древнейших египетских или шумерских записей до недавних зверств Второй мировой войны, совокупно со сведениями о повсеместном каннибализме в древности, с практикой животных и человеческих жертвоприношений или их замен в формализованных религиях, с распространенным по всему миру скальпированием, охотой за головами, нанесением телесных увечий и некрофилией, свидетельствуют об этом общем дифференциаторе кровожадности, об этой хищной привычке, о пятне Каина, которое в диетическом отношении отличает человека от его родичей-антропоидов и скорее сближает его с самыми опасными хищниками.

Уже сам стиль наводит на мысль о том, что что-то здесь не так.

БЕРКЛИ, КАЛИФОРНИЯ, 1969

В Народном Парке ко мне подошел какой-то преждевременно состарившийся хиппи.

— Прекратите убийства! — сказал он. — Прекратите убийства!

— Ты, случайно, не станешь, — спросил я, — уговаривать тигра жевать жвачку?

И поднялся, приготовившись дать деру.

— Подонок! — закричал тот.

— Вспомни Гитлера! — прокричал я ему в ответ. — Вспомни Рудольфа Гесса! Как эти вегетарианцы на пикниках друг к другу в корзинки заглядывали!

> Число убийств, совершаемых во время Великого поста, как меня уверяют, больше, чем в какое-либо другое время года. Человек под влиянием бобового рациона (ибо это основная пища греков во время постов) приходит в надлежащее настроение для того, чтобы украсить усыпальницу своего Святого и пырнуть ножом своего соседа.
>
> ***А. У. Кинглейк, «Эотен»***

ВИТВАТЕРСРАНДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ЙОХАННЕСБУРГ, 1983

Девяностолетний юбилей профессора Раймонда Дарта на кафедре анатомии. Старик размахивал гематитовой гирей: с ее помощью он надеялся держать в форме свои лобные доли. Скрипучим голосом он объяснял, что быть правшой — значит иметь более развитым левое мозговое полушарие; однако если давать обеим рукам одинаковую нагрузку, можно упражнять оба полушария.

Две черные студентки манерно макали печенье в чашки с чаем и хихикали.

После банкета двое молодых коллег Дарта отвели меня по коридору показать «таунгского ребенка». Что за экспонат! Создавалось впечатление, что необыкновенно умное маленькое существо смотрит на тебя в бинокль сквозь тысячелетия.

Повреждение, нанесенное черепу, сказали они, не имеет ничего общего с насилием. До того как он окаменел, его просто расплющили слежавшиеся слои брекчии.

Еще они разрешили мне потрогать «сломанную

челюсть» мальчика из Макапансгата. Она была серовато-черной — не от того, что ее варили или жарили, а от магниевых пятен. Здесь опять-таки, сказали они, повреждение могли вызывать лишь сдвиги породы, например, оседание слоев.

А теперь — довольно о том нагромождении нелепостей, которые накопились вокруг этих двух находок.

СВАРТКРАНС, ТРАНСВААЛЬ

Вместе с «Бобом» Брейном — на однодневные раскопки в пещеру Сварткранс: там он проработал девятнадцать сезонов. Стоя над шахтой пещеры, я поглядел в одну сторону — там к Высокому Вельду простирались травяные холмы, в другой стороне мерцали крыши стоянки Стеркфонтейн, а дальше, за ними, высился отвал Кругерсдорпского рудника.

Поверхность земли была усеяна маленькими острыми камнями, так что идти было трудно. Цвело алыми цветами алоэ, но деревьев не было — вернее, деревьев не было на равнине. Зато внутри устья пещеры виднелся пятнистый ствол нектандры: ее листья отбрасывали тень на раскопки. Семена этого дерева выживают только в местах, защищенных от пожаров и морозов.

Брейн показал мне брекчию, в которой было найдено столько ископаемых останков могучей, «Кинг-Конгообразной» разновидности австралопитека — A. robustus: известно, что более двух миллионов лет назад это создание сосуществовало здесь, в этой долине, с первым человеком, Homo habilis.

Бригадир Джордж был бывалым копателем. Он вынимал за один раз ровно один кубический фут земли, просеивал его содержимое через сито для руды. Затем Брейн брал каждый обломок кости и внимательно разглядывал его в лупу.

День был жаркий, и мы отдыхали у него в домике. На книжной полке стоял «Religio Medici» Томаса Брауна. Именно здесь Брейн написал большую часть своей книги «Охотники или дичь?» — самой захватывающей детективной истории, какую я только читал.

Брейн, директор Трансваальского музея в Претории, — спокойный, задумчивый, скромный человек, наделенный аскетическими убеждениями и безграничным терпением. Его отец был английским энтомологом, который отправился в Родезию бороться с эпидемией чумы. Родным языком его матери был африкаанс. Он приходился правнучатым племянником Эжену Марэ

— поэту, натуралисту и отшельнику, чья «Душа белого муравья» дала Метерлинку основу для плагиата.

Брейн дал определение настоящему натуралисту: это «человек, который влюблен в мир» и верит в то, что единственный способ приблизиться к природе — это попытаться разглядеть вещи такими, какие они есть, «не фильтруя их». Ему не дает покоя мысль о хрупкости человеческой жизни, и он беспрестанно ищет способы сохранить ее.

Он очень не любит замыкаться на какой-то одной дисциплине, и в разные периоды своей жизни — с почти «даосским» самоотречением — отдавался зоологии, геологии, изучению доисторической эпохи и климатологии. Он писал о поведении обезьян, о гекконах, о хамелеонах и о гремучей гадюке из пустыни Намиб. Закончив работу в Сварткрансе, он собирается снова обратиться к протозоа — «этим одноклеточным сгусткам витальности», которые можно обнаружить в самых омерзительных колодцах пустыни и которые кормятся, размножаются и умирают в течение нескольких часов.

В 1955 году, будучи молодым человеком, Брейн посетил Третий панафриканский конгресс, по-

священный доисторической эпохе, и слышал, как Раймонд Дарт излагал свои взгляды на Кровавую Баню. Он почувствовал, что это — клевета на человека как на вид и что он — пожалуй, единственный из всех присутствующих в зале, кто понимает, почему.

Дело в том, что ему доводилось работать геологом-почвоведом и заниматься брекчиями Макапансгата, и он поставил под сомнение интерпретации Дарта, который в каждом обломке кости из этой пещеры видел орудие или оружие. Кроме того, хотя убийства и каннибализм спорадически происходят повсеместно в животном царстве (обычно такие случаи бывают реакцией на перенаселение или стресс), — сама идея, что убийство и сотворило человека, была бессмыслицей с точки зрения эволюции.

В течение десяти лет Брейн размышлял над тезисом Дарта; и, став директором музея, он решил вплотную заняться этим вопросом.

В Стеркфонтейнской долине есть три известняково-доломитовые пещеры, где найдены ископаемые гоминиды: это Стеркфонтейн, Сварткранс и Кромдраай. Убедившись в том, что условия там были в общих чертах те же, что в Макапансгате, он приступил к работе.

Каждая пещера заполнена брекчией из костей и осадочных пород, которые втиснулись туда сверху и за два или три миллиона лет образовали множество наслоений. Кости попадались самой разной величины — от слоновьих до мышиных. Среди этих находок несколько костей принадлежало вымершему бабуину и двум видам австралопитека: в Стеркфонтейне — более раннему, «грацильному» A. africanus; в Сварткрансе и Кромдраае — его потомку, массивному A. robustus.

Есть там и человеческие кости, но не много.

Некоторые из этих костей гоминидов действительно несут на себе следы насильственной смерти. Если удастся доказать, что эти кости принесены туда другими гоминидами, тогда тем придется предъявить обвинения в убийстве и каннибализме. Если нет — то нет.

Брейн подверг тщательному «судебному» освидетельствованию около 20 тысяч костей, пытаясь понять, каким образом каждая из них попала в пещеру и как пришла в свое нынешнее состояние. Одни кости, по-видимому, занесло сюда паводком. Другие притащили дикобразы: известно, что они запасают целые склады костей и точат об них зубы. Скелеты мелких грызунов

содержались в совиных катышках. Кости более крупных млекопитающих — слона, гиппопотама, льва, — очевидно, остались от трапез гиен, питавшихся падалью.

Но ни один из этих выводов не меняет общей картины: все три пещеры служили логовами хищников; подавляющее количество костей принадлежало животным, убитым вне пещер и лишь потом притащенным сюда, «домой», чтобы быть сожранными в темноте. Все эти ископаемые представляли собой объедки.

Излишне вдаваться в подробности остроумного метода Брейна: достаточно будет лишь указать, что все те антилопьи кости, которые Дарт считал дубинками, кинжалами и так далее, были как раз теми частями скелета, которые оставляют крупные кошачьи, закончив трапезу.

Что касается почти полного отсутствия ископаемых костей гоминидов — в отличие от черепов и челюстных костей, — то Брейн отметил, что, пожирая бабуина, гепард обычно съедает почти весь скелет, кроме конечностей и черепа. Легкая «деформация», иногда наблюдаемая у основания черепа, объясняется привычкой хищника проламывать черепную коробку в самом уязвимом месте (оно называется foramen magnum,

«большой канал») и потом высасывать из него содержимое.

Скелет примата гораздо более хрупок, чем скелет антилопы, его легче переваривать.

Все крупные кошачьи убивают жертву, перегрызая ей шею: это роднит их с топором палача, с гильотиной и гарротой. Камю в своих «Размышлениях о гильотине» вспоминает, как его отец, солидный petit bourgeois из Орана, был так возмущен одним отвратительным убийством, что отправился на публичное гильотинирование убийцы и ушел с места казни, не в силах справиться с приступом рвоты.

Как мы знаем со слов д-ра Ливингстоуна, пережившего нападение льва, ощущения, возникающие в тот момент, когда тебя терзает крупная кошка, могут быть отнюдь не такими чудовищными, как можно себе вообразить. Он писал: «Возникает состояние вроде задумчивости, в котором не чувствуешь ни боли, ни ужаса. Его можно сравнить с ощущениями пациентов, находящихся под воздействием хлороформа: они передают потом, что видели саму операцию, но при этом не чувствовали боли от ножа… Вероятно, подобное состояние возникает у всех животных, которых умерщвляют хищники; и

если это так, то его можно счесть милосердным даром, который изобрел наш благосклонный создатель, чтобы ослабить смертные муки».

«Миссионерские странствия»

ТРАНСВААЛЬСКИЙ МУЗЕЙ, ПРЕТОРИЯ

Я провел несколько часов в обществе доктора Элизабет Врбы — палеонтолога, главного ассистента Брейна. Какой она оказалась блестящей рассказчицей! Мы сидели на полу так называемой Красной Комнаты и, надев белые перчатки, ощупывали знаменитые экспонаты вроде «миссис Плез» — почти целого черепа A. africanusa, найденного покойным Робертом Брумом в 1930-е годы.

Держать в одной руке тонкую челюстную кость africanus'a, а в другой — огромные коренные зубы robustus'a — все равно что сравнивать подкову шетландского пони с подковой тяжеловоза.

Ископаемые из Стеркфонтейнской долины недавно были сравнены с находками из Кении и Эфиопии, где, как считается, около шести миллионов лет назад жил прямоходящий Australopithecus afarensis (найденный образец получил прозвище «Люси») — архаичная, карликовая разновидность

австралопитека. Доказано, что «южный африканец» вдвое моложе этого вида.

Элизабет Врба продемонстрировала мне, что три разновидности австралопитека представляют три этапа в эволюционной цепи: то, что они становятся все крупнее и мускулистее, является ответом на изменения среды обитания, которая делается все более засушливой и открытой.

В какой именно момент от этой линии отделился человек — вот вопрос, который ученые готовы обсуждать до бесконечности. Каждый полевой исследователь мечтает найти ЕГО. Но, как предупреждал Брейн, «Найти красивое ископаемое и поставить на него свою репутацию — значит, перестать видеть само ископаемое».

Как бы то ни было, примерно 2.5 миллиона лет назад, или чуть позже, в восточной Африке появилось маленькое проворное существо с поразительно развитыми лобными долями мозга. На всех трех стадиях у австралопитека соотношение массы тела и мозга оставалось постоянным. У человека же наблюдается неожиданный взрыв.

Элизабет Врба написала ряд получивших международное признание работ, посвященных темпам эволюционных изменений. Именно она заострила мое внимание на спорах между «гра-

дуалистами» и сторонниками «теории скачка».

Дарвийисты-ортодоксы считают, что эволюция происходит размеренно и непрерывно. Каждое новое поколение едва заметно отличается от родителей; когда же различия накапливаются, вид переходит генетический «водораздел», и возникает новое существо, достойное нового линнеевского имени.

Сторонники «теории скачка» же, наоборот — памятуя о жестоких переломах двадцатого столетия, — настаивают на том, что каждый вид есть некий цельный организм, внезапно возникающий и внезапно исчезающий, и что эволюция происходит скачкообразно: вслед за короткими вспышками суеты наступают долгие периоды затишья.

Многие эволюционисты считают, что движущей силой эволюционных изменений является климат.

Виды в целом консервативны и сопротивляются переменам. Подобно супругам в непрочном браке, они живут себе и живут, то здесь, то там идя на мелкие уступки, пока наконец не достигают той точки взрыва, когда справиться с разладом уже невозможно.

В условиях климатической катастрофы, когда

вся привычная среда обитания распадается на глазах, маленькое племенное сообщество может отделиться от сородичей и зажить изолированно — обычно в каком-нибудь ареале на самой окраине территории, которую занимали его предки; там ему предстоит или претерпеть перемены, или вымереть.

«Скачок» от одного вида к следующему, когда случается, то происходит быстро и резко. Новые пришельцы вдруг перестают откликаться на прежние брачные зовы. По сути, как только эти «изолирующие механизмы» обретают силу, виду уже не угрожает генетический «откат», утрата новых признаков, возврат к прошлому.

Иногда новый вид, окрепнув благодаря совершившимся переменам, может заново заселить прежние места обитания и вытеснить своих предшественников.

Процесс такого «перескакивания» в изоляцию назвали «аллопатрическим („иноземным“) видообразованием». Это явление и объясняет, отчего — при том, что биологи находят бесчисленные вариации внутри вида (касающиеся величины тела или пигментации), — никому никогда не удавалось найти промежуточную форму между ближайшим видами.

Поэтому поиски «истоков» человека могут оказаться погоней за химерой.

Обязательная изоляция, необходимая для «перескакивания», по-видимому, может с равным успехом существовать вдоль пути миграции — который в конечном счете, тоже является участком территории, только вытянутым в длинную непрерывную линию, как нить, которую спряли из руна.

Когда я размышлял об этом, меня вдруг поразило сходство между «аллопатрией» и аборигенскими мифами о сотворении мира: ведь в них каждый тотемный вид зарождается сам по себе, изолированно, в какой-то одной точке на карте, а затем разбредается по земле, опутывая ее линиями своих следов.

Все виды должны рано или поздно совершать «скачки», но одни «скачут» более охотно, чем другие. Элизабет Врба показала мне схемы, на которых вычертила «родословную» двух сестринских кладов антилоп — Alcephalini и Aepycerotini; оба вида восходят к одному общему предку, жившему в эпоху миоцена.

Alcephalini — семейство, к которому относятся и бубалы, и антилопы гну, имеют «специализированные» зубы и желудки, приспособленные к

питанию в условиях засухи; за последние шесть с половиной миллионов лет внутри него быстро возникло около сорока видов. А импала, или черно-пятая антилопа, представитель семейства Aepycerotini, будучи универсалом, способным благополучно существовать в любых климатических условиях, осталась неизменной с глубокой древности до сего дня.

Эволюционные изменения, сказала Элизабет Врба, некогда восхвалялись как признак успеха. Теперь-то мы знаем: самые успешные виды — это те, что существуют долго.

По-настоящему важное известие — это то, что мы происходим от весьма устойчивой линии предков.

Предки человека были «универсалами» — неунывающими и находчивыми существами, которые за тот же период времени, что и импалы, по-видимому, сумели выкарабкаться из множества щекотливых ситуаций, при этом умудрившись всякий раз не совершать нового видообразования. Из этого следует, что, когда в рядах гоминидов наблюдались-таки важные структурные изменения, их причиной должно было послужить некое мощное давление извне. Кроме того, нашим предкам понадобилась куда

более стойкая, несгибаемая инстинктивная и моральная, выдержка, чем мы ранее могли предположить.

С тех пор как окончилась эпоха миоцена, на самом деле произошло только два таких крупных «скачка вперед», и разделял их промежуток приблизительно в четыре миллиона лет; первый связан с появлением австралопитека, второй — с появлением человека:

1. Изменение строения таза и ступни: вместо форм, присущих лесным обезьянам, передвигавшимся с помощью рук, появляются формы, характерные для существа, передвигающегося на ногах по равнине; из четвероногого получается двуногое; руки, раньше служившие средством перемещения, освобождаются для других занятий.

2. Быстрое увеличение мозга.

Оба «скачка», как выяснилось, совпали по времени с внезапными сдвигами в климате, который сделался 1) более холодным и 2) более засушливым.

Около десяти миллионов лет назад наш гипотетический предок, обезьяна эпохи миоцена, обитал в дождевых лесах с исполинскими деревьями, которые в ту пору покрывали почти всю Африку.

Подобно шимпанзе и горилле, он, вероятно, ночевал каждый раз на новом месте, однако ограничивал свои блуждания хорошо знакомой территорией площадью в несколько квадратных километров, где ему ничто не угрожало, где всегда было вдоволь пищи, где дождь стекал ручейками по стволам деревьев, а потом на листья падал солнечный свет; и где он мог укрыться в безопасности лесного ложа от «ужасов».

(В окрестностях озера Тернефин в Чаде я видел ископаемый череп гиениды эпохи миоцена: это была зверюга величиной с быка, с челюстями, способными отгрызть ногу слону.)

Однако на закате миоцена деревья начали уменьшаться в размерах. По еще невыясненным причинам Средиземное море вобрало в себя около 6 % мировой океанической соли. Из-за снижения солености моря вокруг Антарктиды начали покрываться льдами. Ледниковый покров удвоился. Уровень моря упал; и Средиземное море, отрезанное от океана мостом суши на месте Гибралтара, превратилось в одну обширную испаряющуюся соляную яму.

В Африке дождевые леса сошли на нет, сохранившись лишь на небольших участках (в настоящее время там живут древесные обезья-

ны), а между тем в восточной части континента растительность превратилась в «саванную мозаику»: на открытой равнине росли деревья и трава, влажные сезоны чередовались с засушливыми, изобилие — со скудостью, на смену половодью приходили высохшие озера с растрескавшимся дном. Это и была «родина» австралопитека.

Это было животное, которое ходило на задних лапах и, возможно, переносило грузы: прямохождение с характерным для него развитием дельтовидной мышцы, по-видимому, было обусловлено переноской тяжестей — например, детенышей и пищи, — с одного места на другое. Однако широкие плечи, длинные руки и в малой степени цепкие пальцы ног наводят на мысль, что это существо, по крайней мере пребывая на «архаической» ступени, еще отчасти жило или находило укрытие на деревьях.

В 1830-х годах Вильгельм фон Гумбольдт, отец современного языкознания, высказал догадку, что человек стал ходить на двух ногах из-за возникновения речи, чтобы «не бубнить в землю и не заглушать голоса».

Однако четыре миллиона лет прямохождения не оказали какого-либо воздействия на развитие речи.

Тем не менее «грацильные» и «массивные» австралопитеки скорее всего обладали способностью выделывать простые орудия — из кости и даже камня. Характер изнашивания на этих орудиях, видимый под микроскопом, наводит на предположение, что их использовали не для убийства или разделки туш, а для выкапывания луковиц и корней растений. Вероятно, австралопитек ловил молодую газель, если та оказывалась на его пути и ей не удавалось удрать. Может быть даже, он и систематически охотился, как это делают шимпанзе. Но все равно он по-прежнему оставался более или менее вегетарианцем.

Что касается первого человека, то он был всеяден. Уже строение зубов говорит о его всеядности. Судя по каменным орудиям, которые во множестве находят вокруг его стоянок, он, вероятно, расчленял туши животных и поедал их мясо. Однако вполне возможно, что он был скорее падальщиком, чем охотником. Его появление совпадает по времени со вторым климатическим переворотом.

Климатологи установили, что примерно 3,2–2,6 миллиона лет назад на Земле произошло резкое падение температуры, известное теперь как Первое Северное оледенение; тогда впер-

вые образовался сплошной ледяной покров на Северном полюсе. В Африке результаты были катастрофичны.

Вдоль всей Великой Рифтовой Долины леса погибли и уступили место открытой степи: это была песчано-гравийная пустыня, местами поросшая травой и кустарником, а деревья жались поближе к рекам и ручьям.

Земля, поросшая колючками, была именно тем самым местом, где начал расти мозг первого человека: Терновый Венец — не случайный образ.

— Человек, — говорила Элизабет Врба, — возник в неблагоприятной атмосфере. Этой неблагоприятной атмосферой был засушливый климат.

— Вы хотите сказать, что человек зародился в пустыне?

— Да, — сказала она. — В пустыне. Или по крайней мере в полупустыне.

— Где источники пресной воды всегда были ненадежными?

— Да.

— Зато в большом количестве рыскали страшные звери?

— Хищнику все равно, где жить, лишь бы мяса было достаточно. Наверное, это было ужасное существование!

В анналах эволюции значатся нескончаемые «гонки вооружений» между хищником и его добычей, поскольку естественный отбор идет в пользу добычи, оснащенной лучшими средствами обороны, и в пользу хищника, оснащенного лучшими орудиями убийства.

Черепаха прячется в панцирь. Еж топорщится иглами. Мотылек сливается с корой дерева, кролик удирает в нору, слишком тесную для лисицы; но человек беззащитен посреди безлесной равнины. Ответом robustus'а стало наращивание мышц. Мы же нашли применение мозгам.

Бессмысленно, продолжала доктор Врба, изучать возникновение человека в вакууме, не рассматривая участи других видов в ту же историческую эпоху. Дело в том, что около 2,5 миллиона лет назад, как раз тогда, когда человек совершил свой поразительный «скачок», происходило «грандиозное перетряхивание видов».

— Среди антилоп, — сказала она, — творился сущий ад.

По всей восточной Африке оседлые животные, питавшиеся побегами деревьев, уступили место более «мозговитым» мигрирующим видам. Основания для оседлого существования просто исчезли.

— А оседлые виды, — сказала она, — как и гены оседлости, невероятно успешны — в течение определенного времени. Зато в конце концов они чреваты саморазрушением.

В засушливой местности год на год не приходится. Случайный грозовой ливень может создать временный зеленый оазис, а в нескольких километрах от него земля остается сухой и голой. А значит, чтобы выжить во время засухи, каждый вид должен прибегнуть к одной из двух уловок: либо приготовиться к худшему и «уйти на дно», либо открыться навстречу миру и двинуться в путь.

Семена некоторых пустынных растений могут «спать» десятилетиями. Некоторые пустынные грызуны выходят из своих нор только по ночам. Вельвичия — необыкновенное растение с ремневидными листьями, встречающееся в пустыне Намиб, живет тысячи лет, питаясь одним только утренним туманом. Однако мигрирующие виды животных должны переходить с места на место — или в любой момент быть готовыми к переходу.

Элизабет Врба в ходе нашей беседы сказала, что антилоп побуждают к миграции вспышки

молнии.

— Как и бушменов из Калахари, — заметил я. — Они тоже «идут за молнией». Потому что там, где сверкнула молния, будет вода, зелень и дичь.

> Когда мои ноги отдыхают, мой ум тоже погружается в бездействие.
>
> ***И. Г. Гаманн***

Языковые способности Homo habilis, наверное, ограничивались набором хрюкающих, ухающих и свистящих звуков; впрочем, нам никогда не узнать об этом. Мозг не сохраняется при процессах окаменения. Однако его очертания оставляют отпечатки на внутренних стенках черепной коробки. Можно сделать слепок с этих отпечатков, положить эти «внутренние слепки» («эндокасты») рядом и сравнить их.

ПАРИЖ, МУЗЕЙ ЧЕЛОВЕКА, 1984

В своем педантично обустроенном кабинете профессор Ив Коппенс — один из самых светлых умов, работающих в области ископаемых останков древнего человека, — выстроил в целую шеренгу ряд таких «эндокастов»; и в тот миг, когда он перешел от австралопитека к человеку,

у меня появилось ощущение чего-то поразительного и нового.

Мозг не только увеличивается в размерах (почти в полтора раза), но и меняет форму. Теменные и височные зоны — это они отвечают за сообразительность и способность к обучению — трансформируются и заметно усложняются. Впервые появляется околообонятельное поле Брока — участок, как известно, неотделимый от речевой деятельности. Мембраны утолщаются. Синапсы умножаются, как и вены и артерии, снабжающие мозг кровью.

Во рту тоже происходят важные перестройки — особенно в альвеолярной зоне, где язык касается нёба. А поскольку человек — по определению Говорящее Животное, то трудно понять, для чего еще могли совершаться все эти перемены, если не для развития речи и языка.

Последующие стадии человеческой эволюции — от Homo erectus до H. sapiens — по мнению Коппенса, еще не означают, что из старых видов развился новый. Скорее, ему кажется, что они являли собой трансформацию исходного образца: Homo habilis.

«В течение длительного времени исследуя Homo habilis, — пишет он в своей книге „Le Singe,

LAfrique et L'Homme“ [59], — я пришел к выводу, что именно ему нужно адресовать вопросы: Кто мы? Откуда мы произошли? Куда мы движемся? Его неожиданный триумф представляется столь блистательным, столь необычным и столь новым, что, стремясь определить истоки человеческой памяти и языка, я охотно указал бы этот вид и эту часть света».

— Я понимаю, может, это покажется несколько притянутым за уши, — сказал я Элизабет Врбе, — но если бы меня спросили: «Для чего существует большой мозг?» — у меня бы было искушение ответить: «Чтобы, распевая песни, не заблудиться в пустыне».

Она немного удивилась. Потом, выдвинув ящик стола, вынула оттуда рисунок акварелью. Художник изобразил семью Первых Людей с детьми, бредущую гуськом по пустынному пейзажу.

Она улыбнулась и сказала:

— Я тоже думаю, что гоминиды мигрировали.

Так кто же был пещерным убийцей?

Леопарды предпочитают пожирать свою добычу в самых темных укрытиях. На раннем этапе

---

[59] Примечания: 59

«Обезьяна, Африка и Человек» (фр.) — *Прим. перев.*

своего расследования Брейн считал, что именно они учиняли кровавые трапезы; и отчасти это действительно могло быть так.

Среди ископаемых, собранных в Красной Комнате, он показал мне дефектный свод черепа молодого самца Homo habilis. Ближе к лобной части черепа были видны следы опухоли мозга: значит, это был «идиот в семье». У основания виднелись две аккуратные дырочки, примерно в дюйме одна от другой. Затем Брейн взял ископаемый череп леопарда, найденный в том же слое, и продемонстрировал, что два нижних клыка в точности проходят в те два отверстия. Леопард тащит свою жертву, захватив череп челюстями, — как кошка несет мышь.

Отверстия находились как раз в нужном месте.

БХИМТАЛ, КУМАОН, ИНДИЯ

Однажды я отправился повидать садху-шиваита, жившего в отшельническом жилище на холме напротив. Этот очень праведный человек принял мое приношение — несколько рупий, — и благоговейно завернул их в край своих оранжевых одеяний. Он сидел, скрестив ноги, на леопардовой шкуре. Его борода спускалась до самых колен, и, пока он кипятил воду для чая, тараканы сновали

по ней вверх-вниз. Под его жилищем находилась пещера леопарда. В лунные ночи леопард приходил к нему в сад, и они с садху глядели друг другу в глаза.

Однако старожилы деревни помнили ужасные времена «людоедов», когда никто не чувствовал себя в безопасности даже за запертыми дверями.

В Рудрапраяге, к северу отсюда, людоед сожрал больше 125 человек, пока его не пристрелил Джим Корбетт. Однажды зверь сбил дверь с овчарни; прополз по телам сорока живых коз (или под ними), не тронув ни одной; и, наконец, схватил молодого пастуха, который спал в одиночестве в дальнем конце загона.

ТРАНСВААЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

Леопард становится «людоедом» обычно — хотя не всегда — в результате случайности, например, из-за отсутствия клыка. Но если уж зверю полюбился вкус человечины, он позабудет о другой пище.

Когда Брейн подсчитал процентное содержание ископаемых приматов — то есть останков бабуинов и гоминидов, как на уровне robustus'a в Сварткрансе, так и на уровне africanus'a. в Стеркфонтейне, он, к своему удивлению, обнаружил,

что кости приматов составляли 52,9 % от общего числа съеденных жертв в первом случае и 69,8 % во втором. Остальными жертвами были антилопы и другие млекопитающие. Какой бы зверь (или звери) ни использовал пещеры в качестве склепов, он явно отдавал предпочтение человечине.

Брейн играл с мыслью о том, что здесь потрудились леопарды-«людоеды»; однако этой гипотезе противоречат несколько соображений:

Статистика из африканских национальных парков показывает, что бабуины составляют не более 2 % рациона нормального леопарда.

В верхних слоях Сварткранса, когда обитателями пещеры явно были именно леопарды, оставлено множество объедков их обычной добычи — газелей, тогда как доля бабуинов снижается до 3 %.

Возможно ли, что леопарды прошли через «ненормальную», людоедскую, стадию — а потом вернулись к прежним привычкам?

Кроме того, Элизабет Врба занялась анализом костей полорогих жвачных животных из пещер и обнаружила, что среди них преобладают кости чересчур массивных животных — например, ги-

гантского бубала (коровьей антилопы): леопарду с ними было не справиться.

Возможных «кандидатов» трое: все трое вымерли, и все трое оставили свои окаменелые останки в Стеркфонтейнской долине:

а. Длинноногие гиены-охотницы, Hyenictis и Euryboas,

б. Махиродонты, или саблезубые кошки,

в. Род Dinofelis — «ложные саблезубые».

У саблезубых кошек были огромные шейные мышцы, они были могучими прыгунами; а в их верхних челюстях имелись серпообразные клыки с зазубренными остриями. Нисходящим ударом звери вонзали их в шею жертвы, смыкая челюсти. Особенно такое орудие подходило для нападения на крупных травоядных. Их плотоядные зубы служили для перемалывания мяса гораздо лучше, чем зубы всех остальных хищников. Однако нижние челюсти у них были слабыми — настолько слабыми, что им не удавалось справиться со скелетом.

Когда-то Грифф Юйер предположил, что коренные зубы гиены, приспособленные для перемалывания костей, возникли как реакция на избыток недоеденных туш, остававшихся после трапез саблезубых.

Очевидно, что в пещерах Стеркфонтейнской долины обитали в течение очень длительного времени разные хищники.

Брейн догадался, что часть костей, особенно принадлежавших крупным антилопам, могли притаскивать туда саблезубые кошки и гиены, «работавшие» в тандеме. Вполне возможно, что некоторых гоминидов приносили туда гиены-охотницы.

Но давайте перейдем к третьему варианту.

Dinofelis был менее проворной кошкой, чем леопард или гепард, зато имел гораздо более могучее телосложение. У него были прямые кинжалообразныге зубы, по форме представлявшие собой нечто среднее между зубами саблезубых кошек и, скажем, современного тигра; ими он умерщвлял жертву. Его нижняя челюсть могла захлопываться; а поскольку телосложение у него было несколько неуклюжее, охотился он, вероятно, из укрытия и, вполне вероятно, по ночам. Возможно, этот зверь был пятнистым. Возможно, он был полосатым. А может быть, как пантера, он был черным.

Его кости находили повсюду от Трансвааля до Эфиопии — в местах первоначального обитания человека.

Только что, в Красной Комнате, я держал в руках ископаемый череп динофелиса — великолепный образец с патиной цвета коричневатой патоки. Я нарочно соединил шарнирами нижнюю челюсть с верхней и, смыкая их, внимательно смотрел на клыки.

Этот череп принадлежит одному из трех целиком сохранившихся скелетов динофелисов — самца, самки и «мальчика», — найденных окаменелыми вместе с восемью бабуинами (больше никаких животных рядом не было) в Боултс-Фарм, недалеко от Сварткранса, в 1947–1948 гг. Х. Б. С. Кук, который нашел их, предположил, что это «семейство» динофелисов, охотясь на бабуинов, вдруг угодило в естественную яму, и там они все вместе погибли.

Странная гибель! Однако не страннее других вопросов, на которые до сих пор нет ответов: Почему в этих пещерах найдено так много бабуинов и гоминидов? Почему так мало антилоп и животных других видов?

Брейн ломал голову над возможными разгадками, сохраняя привычную осторожность, и в заключительных абзацах своей книги «Охотники или дичь?» выдвинул две дополняющие друг друга гипотезы.

Возможно, гоминидов никто не затаскивал в пещеру: возможно, они жили там бок о бок со своим истребителем. На горе Сусва — спящем вулкане в Кении — есть длинные лавовые тоннели; в глубине этих тоннелей живут леопарды, а стаи бабуинов по ночам укрываются у входа. Таким образом, у леопардов имеется живая «кладовка» на пороге собственного жилища.

В Трансваале зимние ночи холодные — настолько холодные, что численность бабуинов в Высоком Вельде ограничена числом пещер или укрытий, в которых те могут прятаться ночью. В эпоху Первого Северного оледенения в году насчитывалось, наверное, около сотни морозных ночей. А теперь попробуем представить себе живущего в таком холоде robustusa: эти мигранты уходили летом высоко в горы, а зимой спускались в долины, не зная огня, не имея иной защиты, не имея чем согреться, кроме собственных сбившихся в кучку тел. Не обладая ночным зрением, они были вынуждены делить кров с огнеглазой кошкой, которая то и дело подкрадывалась к их стае, чтобы выхватить очередную жертву.

Вторая гипотеза выдвигает идею, от которой голова может пойти кругом.

А может быть, спрашивает Брейн, динофелис

был хищником, который специализировался на приматах?

«Комбинация мощных челюстей, — пишет он, — и удачного расположения зубов, вероятно, позволяла динофелису поедать все части скелета примата, кроме черепа. Гипотеза о том, что динофелис убивал исключительно приматов, достаточно убедительна».

Тут появляется искушение задаться вопросом: возможно ли, что динофелис и был Нашим Зверем? Зверем, стоявшим особняком ото всех прочих Воплощений Ада? Архи-Врагом, который хитро и незаметно выслеживал нас, куда бы мы ни шли? Но которого в конце концов нам удалось одолеть?

Кольридж однажды записал в своей записной книжке: «Князь Тьмы — учтивый господин». Что кажется таким притягательным в хищнике-специалисте, — это идея близкого знакомства со Зверем! Ибо, если изначально существовал только один определенный Зверь, то разве мы не хотели бы очаровать его, как он очаровывал нас? Разве мы не хотели бы околдовать его, как ангелы околдовали львов во рву с Даниилом?

Змеи, скорпионы и другие опасные твари,

обитавшие в саванне, — которые, вразрез с зоологической правдой, обрели славное второе существование в различных Адах Мистиков, — никогда не могли угрожать нашему существованию как таковые; они никогда не могли бы положить конец нашему миру. А убийца-людоед мог: и потому, сколь бы ни были скудны сведения о нем, мы должны принимать его всерьез.

Заслуга «Боба» Брейна, как мне представляется, — согласимся ли мы с его версией об одной большой кошке, о нескольких кошках или об ужасах вроде гиены-охотницы, — заключается в том, что он восстановил в прежних правах фигуру, чье присутствие постепенно все тускнело и тускнело с закатом Средневековья. — Князя Тьмы во всем его зловещем великолепии.

Не выходя на границы научной строгости (как, безусловно, это делаю я), он обнаружил явственные признаки грандиозной победы — победы, плоды которой нам еще могут пригодиться, — когда человек, сделавшись человеком, одержал верх над силами разрушения.

Ибо неожиданно в верхних слоях Сварткранса и Стеркфонтейна появляется он — человек. Он там хозяин, а хищников рядом с ним больше нет.

По сравнению с этой победой во всех про-

чих наших достижениях можно увидеть лишь множество излишеств. Можно сказать, мы — биологический вид на каникулах. Однако, как знать, не была ли то пиррова победа: разве вся наша история не стала поиском ложных чудовищ? Ностальгией по Зверю, которого мы потеряли? Мы должны быть благодарны Князю, который так любезно откланялся. Ибо первого оружия миру придется еще ждать примерно до 10 000 г. до н. э., когда мотыга Каина раскроит череп его брату.

34

Мы с Рольфом сидели за вечерней выпивкой, когда прибежала одна из медсестер Эстрельи и сообщила, что по радиотелефону позвонил какой-то мужчина. Я надеялся, что наконец-то это Аркадий. После всех моих солилоквий наедине с бумагой я стосковался по его хладнокровной, отрезвляющей манере разговора.

Мы оба поспешили в медпункт, но выяснилось, что на линии была женщина, а не мужчина: женщина с очень грубым голосом — Эйлин Хаустон из сиднейского Бюро аборигенного искусства.

— Уинстон уже закончил картину? — прорычала она.

— Закончил, — сказал Рольф.

— Ладно. Передайте ему, я приеду ровно в девять.

И положила трубку.

— Сучка, — прокомментировал Рольф.

Уинстон Джапарула, самый «значительный» художник, работавший в Каллене, неделю назад завершил большое полотно и теперь ждал, когда миссис Хаустон приедет его покупать. Как многие

художники, он был щедрой душой и уже изрядно задолжал в магазине.

Миссис Хаустон называла себя «профессионалкой среди торговцев аборигенным искусством» и имела привычку объезжать поселения туземцев, навещая «своих» художников. Она привозила им краски и холсты и расплачивалась наличными за готовые работы. Это была очень решительная женщина. Она всегда ночевала одна в буше и вечно торопилась.

На следующее утро Уинстон ждал ее, скрестив ноги, голый до пояса, сидя на ровной площадке рядом с баками из-под бензина. Это был старый сибарит с валиками жира, нависающими над его вымазанными краской шортами, и с огромным ртом, загнутым углами книзу. На его сыновьях и внуках лежала печать того же величественного уродства. Он по наитию приобрел темперамент и манеры Нижнего Западного Бродвея.

Его «полицейский», или ритуальный ассистент — человек помоложе, по имени Бобби, в коричневых штанах, — ждал поблизости: его задачей было проследить, чтобы Уинстон не выболтал никаких священных тайн.

Ровно в девять ребята заметили красный «лендкрузер» миссис Хаустон, показавшийся

на взлетной полосе. Она вышла из автомобиля, подошла к собравшейся группе и грузно уселась на складной стул.

— Доброе утро, Уинстон, — кивнула она.

— Доброе утро, — ответил тот, не двинувшись с места.

Она оказалась крупной женщиной в бежевой «походной форме». Ее красная шляпа от солнца, будто тропический шлем, была нахлобучена на седеющие локоны. Бледные щеки, иссушенные зноем, сужались книзу и заканчивались очень острым подбородком.

— Чего же мы ждем? — спросила она. — Кажется, я приехала смотреть картину.

Уинстон потеребил шнурок в волосах и знаком велел внукам вынести картину из магазина.

Все шестеро вернулись, неся большой развернутый холст примерно 2 м 10 см на 1 м 80 см, — защищенную от пыли прозрачной полиэтиленовой пленкой. Они аккуратно поставили картину на землю и сняли пленку.

Миссис Хаустон моргнула. Я видел, как она сдерживает улыбку удовольствия. Она заказывала Уинстону «белую» картину. Но это, как я догадывался, превзошло ее ожидания.

Очень многие художники-аборигены любят

использовать яркие краски. Здесь же было изображено шесть белых и сливочно-белых кругов, выписанных педантичными «пуантилистскими» точками, на фоне, цвет которого варьировал от просто белого до голубовато-белого и очень светлой охры. В пространстве, оставленном между кругами, виднелось несколько змееподобных закорючек одинаково светло-лилово-серого цвета.

Миссис Хаустон кусала губы. Казалось, можно услышать, как она прикидывает в уме: белая галерея… белая абстракция… Белое на Белом… Малевич… Нью-Йорк…

Она отерла пот со лба и собралась.

— Уинстон! — она ткнула пальцем в холст.

— Да.

— Уинстон, ты ведь не использовал титановые белила, как я тебя просила! Зачем мне платить за дорогие краски, если ты даже не прикасаешься к ним? Ты использовал цинковые белила. Это так? Отвечай!

Уинстон вместо ответа скрестил руки перед лицом и стал глядеть в образовавшуюся щелку, как ребенок, играющий в «куку».

— Так использовал ты титановые белила — или нет?

— НЕТ! — выкрикнул Уинстон, не опуская рук.

— Так я и думала, — сказала женщина и с удовлетворенным видом задрала подбородок.

Потом она снова взглянула на холст и заметила крошечную дырку, не больше дюйма в длину, у края одного из кругов.

— Да ты погляди! — закричала она. — Ты же ее порвал. Уинстон, ты порвал холст! А знаешь, что это значит? Картину придется ремонтировать. Мне придется отправить эту картину к реставраторам, в Мельбурн. И обойдется это самое малое в триста долларов. Очень жаль.

Уинстон, уже убравший руки-заслонки, снова поднял их к лицу и предъявил распекавшей его даме пустой фасад.

— Очень жаль, — повторила она.

Присутствовавшие глядели на картину так, словно перед ними был труп.

У миссис Хаустон начала дрожать челюсть. Она зашла слишком далеко, теперь пора было переходить к примирительному тону.

— Но это хорошая картина, Уинстон, — сказала она. — Она подойдет для нашей гастрольной выставки. Я же говорила тебе, что мы хотели сделать коллекцию, да? Картины самых лучших художников-пинтупи? Разве я не рассказывала? Ты меня слышишь?

В ее голосе зазвучало беспокойство. Уинстон не отзывался.

— Ты меня слышишь?

— Да, — протянул он и опустил руки.

— Ну, значит все хорошо, да? — она попыталась рассмеяться.

— Да.

Она вынула из наплечной сумки блокнот с карандашом.

— Ну, так что тут за история, Уинстон?

— Я написал картину.

— Я сама знаю, что ты ее написал. Я спрашиваю — что за история за ней стоит, чье это Сновидение? Я же не могу продавать картину без истории. Тебе это хорошо известно!

— Разве?

— Да.

— Старик, — ответил он.

— Благодарю, — она начала что-то записывать в блокнот. — Значит, на картине изображено Сновидение Старика?

— Да.

— И?

— Что — «и»?

— Где же сама история?

— Какая история?

— История этого Старика, — потеряв терпение, выкрикнула она. — Что делает этот твой Старик?

— Идет, — сказал Уинстон, прочертив на песке двойную точечную линию.

Понятно, что идет, — сказала миссис Хаустон. — А куда он идет?

Уинстон вытаращил глаза на свою картину, потом взглянул на своего «полицейского».

Бобби подмигнул.

— Я тебя спрашиваю, — повторила миссис Хаустон, нарочито четко выговаривая каждый слог. — Куда идет этот Старик?

Уинстон поджал губы и ничего не ответил.

— Ладно, что это такое? — она ткнула в один из белых кругов.

— Соляная яма, — ответил он.

— А вот это?

— Соляная яма.

— А это?

— Соляная яма. Они все — соляные ямы.

— Значит, Старик идет по соляным ямам?

— Да.

— Ну и история! Не густо, — миссис Хаустон пожала плечами. — А что это за закорючки между ними?

— Питджури, — ответил Уинстон.

Питджури — это слабый наркотик, аборигены жуют его, чтобы подавить чувство голода. Уинстон повращал головой и глазами из стороны в сторону, как человек, нажевавшийся питджури. Зрители засмеялись. Не засмеялась только миссис Хаустон.

— Понимаю, — сказала она. Затем, как бы думая вслух, она начала записывать скелет истории: — Древний белобородый Предок, умирая от жажды, устало бредет домой по сверкающей соляной яме и вдруг находит на дальнем берегу растение питджури…

Она прикусила карандаш и посмотрела на меня, как бы ища подтверждения.

Я любезно улыбнулся.

— Да, прекрасно, — сказала она. — Это хорошее начало.

Уинстон оторвал взгляд от холста и уставился прямо на нее.

— Понятно, — сказала она. — Мне все понятно! А теперь нам нужно сговориться о цене, так? Сколько я заплатила тебе в последний раз?

— Пятьсот долларов, — ответил он угрюмо.

— А какой задаток я давала тебе за эту работу?

— Двести.

— Правильно, Уинстон. Ты все хорошо пом-

нишь. Ну, а теперь придется возмещать ущерб. Допустим, мы вычитаем сотню за реставрацию — и я плачу тебе еще триста? Это на сотню больше, чем в прошлый раз. Тогда мы будем квиты.

Уинстон не шевельнулся.

— А еще мне нужна будет твоя фотография, — продолжала она щебетать. — Думаю, тебе стоит одеться поприличней. Нам нужен хороший новый снимок для каталога.

— НЕТ! — проревел Уинстон.

— Что значит — «нет»? — Миссис Хаустон была ошарашена.

— Ты не хочешь фотографироваться?

— НЕТ! — проревел он еще громче. — Я хочу больше денег!

— Больше денег? Я… я… не понимаю.

— Я сказал: БОЛЬШЕ… ДЕНЕГ!

Она изобразила на лице расстройство, как будто ей приходится иметь дело с неблагодарным ребенком, а потом холодным тоном спросила:

— Сколько?

Уинстон опять загородил лицо руками.

— Сколько ты хочешь? — настаивала она. — Я здесь не для того, чтобы попусту тратить время. Я назвала свою цену. Теперь ты называй свою.

Тот не проронил ни звука.

— Это просто смешно, — заявила она.

Он по-прежнему молчал.

— Я не собираюсь делать других предложений, — сказала она.

— Ты сам должен назначить цену.

Ни слова.

— Ну, давай, выкладывай. Сколько?

Уинстон выбросил вниз ту руку, что была ниже, проделав треугольную щель, и прокричал через нее:

— ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ!

Миссис Хаустон чуть не упала со стула.

— Шесть тысяч долларов! Да ты смеешься, что ли?

— А почему тогда вы запрашиваете семь вонючих тысяч долларов за одну мою картину на своей вонючей выставке в Аделаиде?

* * *

Принимая во внимание расстановку сил настоящих чудовищ, угрожавших Первому Человеку, нелепо даже предполагать, что племенная вражда или войны были частью изначального устройства общества, нет, — только классические формы сотрудничества.

Ибн-Халдун пишет, что, наделив животных

естественными средствами защиты, Бог даровал человеку способность думать. Сила мысли позволила ему изготовлять разные виды оружия — копья вместо рогов, мечи вместо когтей, щиты вместо толстой шкуры, — и устраивать общины для их производства.

Поскольку каждый человек по отдельности был бессилен против дикого зверя — особенно хищного зверя, — то люди могли защитить себя, только держа оборону сообща. Однако в условиях цивилизации обладание оружием, придуманным для обороны от хищников, привело к возникновению войн «всех против всех».

Что же за оружие помогло отогнать такого монстра, как динофелис?

Конечно огонь. Я почти уверен, что когда-нибудь исследователи найдут свидетельства тому, что Homo habilis действительно использовал огонь.

А как же «обычное» оружие или каменные топоры? Бесполезно! Дубинка? Хуже чем бесполезно! Лишь копье или дротик, вроде того, что Святой Георгий вонзает в челюсти дракона, могли бы принести желанный результат: дротик, брошенный с безошибочной точностью молодым человеком в расцвете физических сил.

Демокрит (фр. 154) говорил, что негоже людям хвалиться своим превосходством над животными, потому что во многих очень важных вещах именно они были нашими учителями: у паука мы научились ткать и штопать; у ласточки — зодчеству; у лебедя и соловья — пению.

Список этот можно продолжать до бесконечности: летучей мыши мы обязаны радаром; дельфину — сонаром; и, как отметил Ибн-Халдун, рога навели нас на мысль о дротике.

САСРИЕМ, ПУСТЫНЯ НАМИБ

Стаи страусов, стада зебр и сернобыков (африканских ориксов) движутся в первых лучах солнца по оранжевым дюнам. Дно долины представляет собой море серых камешков.

Смотритель Парка говорил, что прямые рога сернобыка — идеальное оружие против леопарда, однако на деле они стали ошибкой излишней специализации: два самца, вступая в битву из-за самки, иногда пропарывают друг друга.

Когда мы вышли из машины, неподалеку, за кустом, стоял сернобык. Служитель остерег нас: известны случаи, когда сернобыки насмерть протыкали человека.

Согласно одному библейскому преданию, «знаком», которым Бог отметил Каина, были «рога»: чтобы защищаться от зверей пустыни, которые жаждали отомстить за убийство своего повелителя, Авеля.

Необычный образ из «Моралий» папы Григория Великого: тело Христово как наживка для Зверя.

Третьим изобретением, которое остается невидимым для археологов, была, пожалуй, перевязь — из ткани или кожи, — в которой мать переносила грудного ребенка: это приспособление оставляло руки свободными для сбора корней или ягод.

Таким образом, эта перевязь стала первым в мире средством транспорта.

Вот что пишет Лорна Маршалл о бушменах кунг: «Они переносят детей и пожитки в кожаных накидках. Голые младенцы едут у левого бока матери, их поддерживают перевязи из мягкой кожи дукеров».

У охотничьих народов нет молока от одомашненных животных; а, как замечает миссис Маршалл, именно молоко дает крепость ножкам ребенка. Поэтому их женщины не могут отлучать детей от груди, пока тем не исполнится три, четы-

ре года или даже больше. Или матери, или отцу приходится нести ребенка, пока тому не под силу самому совершить дневной переход: иногда это расстояния в девяносто или даже сто пятьдесят километров, с двумя-тремя остановками для сна на пути.

Таким образом, супружеская пара — это устройство для переноски и защиты дитяти.

Покойный К. У. Пек записал миф о происхождении оружия из западного Нового Южного Уэльса. Мне кажется, его смысл имеет универсальную ценность:

Давным-давно, когда у людей не было оружия и они были беззащитны против диких зверей, множество людей стояло лагерем у стечения рек Лахлан и Муррумбиджи. Был очень жаркий день. Пейзаж искажали миражи, и все отдыхали в тени. Внезапно на лагерь напала тьма Гигантских Кенгуру и принялась мощными лапами крушить спящих. В панике люди бросились в бегство, но уцелели немногие..

Среди уцелевших был один вождь, который созвал людей на сходку, чтобы придумать всем вместе, как обороняться от зверей. И вот на этой сходке люди изобрели копья, щиты, дубинки и бумеранги. А поскольку многие молодые матери

в спешке побросали своих младенцев, они изобрели и хитроумную колыбель из коры.

Дальше в этой истории говорится о том, как самый умный из людей, вымазавшись до неузнаваемости жиром и грязью, подкрался к кенгуру и прогнал их огнем.

В доисторической Австралии действительно водились гигантские кенгуру — и впрямь чрезвычайно опасные, если загнать их в угол, — однако они не были хищниками и не нападали на человека.

Что касается молодых героев, то они могли становиться «пригодными», только пройдя самые суровые испытания с равными себе: в борьбе, в схватках, в мастерстве владения разным оружием. Юность — «драчливый» период. Потом же все враждебные чувства выплескиваются — или должны выплескиваться — вовне, на главного Противника.

«Вечные воины» — это те, кто так и не сумел повзрослеть.

НИГЕР

Начальником Лагеря была француженка, мадам Мари, с волосами цвета золотой рыбки. Она

недолюбливала других белых людей. Разведясь с мужем из-за своих любовных связей с черными мужчинами, она лишилась виллы, «мерседеса», бассейна en forme de rognon [60], зато бриллианты она унесла с собой.

В третий вечер, что я там оставался, она организовала soiree musicale [61], на афишах набрав одинаковым шрифтом имена исполнителей: Anou et ses Sorciers Noirs [62] и свое собственное: Marie et son Go. Когда представление окончилось, она взяла одного из колдунов к себе в постель, а в 2.30 ночи у нее случился сердечный приступ. Колдун выбежал из ее спальни, лопоча: «Я не прикасался к мадам».

На следующий день она отвергла все попытки докторов отправить ее в больницу и лежала на кровати совсем не накрашенная, глядела сквозь окно на поросшую колючками пустыню и вздыхала: «La lumiere… Oh! La belle lumiere…» [63].

---

[60] Примечания: 60
в форме боба (фр.) — *Прим. перев.*

[61] Примечания: 61
музыкальный вечер (фр.) — *Прим. перев.*

[62] Примечания: 62
Анну и его Черные Колдуны (фр.) — *Прим. перев.*

[63] Примечания: 63
Свет… О, прекрасный свет… (фр.) — *Прим. перев.*

Около одиннадцати часов прибыли двое юношей-бороро. На них были легкомысленные короткие женские юбочки и соломенные шляпки.

Бороро — это племя кочевников, которые скитаются по всей пустыне Сахель, полностью презирая всякую материальную собственность и вкладывая всю свою энергию, все свои чувства в разведение красивого лиророгого скота, а также культивируя телесную красоту в самих себе.

Юноши — у одного были бицепсы «штангиста», второй был строен и прекрасен, — пришли спросить у Мари, нет ли у нее какой-нибудь лишней косметики.

— Mais surement… [64] — она позвала нас из спальни, и мы все зашли.

Дотянувшись до своей дамской сумочки, она высыпала ее содержимое на постельное покрывало и стала перебирать его, время от времени приговаривая: «Non, pas pa!» [65]. И все-таки ребята взяли по каждому из оттенков губной помады, лака для ногтей, теней для век и карандашей для бровей. Они завернули свою добычу в головной платок. Еще она дала им несколько старых номе-

---

[64] Примечания: 64
Ну конечно (фр.) — *Прим. перев.*

[65] Примечания: 65
Нет, не это! (фр.) — *Прим. перев.*

ров журнала «Elle». Потом, застучав сандалиями по террасе, они со смехом убежали.

— Это для их обряда, — объяснила мне Мари. — Сегодня ночью они оба станут мужчинами. Вы должны на это посмотреть! Un vrai spectacle [66].

— Обязательно посмотрю! — ответил я.

— За час до заката, — сообщила она. — Перед дворцом эмира.

С крыши дворца эмира мне открывался отличный вид на двор, где играли трое музыкантов — трубач, барабанщик и человек, дергавший за струны трехструнного инструмента с тыквой-горлянкой в качестве резонатора.

Человек, сидевший рядом со мной, ancien combatant [67], хорошо говорил по-французски.

Вышел «мастер обрядов» и велел двум молодым помощникам обозначить на земле круг, насыпав белого порошка, чтобы получилось подобие цирковой арены. Когда это было сделано, молодые люди встали на страже «сцены» и начали отгонять всех, кто пытался проникнуть за эту границу, пуками пальмовых волокон.

Среди зрителей было много женщин-бороро

---

[66] Примечания: 66
Настоящий спектакль (фр.) — *Прим. перев.*

[67] Примечания: 67
бывший фронтовик (фр.) — *Прим. перев.*

среднего возраста с дочерьми. На дочерях было нечто вроде белых вуалей. На матерях была одежда цвета индиго, а в ушах у них болтались большие медные кольца. Они смотрели на предполагаемых зятьев с видом бывалых посетительниц рынков чистокровных животных.

Во внутреннем дворе стояли юноши, которые в течение последних четырех лет должны были щеголять в женских нарядах. Мы услышали многоголосый крик — и вот под рокот барабанов вышли двое юношей, вымазанные гримом из косметички Мари.

У «крепыша» был нарисован вокруг губ розовый лук купидона; ногти у него были алыми, а веки — зелеными. На пышном платье без бретелек лавандовые полоски были нашиты на розовую нижнюю юбку. Впечатление портили ядовито-зеленые носки и кроссовки.

Его друг, «красавец», был выряжен в тугой лиловый тюрбан, облегающее платье с белыми и зелеными полосками; он явно лучше разбирался в современной моде. Губная помада была наложена очень аккуратно, а на обеих щеках розовыми и белыми чертами он нарисовал два четких прямоугольника. На нем были зеркальные черные очки, он любовался собой в маленькое зеркаль-

це.

Толпа потешалась.

Еще один молодой бороро вынес им на выбор «геркулесовы» дубинки, все только что вырезанные из ствола акации. Выбор оружия он предоставил красавцу.

Сняв темные очки, красавец томно указал на самую большую дубинку, сунул что-то себе в рот и помахал своим друзьям на крыше. Они ревом выразили ему одобрение и подняли на остриях копий свои пластмассовые канотье.

Мастер обрядов взял выбранное красавцем оружие и с торжественным видом официанта, подающего на стол «шато-лафит», вручил дубинку крепышу.

Затем красавец вышел на середину круга и, держа солнечные очки над головой, запел фальцетом. Тем временем его друг, обеими руками держа дубину и размахивая ею, выделывал пируэты с другой стороны очерченного круга.

Барабанщик ускорил темп. Красавец пел так, что, казалось, у него вот-вот лопнут легкие; а крепыш, продолжая кружиться, подходил к нему все ближе. Наконец одним костедробительным ударом он обрушил дубину на ребра своего друга, а тот издал победный клич: «*Яу…о…о…о…о…!*»,

но не дрогнул.

— О чем он поет? — спросил я у соседа-ветерана.

— Он поет: «Я могу убить льва… У меня самый большой член… Я могу удовлетворить тысячу женщин…» — ответил тот.

— Ну, конечно, — сказал я.

После того как они проделали то же самое еще два раза, настал черед красавца дубасить крепыша. Когда с этим тоже было покончено, они оба — лучшие друзья и побратимы на всю жизнь — принялись скакать вокруг зрителей, а те протягивали к ним руки и совали им в размалеванные лица банкноты.

Держась за руки, юноши направились обратно во дворец. Потом через те же обряды прошли еще две пары, но те были уже не такими «шикарными». Потом они тоже удалились.

Помощники стерли белый круг, и зрители толпой потянулись во двор, ожидая какого-то события.

Было уже почти темно, когда из внутреннего двора долетели леденящие кровь крики. Снова барабанная дробь — и вот стройным шагом вышли все шестеро, напряженные и блестящие от пота, в черных кожаных юбках, в шапках со страусо-

выми перьями, покачивая плечами, размахивая мечами: они шли соединяться с девушками.

— Теперь они мужчины, — сказал мне фронтовик.

Я поглядел сквозь полумрак вниз: множество сине-черных фигур напоминали ночные волны с парой беляков, а среди них крапинками свечения поблескивали серебряные украшения.

35

Рольф и Уэнди, чтобы не мешать друг другу, имели отдельные жилища. Рольф с книгами занимал караван. Уэнди в те ночи, когда ей хотелось побыть одной, спала в бетонном сарайчике. Раньше, когда уроки проводились на открытом воздухе, это был школьный склад.

Как-то раз она пригласила меня зайти посмотреть, как она работает над словарем. Моросил дождик. С запада двигалось легкое дождевое облако, и все попрятались по хижинам.

Я застал ее со стариком Алексом: они оба сидели на корточках над подносом с ботаническими образцами — стручками, засушенными цветами, листьями и корешками. На нем было фиолетовое бархатное пальто. Уэнди давала ему образец, тот вертел его так и сяк, подносил к свету, что-то шептал сам себе, а потом произносил его название на пинтупи. Она просила его повторять названия по нескольку раз — чтобы не ошибиться в фонетическом звучании. Затем она прикрепляла к образцу ярлычок с подписью.

Алекс не знал только одного растения: это была

засушенная головка чертополоха.

— Это принес белый человек, — нахмурился он.

— Да, он прав, — сказала мне Уэнди. — Этот вид завезен сюда европейцами.

Она поблагодарила его, и он ушел, перебросив копья через плечо.

— Он — настоящий клад, — сказала она, улыбаясь ему вослед. — Но расспрашивать приходится понемногу: у него внимание рассеивается.

У Уэнди царила такая же строгость и простота, какой у Рольфа царил беспорядок. Одежду она держала в чемодане. В комнате стоял металлический серый остов кровати, умывальник и телескоп на треножнике.

— Это семейная реликвия, — пояснила она. — Он еще моему деду принадлежал.

Иногда она вытаскивала ночью кровать и засыпала, глядя на звезды.

Она взяла поднос Алекса и повела меня в другой, жестяной сарайчик, еще более тесный, где на подмостях было разложено еще множество разных образцов — не только растений, но и птичьих яиц, насекомых, рептилий, птиц, змей и пород камней.

— Я вроде как этноботаник, — рассмеялась

она. — Но все это как-то постепенно вышло из-под контроля.

Алекс был ее лучшим информатором. Его познания в области растений были неиссякаемы. Он так и сыпал названиями разных видов, говорил, когда и где каждый из них цветет. Они служили ему чем-то вроде календаря.

— Когда работаешь здесь в одиночестве, — сказала Уэнди, — в голову приходят всякие сумасшедшие идеи, а проверить их не на ком, — она откинула голову и засмеялась.

— Хорошо, что у меня есть Рольф, — добавила она. — Ему-то ни одна идея не кажется сумасшедшей.

— Например?

Уэнди никогда профессионально не училась на лингвиста. Однако, работая над словарем, она заинтересовалась мифом о Вавилонской башне. Зачем, если жизнь всех аборигенов была более или менее одинакова, в Австралии существовало около 200 языков? Можно ли это объяснить только межплеменной враждой и обособлением? Конечно нет! Она уже склонялась к мысли, что сами языки были тесно связаны с распределением разных видов по земле.

— Иногда, — сказала она, — я прошу старика

Алекса назвать мне какое-нибудь растение, а в ответ слышу: «Безымянное», что означает: «Это растение не растет на моей земле».

Тогда она разыскивала другого информатора, который ребенком жил там, где это растение росло, — и выяснялось, что все-таки название у него имеется.

«Сухая сердцевина» Австралии, продолжала она, представляет собой мозаику микроклиматов: в каждой местности имеются свои минералы в почве, произрастают разные растения, водятся разные животные. Человек, выросший в одной части пустыни, досконально знал «свою» флору и фауну. Он знал, какое растение привлекает ту или иную дичь. Он знал тамошние источники вод. Он знал, где искать съедобные клубни под землей. Иными словами, благодаря тому, что он знал по имени все «вещи» на своей территории, ему не грозила гибель.

— Но если, скажем, с завязанными глазами отвести его в чужую землю, — сказала Уэнди, — то он может заблудиться и умереть с голоду.

— Потому что он утратит привычную опору?

— Да.

— Ты хочешь сказать, что человек как бы «делает» территорию своей, называя все «вещи»,

имеющиеся на ней?

— Да, именно! — ее лицо осветилось радостью.

— Тогда, выходит, никакой основы для всемирного языка никогда не существовало?

— Да. Да.

Уэнди рассказала, что и в наши дни мать-туземка, заметив у своего ребенка первые признаки речи, дает потрогать ему «вещи», которые имеются на их земле: листья, плоды, насекомых и так далее.

Ребенок, сидя у материнской груди, начинает играть с «вещью», лопотать ей что-то, пробовать на зуб, запоминает ее название, повторяет его — и наконец выбрасывает ее.

— Мы дарим нашим детям пистолеты и компьютерные игры, — сказала Уэнди. — Они дарили своим детям землю.

* * *

Величайшая задача поэзии — наделять смыслом и страстью бесчувственные вещи; детям как раз свойственно брать в руки неодушевленные предметы и разговаривать с ними, играя, как будто они — живые существа… Эта филогогически-философская аксиома доказывает нам, что в пору детства мира люди по природе своей были величайшими поэтами…

Джамбаттиста Вико, «Новая наука», XXXVII

Люди дают выход бурным страстям, разражаясь песней: такое мы наблюдаем у тех, кто объят страшным горем или, наоборот, преисполнен великой радости.

Вико, «Новая наука», LIX

Древние египтяне считали, что вместилищем души является язык: язык был тем рулем или веслом, с помощью которого человек плыл по реке жизни.

В «первобытных» языках слова очень длинные, они состоят из очень сложных сочетаний звуков; их скорее поют, чем просто проговаривают… Вероятно, первые в мире слова были по сравнению с современными словами тем же, чем были плезиозавр и гигантозавр по сравнению с современными пресмыкающимися.

О.Йесперсен, «Язык»

Поэзия — это родной язык человеческого рода; точно так же и сад старше поля, рисунок старше письма, песня старше декламации, притчи старше умозаключений, а обмен старше торговли…

***И. Г. Гаманн, «Aesthetica in Nuce»*[68].**

[68] Примечания: 68
Эстетика в зародыше (лат.) — *Прим. перев.*

Всякий страстный язык невольно делается музыкальным — с музыкой более тонкой, нежели просто музыка ударений; речь человека, охваченного праведным гневом, становится настоящей поэмой, песнью.

Томас Карлейль, цитируется у Йесперсена в «Языке»

Слова добровольно льются из груди, без нужды и без намерения, и не было, наверное, ни в одной пустыне ни одного кочевого племени, у которого не было бы собственных песен.

Как животный вид, человек есть певчее создание, однако с музыкальным мотивом он сопрягает мысли.

Вильгель Фон Гумбольдт, «Языковая изменчивость и развитие интеллекта»

Согласно Штрелову, на языке аранда слово tnakama означает «называть по имени», а также «доверять» и «верить».

> Собственно поэзия никогда не выступает просто более возвышенным тоном (мелосом) повседневной речи. Скорее, все наоборот: повседневный язык является забытой и потому затертой поэмой, в которой почти не слышно прежнего зова.
>
> ***Мартин Хайдеггер, «Язык»***

Ричард Ли подсчитал, что бушменский ребенок «проезжает» на руках родителей расстояние примерно в 7400 км, прежде чем сам начинает ходить. Поскольку на протяжении этой ритмической фазы он постоянно повторяет названия всего, что только ни есть на его территории, он просто не может не вырасти поэтом.

Пруст — с большей проницательностью, чем какой-либо другой писатель, — напоминает нам о том, что сырьем нашего сознания становятся детские «прогулки»:

Цветы, которые я вижу теперь впервые, кажутся мне ненастоящими. Направление в Мезеглиз с его сиренью, боярышником, васильками, маком, яблонями, направление в Германт с рекой, где было полно головастиков, с кувшинками и лютиками навсегда сложили для меня представление

о стране, где мне хотелось бы жить… Васильки, боярышник, яблони, которые попадаются мне теперь, когда я гуляю, расположены на глубине, на уровне моего прошлого, они мгновенно находят доступ к моему сердцу [69].

Общее правило биологии гласит, что мигрирующие виды менее «агрессивны», чем оседлые.

И под этим кроется одна объективная причина. Сама миграция, как и паломничество, — это полное тягот странствие: «уравнитель», в котором «пригодные» выживают, а отставшие погибают.

Таким образом, странствие отменяет необходимость в иерархии и в демонстрации господства. «Диктаторами» животного царства являются те, кто живет в обстановке достатка. Анархисты же, как всегда, — это «рыцари большой дороги».

> Что поделаешь? Мы появились на свет с Великой Тревогой. Отец учил нас, что жизнь — это долгий путь, с которого сбиваются лишь негодные.
>
> ***Эскимос-карибу в беседе с доктором Кнудом Расмуссеном***

---

[69] Примечания: 69

Цитата из романа М. Пруста «По направлению к Свану» (перевод Н. Любимова). — *Прим. перев.*

Эта выписка приводит мне на ум неопровержимую находку — ископаемые останки двух особей Homo habilis, которые были притащены в пещеру Сварткранс и там съедены: одним был мальчик с опухолью мозга; второй — старуха, больная артритом.

Из работ, которые рекомендовала мне почитать Элизабет Врба, одна называлась «Состязание или мирное существование?» и принадлежала перу Джона Уинса.

Уинс — орнитолог, работающий в Нью-Мексико, — изучал поведение перелетных певчих птиц — американских спиз, пустынных овсянок, горных кривоклювых пересмешников, — которые каждое лето возвращаются вить гнезда в засушливые земли Западных Равнин.

В тех краях, где вслед за голодным годом может наступить внезапная пора изобилия, птицы вовсе не увеличивают свою численность, что как-то объяснялось бы количеством пищи; не возрастает и конкуренция между соседями. Похоже на то, заключил Уинс, что в сообществе мигрантов существует некий внутренний механизм, благоприятствующий товариществу и сосуществованию.

Далее он утверждает, что великий дарвинов-

ский принцип «борьбы за существование», как это ни парадоксально, возможно, гораздо более актуален для устойчивого климата, чем для непостоянного. В местах гарантированного изобилия животные метят свои границы и защищают свои участки территории очень воинственно. В неблагополучных, бедных кормом местах, где природа редко бывает щедрой — зато обычно достаточно пространства для перемещения, — животные ухитряются извлекать пользу из имеющихся скудных ресурсов и потому приучаются жить без драк.

В книге «Традиции аранда» Штрелов противопоставляет два центрально-австралийских народа: один — оседлый, второй подвижный.

Аранда, живущие в земле, где есть надежные источники и в изобилии водится дичь, были архиконсерваторами, чьи церемонии оставались неизменными, обряды инициации крайне жестокими, а наказанием за святотатство была смерть. Они считали себя «чистым» народом и редко покидали свою зёмлю.

Люди Западной Пустыни, напротив, были настолько же открыты, насколько аранда были замкнуты. Они свободно заимствовали друг у друга песни и танцы, любили свою землю ни-

чуть не меньше, но вечно находились в пути. «Самое поразительное в этих людях, — пишет Штрелов, — это их смех. Это веселый, смешливый народ, который ведет себя так, словно никогда в жизни не ведал забот. Аранда, приобщившиеся к цивилизации на овцеводческих станциях, говорят про них: „Они вечно смеются. Не могут смех сдержать“».

Поздний летний вечер на Манхэттене; толпы устремляются прочь из города, едут по нижней Парк-авеню, куда с поперечных улиц падает косой свет, а целые стаи бабочек-монархов, попеременно то коричневых в тени, то золотых в солнечных лучах, вылетают из-за Пан-Ам-билдинга, спускаясь от статуи Меркурия на вокзале Грэнд-сентрал и продолжая двигаться через нижнюю часть города в сторону Карибского моря.

Читая о миграциях разных животных, я узнал о странствиях трески, угря, селедки, сардины и о самоубийственных массовых исходах леммингов.

Я взвешивал все доводы «за» и «против» существования «шестого чувства» — магнетического чувства направления, — которое таилось бы в глубинах центральной нервной системы челове-

ка. Я видел переход антилоп гну по Серенгети [70]. Я читал о птенцах, которые «учатся» перелетам от своих родителей, — и о кукушатах, которые никогда не знали своих родителей, и потому, наверное, тяга к странствиям у них в генах.

Все миграции животных были изначально обусловлены сдвигами климатических поясов, а в случае зеленой черепахи — сдвигом самих континентов.

Возникали разные теории относительно того, как птицы определяют свое положение по высоте солнца, по фазам луны, по восходу и заходу звезд; и как они вносят поправки в свой курс, если во время полета их сносит в сторону бурей. Некоторые утки и гуси умеют «распознавать» лягушачьи концерты и тем самым «определять», что пролетают над болотами. Другие ночные летуны кричат, опуская головы вниз, и, вслушиваясь в эхо, определяют, на какой высоте летят и каков характер местности под ними.

Рев мигрирующих косяков рыб способен проникать через стенки кораблей и среди ночи поднимать моряков с коек. Лосось знает на вкус воду своей отчей реки. Дельфины посылают щел-

---

[70] Примечания: 70
национальный парк в Танзании. — *Прим. перев.*

кающие звуки в сторону подводных рифов, чтобы заранее понять, есть ли там безопасный проход… Мне даже приходило в голову, что, когда дельфин производит «триангуляцию», чтобы установить свое местонахождение, его поведение уподобляется нашему: ведь мы все время называем и сравниваем «вещи», с которыми встречаемся в повседневной жизни, и тем самым определяем свое место в мире.

В каждой из книг, с которыми я знакомился, приводился, как нечто само собой разумеющееся, рассказ о самой удивительной из птичьих миграций — о перелете полярной крачки: эта птица гнездится в тундре, зимует в антарктических водах, а потом снова летит обратно на север.

* * *

Я захлопнул книгу. Кожаные кресла Лондонской библиотеки начали нагонять на меня сон. Человек, сидевший рядом со мной, уже храпел, распластав литературный журнал у себя на животе. К черту миграцию! — сказал я себе. Я положил стопку книг на стол. Мне хотелось есть.

На улице было холодно, стоял солнечный декабрьский день. Я надеялся напроситься на обед к одному приятелю. Я шел по улице Сент-Джеймс

и поравнялся с клубом «Уайте», как вдруг там притормозило такси, и из него вышел человек в пальто с бархатным воротником. Он протянул пару фунтовых бумажек таксисту и направился к ступенькам клуба. У него были густые седые волосы и сплошная сетка кровеносных сосудов на лице — будто на щеки ему натянули прозрачный красный чулок. Это был герцог — я узнал его по фотографиям из прессы.

В тот же миг другой человек — в старой солдатской шинели, в башмаках, зашнурованных обрывками бечевки, на босу ногу — ринулся ему навстречу с заискивающей улыбкой на лице.

— Э… Простите за беспокойство, сэр, — проговорил он с сильным ирландским акцентом. — Я подумал, может быть…

Герцог молча скрылся за дверью клуба.

Я поглядел на бродягу, и тот понимающе подмигнул мне. Над пятнистым черепом развевались жидкие рыжеватые пряди. У него были водянистый просительный взгляд, сфокусированный близко к носу. Лет ему было, наверное, около семидесяти. Оглядев меня, он счел, что не стоит труда клянчить деньги у такого, как я.

— У меня есть идея, — сказал я ему.

— Да, командир?

— Вы ведь человек странствующий, верно?

— Весь мир изъездил, командир.

— Ну так вот: если вы согласитесь рассказать мне о ваших путешествиях, я с удовольствием угощу вас обедом.

— А я с радостью соглашусь.

Мы завернули за угол и дошли до битком набитого недорогого итальянского ресторана на Джермин-стрит. Там был один свободный столик.

Я не стал предлагать ему снять шинель, опасаясь того, что может обнаружиться под ней. Запах от него исходил неописуемый. Две хорошенькие секретарши попятились от нас, подбирая юбки, словно ожидая нашествия блох.

— Что будете есть?

— Э… А вы что будете?

— Не стесняйтесь, — сказал я. — Заказывайте все, что хотите.

Он проглядел меню, держа его вверх ногами с уверенным видом завсегдатая, который чувствует себя обязанным свериться с plat dujour [71].

— Бифштекс с жареной картошкой! — сказал он.

---

[71] Примечания: 71
дежурное блюдо (фр.) — *Прим. перев.*

Официантка прекратила покусывать кончик карандаша и бросила страдальческий взгляд на секретарш.

— Задок или филей? — спросила она.

— Как вам угодно, — ответил бродяга.

— Два филея, — уточнил я. — Один средний. Один средний с кровью.

Он утолил жажду пивом, однако его ум был загипнотизирован предвкушением еды, и из уголков рта уже потекли слюнки.

Я знал, что у бродяг имеется особая методика, что они регулярно наведываются к одним и тем же полюбившимся мусорным ящикам. А в чем, спросил я его, заключается его метод попрошайничать около лондонских клубов?

Он на минутку задумался, а потом ответил, что лучшее место — это «Атенеум». Среди его членов еще остались религиозные джентльмены.

— Да, — задумчиво произнес он. — Там обычно можно и шиллинг выпросить у какого-нибудь епископа.

Вторым по счету «рыбным» местом в прежние времена был клуб «Травеллерз». Состоявшие в нем джентльмены, как и он сам, повидали мир.

— Можно сказать, родственные души, — заметил он. — Но теперь… не то… не то…

Теперь «Травеллерз» сильно изменился, не то что раньше. Там собирались люди совсем другого склада.

— Рекламные работники, — сказал он хмуро. — Очень прижимистые, могу вас заверить.

Он добавил, что «Брукс», «Будлз» и «Уайтс» относятся к той же категории. Слишком высокий риск! Или щедрость… или ни шиша!

Бифштекс, когда его принесли, полностью лишил его способности поддерживать беседу. Он набросился на него со слепой яростью, поднес тарелку к лицу, начал слизывать соус, а потом, вспомнив, где находится, снова поставил тарелку на стол.

— Еще порцию? — спросил я.

— Не откажусь, командир, — отозвался бродяга. — Очень любезно с вашей стороны!

Я заказал еще один бифштекс, а он начал рассказывать историю своей жизни. Она стоила внимания! Это была именно такая развернутая повесть, какую я желал услышать: бедная ферма в графстве Голуэй, смерть матери, Ливерпуль, Атлантика, скотные загоны в Чикаго, Австралия, Депрессия, острова Южных морей…

— О-о-о! Вот это место, молодой человек! Таити! Ва-инес!

Он высунул язык, провел им по нижней губе.

— Ваинес! — повторил он. — Так там называют женщин… О-о-о! Кра-сотки! Занимался этим, стоя под водопадом!

Секретарши попросили счет и ушли. Я заметил тяжелые челюсти метрдотеля, который сверлил нас враждебным взглядом. Я уже начал опасаться, что сейчас нас вышвырнут.

— Ну, хорошо, — сказал я. — Я хотел бы у вас еще кое-что спросить.

— Да, командир! — отозвался бродяга. Я само внимание.

— Вы бы хотели когда-нибудь вернуться в Ирландию?

— Нет. — Он прикрыл глаза. — Нет, я не хочу туда. Слишком много плохих воспоминаний.

— Ну, а есть ли на свете такое место, которое вы считаете своим «домом»?

— Конечно есть. — Он снова вскинул голову и усмехнулся. — Promenade des anglais [72] в Ницце. Когда-нибудь слышали о нем?

— Приходилось, — ответил я.

Однажды летней ночью, гуляя по Набережной, он разговорился с очень грамотным французским

---

[72] Примечания: 72
английская набережная (фр.) — *Прим. перев.*

джентльменом. Они не меньше часа обсуждали по-английски международные дела. Затем джентльмен достал из бумажника купюру в 10 тысяч франков — «Старыми, заметьте, старыми!» — и, вручив ему свою визитную карточку, пожелал ему приятного отдыха.

— Тысяча чертей! — прокричал он. — Это был начальник полиции!

Он пытался при любой возможности снова вернуться к этому памятному и самому трогательному эпизоду своей карьеры.

— Да, — хихикал он. — Я стрельнул милостыню у начальника полиции… в Ницце!

Ресторан был уже не таким заполненным. Я заказал бродяге две порции яблочного пирога. От кофе он отказался, объяснив, что у него от кофе брюхо болит. Он рыгнул. Я расплатился.

— Благодарю вас, сэр, — произнес он с видом человека, который закончил давать очередное из множества интервью, назначенных на сегодня. — Надеюсь, вам пригодился мой рассказ.

— Безусловно, — я тоже поблагодарил его.

Он поднялся, но вдруг снова уселся и внимательно на меня посмотрел. Описав внешние события своей жизни, он решил, что не следует уходить, не сказав хотя бы несколько слов о ее

внутренней мотивации.

Медленно, очень серьезно, он проговорил:

— Меня будто какая-то сила все тянет и тянет на дорогу. Я как полярная крачка, командир. Это такая птица. Красивая белая птица, которая летит с Северного полюса на Южный полюс, а потом обратно.

36

Дождь лил всю ночь, а утром, когда я выглянул в окно, светило солнце, а от склона горы Либлер, казалось, отслаиваются багровые облака пара.

В десять часов мы с Рольфом отправились на поиски Хромоножки. От Аркадия, с запозданием в три недели, пришло сообщение, чтобы мы ждали его с почтовым самолетом. Важно… опять — «очень важно», чтобы Хромоножка и Титус были на месте.

Над долиной носился лекарственный запах эвкалиптовых костров. Собака завыла, почуяв наше приближение. Люди сушили одеяла.

— Хромоножка! — позвал Рольф, и едва слышный голос отозвался из обветшалого каравана, стоявшего чуть выше, на холме.

— Ах, вот они где! — сказал Рольф.

На караване была сделана краской оптимистичная надпись: «Рекреационный центр». Внутри стоял шаткий пинг-понговый столик без сетки, покрытый пленкой рыжей пыли.

На полу сидело трое величавых стариков — Хромоножка, Алекс и Джошуа — в головных уборах.

На Хромоножке была ковбойская шляпа, на Джошуа — бейсбольная кепка, как у янки, а на Алексе — великолепная поношенная «партизанка».

— Титус там, у скважины? — спросил Рольф.

— Конечно там! — сказал Хромоножка.

— Он никуда не ходит?

— Нет! — тот покачал головой. — Там все время.

— Откуда ты знаешь? — спросил Рольф.

— Знаю, — ответил Хромоножка и закончил разговор.

Рольф уже рассказывал мне, что Алексу принадлежит подвеска из перламутровой раковины с Тиморского моря, какие с незапамятных времен имели хождение по всей Австралии. Их использовали в обрядах вызывания дождя: подвеска Алекса уже сделала свое дело в этом году. И тут он удивил нас, запустив руку куда-то между пуговицами своего бархатного пальто и выудив за конец веревочки эту подвеску.

На раковине был процарапан узор — зигзагообразный меандр, натертый рыжей охрой. Наверное, подвеска болталась у него между ног.

На первый взгляд такие подвески напоминают чуринги, но для посторонних глаз они не являются непременно запретными.

— Откуда она? — спросил я, показав на раковину.

— Из Брума, — уверенно ответил Алекс.

Он провел указательным пальцем черту на пыльном пинг-понговом столике и отбарабанил названия всех «остановок» в пустыне Гибсон, между Калленом и Брумом.

— Хорошо, сказал я. — Значит, вы получаете перламутровые раковины из Брума? А что вы посылаете им взамен?

Он задумался, потом нарисовал в пыли удлиненный овал.

— Дощечку, — пояснил он.

— Чурингу? — переспросил я.

Он кивнул.

— Священные дела? Песни и все такое?

Он снова кивнул.

— Это, — сказал я Рольфу, когда мы зашагали обратно, — очень интересно.

Песня до сих пор остается средством, которое дает имя земле, на которой она поется.

Мартин Хайдеггер, *«Зачем нужны поэты?»*

До того как отправиться в Австралию, я часто разговаривал с разными людьми о Тропах Песен, и они обычно вспоминали что-нибудь другое.

— Это что-то вроде лей-линий? — спрашивали они, имея в виду древние каменные круги, менгиры и могильники, которые расположены вдоль определенных линий по всей Британии. Это очень древние линии, но видны они только тем, кто умеет видеть.

Синологам сразу приходили на ум «линии дракона», о которых толкует фэн-шуй, традиционная китайская геомантия. А когда я беседовал с одним финским журналистом, он сказал, что у лапландцев есть «поющие камни», которые тоже «выстроены» вдоль линий.

Для некоторых Тропы Песен — это нечто вроде Искусства Памяти наоборот. Из замечательной книги Фрэнсис Йейтс можно узнать, что классические авторы, например, Цицерон и его предшественники, воздвигали целые дворцы памяти; прикрепляли фрагменты своих речей к воображаемым архитектурным элементам, а затем, обвиваясь вокруг каждой колонны, каждого архитрава, заучивали речи колоссальной длины. Такие элементы назывались loci — «места». Но в Австралии loci — не умственные построения, они существуют испокон веков, как события, относящиеся ко Времени Сновидений.

Другие мои друзья вспоминали о фигурах и

«линиях» пустыни Наска, которые впечатаны в меренгообразную поверхность пустыни посреди Перу и в самом деле являют собой настоящую тотемную карту.

Однажды мы провели веселую неделю с их добровольной «опекуншей», Марией Райх. Однажды утром я отправился вместе с ней посмотреть на самый необычный из этих «рисунков», который виден только на рассвете. Я тащил ее фотооборудование по крутому склону наверх, а сама Мария, которой было уже за семьдесят, шла впереди. И вдруг я с ужасом увидел, как она катится мимо меня и несется вниз, к самому подножью.

Я уже решил, что она переломала себе кости, но она рассмеялась:

— Мой отец любил говорить: «Раз уж ты покатился — катись до конца».

Нет. Все те сравнения не годились. Не на этом этапе. Все это было слишком далеко от моих поисков.

Обмен означает дружбу и сотрудничество; а для аборигена главным предметом обмена является песня. Следовательно, песня приносит мир. И все же я чувствовал, что Тропы Песен — это явление не обязательно австралийское, а общемировое: они служили вехами, которыми человек отмечал

свою территорию и тем самым устраивал свою социальную жизнь. Все прочие успешные системы являлись вариантами — или извращениями — этой исходной модели.

Главные Тропы Песен, по-видимому, «входят» в страну с севера или с северо-запада — со стороны Тиморского моря или Торресова пролива, — и оттуда разбегаются дальше, на юг, по всему материку. Создается впечатление, что они воспроизводят маршруты переселения первых австралийцев — и что те пришли откуда-то извне.

Когда это произошло? Пятьдесят тысяч лет назад? Восемьдесят, сто тысяч лет? Эти даты ничтожны, если сопоставить их с доисторическим африканским пластом.

И тут мне нужно совершить «скачок в веру» — в такую область, куда я никого за собой не зову.

Мне видится, как Тропы Песен простираются через века и континенты; и где бы ни ступала нога человека, он оставлял за собой песенный след (отголоски тех песен мы иногда улавливаем); и следы эти, проходя сквозь время и пространство, ведут в африканскую саванну, где первый Человек, раскрыв рот, чтобы защититься от всех обступавших его ужасов, прокричал первую стро-

фу Мировой Песни: «Я ЕСМЫ»

Позвольте мне сделать еще один шаг. Давайте представим себе, как Праотец Адам (homo sapiens) шагает по Саду. Он заносит левую ногу и называет цветок. Заносит правую — и называет камень. Глагол переносит его во вторую строфу Песни. Всем зверям, насекомым, птицам, млекопитающим, дельфинам, рыбам и горбатым китам известна система ориентации, которую мы называем «триангуляцией», от слова «треугольник». Загадочное понятие врожденной «глубинной структуры» предложения, выдвинутое Хомским, становится ясным, если представить себе человеческую триангуляцию: треугольник Подлежащее — Дополнение — Глагол.

37

Я услышал шум приземляющегося самолета. Выбежал к взлетно-посадочной полосе — и увидел, как с «эски» в руках выходит Аркадий. За ним показалась золотистая копна волос Мэриан. Выглядела она безумно счастливой. На ней было очередное цветастое хлопчатобумажное платье — такое же затрепанное, как и остальные.

— Эй! — прокричал я. — Как здорово!

— Привет, дружище! — Аркадий улыбнулся. Он бросил свой «эски» на землю и заключил нас обоих в могучие русские объятия.

— Ага! Я вижу, вы спелись.

— Все новости хорошие, — сообщил Аркадий. — Все хорошо… есть надежда… С делами Титуса. Хорошо и с Хэнлоном… Закупорка доброкачественная. С железной дорогой тоже все хорошо. Они поглядели на бюджет и решили, что им эту хрень не построить. Работа остановилась. Я лишаюсь работы — но кому какое дело?

— А ты знаешь, кто все сглазил? — спросил я.

— Старик Алан, — сказал Аркадий.

— Может, он песнями своими колдовство на-

вел?

— Как работа над книгой?

— Как всегда, сплошной беспорядок, — ответил я.

— Не грусти, — сказала Мэриан. — У нас есть отличная рыба на ужин.

В «эски» лежала баррамунда весом в 4 фунта и всякие травы, с которыми ее полагается жарить. Еще там поместились две бутылки белого вина с виноградника Уинн в Южной Австралии.

— Вот это да! — сказал я. — Большая редкость. Где ты такое раздобыл?

— Связи, — ответил Аркадий.

— А где Уэнди? — спросила Мэриан у Рольфа.

— С детворой в буше, — сказал тот.

Минут через пять появилась Уэнди: она сидела за рулем своего старенького «лендровера». Сзади набилась куча ухмыляющихся ребятишек, некоторые держали за хвосты варанов.

— Эти двое, — сказал Рольф, — снова вместе.

— Как здорово! — Уэнди выпрыгнула из автомобиля и бросилась в объятья Мэриан, а потом к ним присоединился Аркадий.

Вместе с Эстрельей нас было шестеро за ужином. Мы ели, смеялись, пили и рассказывали смешные истории. Этрелья оказалась неиссяка-

емым источником абсурда. Ее любимым персонажем был католический епископ из Кимберли, который когда-то был капитаном подводной лодки, а теперь воображал себя воздушным асом.

Этот человек, — говорила она, — просто fenomeno… una maravilla… [73] Ведет свой aeroplano в середину кучево-дождевых облаков и потом решает, откуда ему вылетать — снизу или сверху.

После кофе я отправился наводить порядок в караване для молодоженов. Аркадий начал запускать мотор лендкрузера.

Он хотел отправиться к Титусу в восемь утра.

— Можно мне на этот раз тоже поехать? — спросил я.

Тот посмотрел на Мэриан и подмигнул ей.

— Конечно можно, — ответила она.

Мы наблюдали, как они уходят спать. Эти двое были созданы друг для друга. Они были безнадежно влюблены друг в друга с самого первого дня знакомства, но постепенно каждый забился в свою скорлупу, намеренно и отчаянно отводил глаза от другого, словно в счастье невозможно было поверить, — пока неожиданно лед тоски и умалчивания не растаял.

---

[73] Примечания: 73
Чудо (исп.) — *Прим. перев.*

Ночь была ясной и теплой. Мы с Уэнди вытащили из сарайчика ее кровать. Она показала мне, как фокусировать телескоп, и, прежде чем уснуть, я поблуждал вокруг Южного Креста.

38

В восемь мы двинулись в путь. Утро было ясным и свежим, но день обещал быть знойным. Между Аркадием и Мэриан сидел, не выпуская из рук чемодана, человек из Амадеуса. Хромоножка, нарядившийся по такому случаю, сидел рядом со мной сзади.

Мы ехали в сторону моей неудавшейся охоты на кенгуру, но потом повернули влево, на проселочную дорогу, которая вела в Алис. Километров через пятнадцать местность изменилась: вместо кустарников, цветущих желтыми цветами, появились открытые луга с выгоревшими округлыми эвкалиптовыми деревьями — сине-зелеными, как маслины, у которых листья тоже становятся белыми на ветру; и если слегка расфокусировать взгляд, то начинало казаться, что находишься внутри светлого провансальского пейзажа вангоговского «Поля под Арлем».

Мы пересекли ручей и, снова повернув влево, поехали по песчаной дороге. В зарослях деревьев стояла опрятная лачуга из волнистого листа, а рядом с ней — «форд» Титуса. Какая-то женщина

вскочила и убежала. Собаки, как обычно, подняли лай.

Титус — в шортах и шляпе с загнутыми полями — сидел на розовом поролоновом коврике перед котелком, в котором закипала вода. Его отец — красивый длинноногий старик, заросший двухсантиметровой седой щетиной, — лежал на голой земле и улыбался.

— Рано приехали, — серьезно сказал Титус. — Я вас раньше девяти не ждал.

Он поразил меня своим уродством: приплюснутый нос, жировики на лбу, мясистая отвисшая нижняя губа, глаза, утопающие в складках век.

Но что это было за лицо! Я никогда не видел другого такого подвижного и выразительного лица. Каждая его частичка постоянно находилась в состоянии оживления. Вот он — непреклонный абориген-законник, и вот — уже через секунду — неподражаемый комик.

— Титус, — обратился к нему Аркадий. — Это Брюс, мой друг из Англии.

— Как там Тэтчер? — протяжным голосом осведомился тот.

— Все еще на посту, — сказал я.

— Не могу сказать, что я в восторге от этой женщины.

Аркадий подумал, что настало время представить человека из Амадеуса, но Титус поднял руку и сказал:

— Подожди!

Он отпер висячий замок на двери лачуги, оставил ее приоткрытой и достал еще одну эмалированную кружку — для нежданного гостя.

Чай заварился.

— С сахаром? — спросил он меня.

— Нет, спасибо.

— Нет? — он подмигнул. — Я так и думал.

Когда мы напились чаю, он вскочил на ноги и сказал:

— Пора! За дело!

Он кивком позвал за собой Хромоножку и человека из Амадеуса. Потом обернулся к нам.

— А вы, ребята, — сказал он, — сделаете мне большое одолжение, если полчасика побудете здесь.

Сухие ветки затрещали у них под ногами — и они скрылись за деревьями.

Старик-отец, с блаженным видом лежавший на прежнем месте, постепенно задремал.

* * *

Чуринга — стоит повторить, — это овальная дощечка, вырезанная из камня или древесины мульги. Это одновременно и музыкальная партитура, и мифологический путеводитель по странствиям Предка. Она же является и телом самого Предка (pars pro toto [74]). Это alter ego человека; его душа; его обол для Харона; его документ на землю; его паспорт и билет «обратно».

У Штрелова можно прочесть душераздирающий рассказ о старейшинах, которые обнаружили, что их хранилище чуринг было разграблено белыми людьми: для них это был конец света. Есть у него и радостный рассказ — о том, как старики, одолжившие свои чуринги соседям на несколько лет, наконец получают их обратно, разворачивают и тут же разражаются счастливой песней.

Читал я и о том, что, когда весь песенный цикл исполняли целиком, «владельцы» его отрывков выкладывали на земле свои чуринги в ряд, концом к концу, совсем как вагончики состава Train

---

[74] Примечания: 74
часть вместо целого (лат.) — *Прим. перев.*

Bleui [75].

С другой стороны, если ты разбил или потерял свою чурингу, ты сразу оказываешься за чертой человеческого существования — и теряешь всякую надежду на «возвращение». Я слышал, как об одном бездельнике в Алис говорили: «Он не видел своей чуринги. Он сам не знает, кто он такой».

В эпосе о Гильгамеше в качестве дополнительного замечания есть странный эпизод, где царь Гильгамеш, устав от жизни, желает посетить загробный мир, чтобы навестить покойного друга, «неистового» Энкиду. Но паромщик Утнапиштим говорит ему: «Нет! Ты не можешь сюда войти. Ты разбил каменные дощечки».

Аркадий всматривался через дверную щелку в лачугу Титуса.

— Только ни в коем случае не входи, — проговорил он сквозь зубы, — но если заглянешь сюда, то увидишь кое-что удивительное.

Я осторожно подошел к двери и тоже заглянул внутрь. Глаза не сразу привыкли к темноте. На сундуке рядом с кроватью Титуса громоздилась стопка книг на английском и немецком языках.

---

[75] Примечания: 75
«Синий поезд» (фр.) — *Прим. перев.*

На самом верху лежал Ницше — «Так говорил Заратустра».

— Да, — кивнул я, — я весьма удивлен.

Меньше чем через полчаса мы услышали свист из-за деревьев, и показались те трое, шедшие гуськом.

Все улажено! — уверенно заявил Титус и уселся на свой коврик. — Чуринги возвращены законным владельцам.

У человека из Амадеуса был довольный вид. Разговор перешел на другие темы.

Титус был грозой движения за земельные права, потому что все, что он говорил, непременно оказывалось своеобразным и непрошенным. Он стал объяснять, что людям из поколения его дедушек и бабушек будущее представлялось куда более мрачным, чем сегодня. Старейшины, глядя на то, как спиваются их сыновья, нередко вручали свои чуринги миссионерам, чтобы их никто не разбил, не потерял и не продал. Одним из таких людей, удостоившихся их доверия, был пастор из миссии Хорн-ривер, Клаус-Петер Аурихт.

— Мой дед, — сказал Титус, отдал старику Аурихту несколько чуринг, когда этот вот, — тут он кивком показал на своего храпящего отца, — пристрастился к бутылке.

В конце 1960-х годов, перед своей смертью, пастор Аурихт взял с собой эту «коллекцию» в штаб миссии в Алис и там хранил под замком. Когда «активисты» пронюхали, что немцы сидят на священной собственности «стоимостью в миллионы», они подняли обычную шумиху и принялись ратовать за возвращение чуринг народу.

— Чего эти свистуны не понимают, — протяжным тоном рассказывал Титус, — это то, что не существует каких-то «аборигенов вообще». Есть только Тджакамарры, и Джабуруллы, и Дубурунги, как я, и так далее, которые рассеяны по всей стране.

— Но если Лесли Уотсон, — продолжал он, — и весь этот канберрский сброд хотя бы одним глазком взглянули на мои семейные чуринги, и если бы мы решили применить закон к данному случаю, то я ведь обязан был бы убить их — а?

Титус затрясся от смеха, и мы вслед за ним.

— Надо сказать, — прохрипел он с лукавой ухмылкой, — с тех пор как мы в последний раз виделись, у меня тут побывали очень забавные посетители.

Сначала пришли молодые архитекторы: они хотели — от имени Совета пинтупи и в надежде

заткнуть ему рот — построить для него дом.

Титус фыркнул:

— Они имели в виду какую-то хибару с плоской крышей. Черта с два! Я так им и сказал: если уж строить мне дом, так настоящий, с двускатной крышей. Мне нужна библиотека для моих книг. Гостиная. Гостевая спальня. Кухня и душ на улице. Иначе я останусь тут.

Следующий посетитель оказался еще забавнее — бойкий на язык тип из горнодобывающей корпорации, которая хотела провести сейсмическое профилирование земли Титуса.

— Мерзавец! — сказал Титус. — Показывает мне свои геологические карты — которые, впрочем, он и обязан показать мне по Закону Короны — и городит несусветную чушь. «А ну-ка, дайте ее сюда!» — говорю я ему. Гляжу на все эти синклинали и вижу, что скорее всего под Охотничьим Обрывом прячется месторождение нефти или природного газа. «Но послушайте! — говорю я. — Мы совсем по-другому на это смотрим. У нас в этом месте множество важных Сновидений. У нас там Пятнистая Куница. У нас там Эму, Черный Какаду, Волнистый Попугай, два вида Ящериц; а еще там „вечный дом“ Большого Кенгуру. Я могу наугад сказать, что там для вас месторождение

нефти или еще что-нибудь. Но он спит там еще со Времени Сновидений, и, если слово останется за мной, то он будет спать там и дальше».

Титус получил настоящее удовольствие от нашего визита. Мы еще долго смеялись.

Даже чванливый человек из Амадеуса смеялся. Потом мы погрузились в «лендкрузер» и поспешили обратно в Каллен.

Остаток дня я разбирал бумаги. Утром мы собирались уезжать в Алис.

39

Человек из Амадеуса хотел, чтобы его высадили в поселении Хорн-ривер, поэтому Аркадий вызвался подвезти его по проселочной дороге. По ней ездили гораздо реже, чем по основной дороге, но сейчас земля везде подсыхала, и тому человеку из горнодобывающей компании удалось по ней проехать.

Мы нагрузились едой и водой и уже прощались с Рольфом и Уэнди, обещая переписываться, слать книжки и не забывать друг друга, как вдруг подошел Хромоножка и что-то прошептал на ухо Аркадию, прикрыв рот ладошкой.

— Конечно, мы тебя захватим, — сказал тот.

Хромоножка был при параде. На нем была чистая белая рубашка и коричневый твидовый пиджак, а волосы и лицо у него были промазаны маслом, так что он походил на мокрого серого тюленя.

Он хотел посетить Долину Саговника очень важное место, расположенное на его Песенной тропе, где он никогда не бывал.

Долина Саговника — это Национальный парк

(впрочем, старательно оберегаемый от посетителей), где растут уникальные виды капустной пальмы и имеются древние посадки Аборигенной Сосны. По дну ущелья, расположенного там, течет река Хорн; Предок Хромоножки, Пятнистая Куница, когда-то пробегал по дну этого русла. Пятнистая Куница, или Тджильпа, — это не настоящая куница, а маленький сумчатый зверек (Dasyurus geoffrei) с огромными усами и опушенным хвостом, который он все время держит вертикально поднятым над спиной. К сожалению, ему грозит вымирание.

Есть рассказ о том, что молодой Предок-Тджильпа где-то на севере от хребта Макдоннелл увидел, как с неба падают два орлиных пера, и ему захотелось узнать, откуда они. Последовав вдоль Млечного Пути по песчаным холмам, он постепенно привлек других Людей-Тджильпа, которые один за другим присоединялись к шествию. Они шли и шли. Их шерсть сделалась взъерошенной от зимнего ветра, а лапы растрескались от холода.

Наконец они достигли моря возле Порт-Огасты, а там, в море, стоял шест — такой высокий, что касался неба (как Дантова гора Чистилища). Его вершина была белой от небесных перьев, а

нижняя половина — белой от морских перьев. Люди-Тджильпа вытащили этот шест и понесли его в Центральную Австралию.

Хромоножка никогда там не бывал из-за какой-то давней распри. Но недавно он узнал по «телеграфу буша», что трое его дальних родственников живут — вернее, умирают — там, рядом со своим хранилищем чуринг. Он хотел повидаться с ними перед их уходом.

Мы ехали семь часов — с семи до двух. Хромоножка сидел впереди, между водителем и Мэриан, не двигаясь, а только бросая быстрые взгляды направо и налево.

Не доезжая примерно 15 км до долины, «ленд-крузер» перепрыгнул через ручей, который тек на юг.

Вдруг Хромоножка подскочил на месте, как попрыгунчик, забормотал что-то неразборчивое, просунул голову в водительское окно (так что Аркадию пришлось вильнуть), потом сунулся в другую сторону, а потом сложил руки и умолк.

— В чем дело? — спросил Аркадий.

— Люди-Тджильпа пошли туда, — ответил Хромоножка, показывая на юг.

Возле дорожного знака, указывавшего на Долину Саговника, мы сделали крутой поворот

направо и поехали по обрывистой дороге вдоль русла Хорна. По белым камням бежала бледно-зеленая вода. Мы несколько раз переезжали реку. Из нее росли речные красные эвкалипты.

Хромоножка так и держал руки сложенными и не говорил ни слова.

Мы подъехали к слиянию двух рек — точнее, нам снова встретился поток, который мы уже пересекали выше, на главной дороге. Этот меньший поток и был путем следования Людей-Тджильпа, и мы двигались к нему под прямым углом.

Когда Аркадий повернул влево, Хромоножка снова подскочил и оживился. Он снова стал просовывать голову в оба окна. Он бешено вращал глазами, оглядывая скалы, утесы, пальмы, воду. Его губы двигались со скоростью чревовещателя, и из них вылетал какой-то шелест: с таким звуком ветер проносится по веткам.

Аркадий сразу понял, в чем дело: Хромоножка заучивал слова своей песни о Пятнистой Кунице со скоростью пешего хода, около 6 км в час, а мы сейчас ехали со скоростью под сорок.

Аркадий переключился на низшую передачу, и мы поползли не быстрее пешехода. Хромоножка мгновенно перестроился на новый темп. Он заулыбался. Стал качать головой туда-сюда. Вместо

торопливого шелеста полились мелодичные звуки песни; стало понятно, что он на время превратился — по крайней мере в собственных глазах, — в Пятнистую Куницу.

Так мы ехали почти час; дорога петляла между красных утесов. Виднелись гигантские валуны, запачканные черными потеками, а между ними, как увеличенные древесные папоротники, росли саговники. Стояла духота.

Потом река скрылась под землей, оставив на поверхности стоячее озерцо с камышовой опушкой. Рыжая цапля поднялась в воздух и уселась на дереве. Дорога закончилась.

Мы вышли и пошли вслед за Хромоножкой по хорошо утоптанной тропе, которая вилась между камнями и водой и в конце концов привела к бассейну, сложенному темно-красными скальными породами со ступенчатыми пластами, совсем как ряды сидений в древнегреческом театре. Под деревом стояла стандартная жестяная лачуга.

Женщина средних лет с отвисшими грудями, болтавшимися под малиновым джемпером, тащила к очагу хворост. Хромоножка назвал себя. Та улыбнулась и знаком позвала нас всех за собой.

Как я записал у себя в записных книжках, мистики верят в то, что идеальный человек должен

сам прийти к «правильной смерти». Тот, кто достиг цели, «уходит обратно».

У австралийских аборигенов существуют особые правила такого «ухода», который состоит в том, чтобы песнями проложить дорогу к родным местам — к «месту зачатия», туда, где хранится твоя чуринга. Только так ты сможешь стать — или вновь стать — Предком. Эти представления сродни таинственному высказыванию Гераклита: «Бессмертные смертны, [76] живут за счет смерти других, за счет жизни других умирают».

Хромоножка ковылял впереди. Мы следовали за ним на цыпочках. Небо раскалилось, и на тропу падали резкие тени. С вершины утеса капала тонкой струйкой вода.

— Чуринги — там! — тихо сказал Хромоножка, показав на темную расселину у нас над головами, на большой высоте.

На поляне стояли три «больничные» кровати без матрасов, и прямо на голых панцирных сетках лежали трое умирающих мужчин. Это были почти скелеты. Волосы и бороды у них выпали. Один из них оказался достаточно силен, чтобы поднять руку, другой — чтобы что-то сказать.

---

[76] Примечания: 76
одни

Когда они услышали, кем им приходится Хромоножка, все трое одновременно заулыбались — одинаковой беззубой улыбкой.

Аркадий скрестил руки и смотрел на все это.

— Какие же они чудесные! — прошептала Мэриан, взяв меня за руку и стиснув ее.

Да. Они все были правы. Они знали, куда отправляются, улыбаясь в лицо смерти в тени эвкалипта-призрака.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА

Уже с первой своей книгой «В Патагонии» (1977) Брюс Чатвин (1940–1989) стал знаменит. Он был писателем, перевернувшим представление о жанре трэвелога, человеком, объездившим мир, встречавшим множество людей разных национальностей и судеб и свившим их рассказы с мировой историей, литературными сюжетами и яркими зрительными впечатлениями. Его прозу называли «четкой лапидарной, укладывающей миры в страницы» (Дж. Апдайк), ему хотели подражать и мечтали, по признанию многих, написать те книги, автором которых стал он. И это при том, что репутация его была далеко не безупречна. Его обвиняли в искажении фактов, в вымысле, в неправильно переданных сведениях. Но, однако, все, о чем писал Чатвин, так или иначе будоражило воображение читательского мира и под его пером переживало словно бы второе рождение. Он умудрялся пробуждать интерес как к народам и странам, так и к небольшим предметам, таким как черные тетрадки фирмы «Молескин», некогда чуть ли ни снятые с произ-

водства, а теперь переживающие триумфальное возвращение: ведь всякий уважающий себя писатель, путешественник, журналист хочет писать в тех же блокнотах, что пользовал Брюс Чатвин (о чем нас ныне и уведомляет прилагаемая к каждому молескину «историческая справка»).

Чатвин владел секретом воображения. С детства недолюбливая Жюля Верна и предпочитая ему настоящие рассказы о странствиях моряков и путешественников, он придерживался идеи, что нет ничего «фантастичнее самой реальности». И он умел доказывать это, обнажая эту фантастическую, сновиденческую сторону действительного мира. А все началось с того момента, когда Чатвин поступил на небольшую должность при аукционе «Сотби» в 1959 году. Имея незаурядный талант к оценке зрительной информации, он очень быстро делал карьеру, вскоре став самым молодым за всю историю аукциона начальником отдела (по импрессионизму), как внезапно практически ослеп. Врач заверил, что с ним не произошло ничего серьезного, но что ему надо перестать со слишком близкого расстояния рассматривать живопись и «обратиться к горизонтам». Чатвин принял этот практический совет за метафору всей своей жизни… Отныне

горизонт, эта идеальная точка, к которой невозможно приблизиться, станет его подлинной родиной, а его основной и великой болезнью — та, о которой говорит много раз цитируемый им Шарль Бодлер: «страх перед собственным домом». Чатвин уезжает в Судан, возвратившись, теряет былой интерес к искусству, увольняется из «Сотби» (1966) и поступает в Эдинбургский университет на отделение антропологии, но так и не пишет свою дипломную работу. В 1972-м он становится корреспондентом «Санди Таймс», пишет статьи, берет интервью у знаменитостей (включая Андре Мальро и Надежду Мандельштам, с которой встречается в Советском Союзе). В 1977 году выходит его книга «В Патагонии» (In Patagonia), принесшая ему громкую славу. Десятилетием позже (после романов Viceroy of Ouidah (1980) и On the Black Hill (1982), снискавших ему славу прекрасного стилиста, появляются «Тропы песен» (The SonglineSy 1987). Последнее при жизни опубликованное произведение — роман о страсти коллекционирования «Утц». Остальные собрания выходят посмертно. What am I doing here? Photographs and Notebooks (1993), Anatomy of Restlessness (1997) и Winding Paths (1998). Чатвин умер в 1989 году на юге Франции от СПИДа.

Перед смертью он выражал желание, совершив путешествие в Грецию, принять православие. Погребальная служба прошла в греческой православной церкви в Лондоне, в тот же день, когда была объявлена фатва его близкому другу Салману Рушди. Именно на похоронах Чатвина тот в последний раз открыто появился на публике.